

БОРИС ХАЗАНОВ СТРУНЫ И КЛАВИШИ

БОРИС
ХАЗАНОВ

СТРУНЫ
И
КЛАВИШИ

КАЯЛА

СОВРЕМЕННАЯ КНИГА
ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА

КАЯЛА 

Борис
ХАЗАНОВ

СТРУНЫ
И
КЛАВИШИ

КАЯЛА
Киев, 2020

УДК 821.161.1(430)'06-3

X15

Хазанов Б.

X15 Струны и клавиши. — Киев: Каяла, 2020. 282 с. — (Серия «Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978-617-7697-37-3

Русский писатель, убеждённый в несовместимости искусства и политики, что не помешало ему стать в юности политическим заключённым, а в зрелые годы – политическим эмигрантом, собрал в своей итоговой книге произведения разных десятилетий, написанные на родине и за её пределами.

УДК 821.161.1(430)'06-3

© Б. Хазанов, 2020

© Издательство «Каяла» (Киев), 2020

ЧАСТЬ I. АЛЬБОМ

Повести, рассказанные за столом

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

«Человек — это его поступки» — формулирует Сартр основание экзистенциализма, некогда увлекавшего и меня.

«Человек текуч», — замечает Лев Толстой.

«Каждый человек — загадка», — говаривал Достоевский.

Загадкой, точнее, непостижимой и дразнящей тайной было для меня с юных лет и, пожалуй, доселе остаётся — поведение всякой молодой девушки. Это не значит, что сама она вполне сознаёт мотивы своего поведения. Такая, какая есть, думает она. Но что-то, вероятно, подсказывает ей, что кажущаяся или действительная непоследовательность её поступков лишь придаёт ей больше очарования. Так, ни у кого не спросясь, играет и гримасничает пол.

Повести (или этюды), составившие этот цикл, по большей части принадлежат, как водится, мужчинам, лишь изредка слово предоставлено женщине.

НЮРА ПРИВАЛОВА

То было раннею весной...

А. К. Толстой

Разговор, как всегда, полыхал о политике, о Ближнем Востоке, но почему-то потух, спорящие умолкли — тихий ангел пролетел. Возникла идея вспоминать эпизоды жизни. Или (добавил кто-то) рассказывать сны.

«Сны? — возразил один из присутствующих. — Сны забываются... Есть тут ещё? — спросил он и, настигнув на столе бутылку, плеснул себе в бокал остаток честного божоле. — Видите ли, надо отличать воспоминание от памяти. Сон может запомниться и потом повториться; вспоминая о нём, ловишь себя на том, что вспоминаешь собственное воспоминание, а не то, что когда-то привиделось. В конце концов сновидение становится частью твоего прошлого, и уже непонятно, было ли это на самом деле или придумано тобою самим. Но, клянусь вам, то, что осмелюсь вам поведать, случилось на самом деле, хоть и похоже на сон».

Слушатели изобразили преувеличенное внимание. Он продолжал:

«В сущности, совершенно незначительный эпизод, будете разочарованы. Но, знаете, — рассказчик сделал основательный глоток, — стоит у меня перед глазами буквально до сего дня, а ведь сколько лет пролетело, дай Бог памяти? Шестьдесят, не больше и не меньше. Причём, заметьте, вспоминаю об этом чуть ли не как о самом важном, величайшем событии моей жизни».

«Представьте, — сказал он, — еврейского подростка, тогощего и носатого, всклокоченного, живущего в мире книг, представьте себе подростка, едва успевшего очнуться от великого сна своей жизни — детства. А на дворе апрель, та самая, ещё ранняя весна, о которой говорит граф Алексей Константинович Толстой, любимейший мой поэт... Только эпоха со-

всем другая. Идёт война. Живём далеко от фронта, в эвакуации, в нынешнем Татарстане. Каждое утро радио за дощатой стеной барака, где ютятся персонал районной больницы, вещает сводку военных действий. Уничтожено столько-то вражеских самолётов, подбиты танки, захвачено вооружение, минувшей ночью союзная авиация бомбардировала Эссен, Дортмунд, Дуисбург... Одна победа за другой, всё обстоит как нельзя лучше, и всё-таки невозможно не догадываться, что дела наши скверные, немцы рвутся вперёд, и так далее. Да о чём тут толковать, вы наверняка, всё помните».

Рассказчик обвёл глазами компанию.

Теперь надо бы описать место действия. Так сказать, кулисы. Природа вокруг чудная. Могучая река неспешно катит свои воды, вдоль пологого берега и чуть ли не вровень с ним тянется просёлочная дорога, уже просохшая, а позади, если шагать, как я, от села до больничного посёлка, теснятся поросшие лесом холмы. Леса, говорят, доходят отсюда до самой Удмуртии.

Помолчав, он продолжал: «Как-то раз возвращался я из школы. Шёл, шёл и остановился, словно кто меня окликнул. Свернул к неглубокому оврагу, швырнул портфель наземь и взбежал на лесной пригорок.

И вот — является мне дивное привидение... Кто-то промелькнул в белом платье. Собственно говоря, не в платье, а в ночной сорочке, несмотря на прохладу, с бретельками на голых плечах.

Нюра была медсестра, и было ей, если не ошибаюсь, девятнадцать. Она казалась мне неописуемо красивой, между деревьями по ту сторону овражка. Подумать только — пришла сама. — Мгновенно скатываюсь вниз, взбегаю наверх.

Конечно, она была вполне заурядная, обыкновенная девушка с жемчужно-серыми глазами, по-крестьянски плотно сложенная, с густыми волосами цвета калёного лесного ореха, — тип женщины, характерный для этих мест.

Она стояла передо мной в прозрачной тени, и мы оба молчали.

“Нюра, — проговорил я, — вы меня любите?”

Она опустила глаза и ничего не ответила».

«И это всё?» — спросил кто-то.

Рассказчик пожал плечами, развёл руками.

ФАЯ КРАВЕЦ

Никого не было. Ни звука в коридоре общежития. Серый зимний день сочился в окно. Студент — удобней будет говорить о себе в третьем лице, как если бы я одолжил память у кого-то, — студент сидел над учебниками, когда послышался шорох, кто-то подкрался. Робко приоткрылась дверь. Он поднял голову. Она вошла, стараясь преодолеть смущение. Он улыбнулся скорее из вежливости. Он был занят.

Была такая на старшем курсе и на один год старше, по имени Фаина, или просто Фая. Фая Кравец. Он всё ещё сидел спиной к ней; она решилась. Молча, обойдя стол, обняла сзади сидящего и прижалась, давая почувствовать близость своего тела. Это был отважный шаг. Неожиданно стукнуло что-то снаружи, она отпрянула.

В пустом и холодном коридоре, под сиротливыми лампочками по-прежнему всё немотствовало. Время застопорилось. Девушка шагала, глядя прямо перед собой, минуя одну дверь за другой. Она была невысока, несколько полновата и широковата в бёдрах, мужчина следовал за ней, как тень.

В тусклом освещении волосы Фаи слабо отливали медвяно-золотистым оттенком. Тысячелетия должны были пройти, прежде чем кровь рыжеволосых цариц Ханаана смешалась в ней с наследством смуглых пленниц-моавитянок. Она шествовала, точно несла себя, отведя руку, чуть заметно покачивая бёдрами.

Она остановилась. В дальнем конце коридора полутёмная лестница спускалась, как в преисподнюю из мира живущих, в подвал. Студент предчувствовал, куда его влечёт непостижимая древняя судьба. Оба сошли в сырую тьму подземелья. Медноволосый психопомп, проводник усопших, вёл его в приют испуганно сторонящихся теней. Вдоль стен тянулись трубы центрального отопления, девушка протянула руку к штепселю. Жидкий свет брызнул с потолка, нашлась дверь; они оглядывали закуток с хозяйственной рухлядью. Искали ложе или саркофаг.

Мужчина подчинился. В огромных, темно отсвечивающих глазах Фаины застыло уверенное ожидание, минуты казались вечностью. Губы зашевелились, — он понял её без

слов. То был зов из глубины веков, зов к продолжению жизни. Пальцы Фаины расстегнули кофточку, открылась белизна рубашки, руки потянулись назад к лопаткам, освободиться от лифчика, и обнажили грудь.

БЕЗ ИМЕНИ (1)

Гости настроились слушать. Всё смолкло, рассказчик продолжал:

«От тюрьмы, да от сумы не зарекайся, вещает наша российская мудрость. Народ, присягнувший на верность тюремно-лагерному режиму, не мог найти лучшего поучения. Смысл его ясен и прост. Каждый может рано или поздно угодить в застенки. Раньше я скрывал своё прошлое. Но теперь это уже не тайна. Подробности скучны и потому излишни. Скажу кратко. Сперва, прежде чем получить срок и отправиться с этапом в лагерь, отсиживаешь своё время во Внутренней тюрьме на Лубянке, потом ныряешь в Бутырки. Осенью сорок девятого, чрезвычайно урожайного для госбезопасности года тебя засовывают в воздвигнутый ещё при наркоме Ежове, переполненный спецкорпус. В 262-й камере сидело нас вначале трое, потом пятеро. Здесь всё шло согласно старинному ритуалу. В полдень недреманное око восходит в дверном волчке, откидывается кормушка. Вертухай возвещает утробным голосом инициалы: «на гэ, на фэ». Назвать свою фамилию... Ключ скрежещет в замочной скважине. Выбираемся. Марш по коридору в гробовой тишине вдоль анфилады дверей, мимо профилактической сетки над провалом нижних этажей. Железная коробка лифта, гром засовов. Выходная площадка и близкое дыхание воли. И, наконец, мы шествуем гуськом вслед за конвоиром в туго подпоясанной шинели с сержантскими лычками на погонах, с кобурой на бедре. Но — не конвоиром, а конвоиршей. Гремят сапоги, маячит узел ореховых волос под фуражкой с голубым околышем, завитки вокруг нежного затылка... Да, друзья мои, верите ли, это была девушка! Это её подковки цокали по асфальту впереди, шаг за шагом, её пистолет вздрагивал на бедре... Это была влюблённость, немая и безответная. Не помню, чтобы она хоть раз взглянула из-под своего картуза

на нас. Всем своим видом, угрюмым безмолвием, походкой девственной Дианы, она демонстрировала холодное презрение к врагам народа. И она пропала, изо дня в день вталкивая нас в прогулочный дворик, каменный мешок над небом Москвы, забаррикадированный стенами и сторожевыми вышками, — исчезла, чтобы навсегда остаться в моей осиротевшей памяти. Как она оказалась в этом застенке, что с ней стало, сменила ли она свои лычки на звёздочки, вышла замуж, родила детей, дождалась внуков?.. Не ведаю. В те дни, в цитадели зла, мне только что исполнился 21 год».

НАТАША АРТОБОЛЕВСКАЯ

В главной аудитории Московского университета, когда-то Богословской, а в наше время Коммунистической, на балконе, откуда открывался внизу вид на эстраду с пультом профессора и заполнившие амфитеатр головы студентов, сидела девушка, склонившись над рукоделием, подрубала платочек и, по видимому, была вполне поглощена этим занятием; лекция её не интересовала. Я встречал её изредка разгуливающей с какой-нибудь компаньонкой вокруг балюстрады над парадной лестницей аудиторного корпуса. Те, кто учился в первое послевоенное десятилетие на филологическом факультете, наверняка её запомнили. Не заметить Наташу Артоболовскую было невозможно.

Ей было лет восемнадцать. Не будучи ослепительной красавицей, как кинозвезда Дина Дарбин, Наташа Артоболовская была сама прелесть. В те времена усиленно насаждался ностальгически-консервативный патриотизм. Наташа носила гимназическое платье и косы ниже талии. Косы были тогда новшеством.

Единственный раз я оказался рядом с Наташей у балюстрады. Я был равнодушен к её очарованию, меня занимало другое увлечение. Болтали, не помню о чём, почему-то был упомянут последний русский царь Николай Второй. Она сказала: государь. Давно и безвозвратно исчезнувшее величание.

Мне казалось — и, думаю, не только мне, — что Наташа играет, чуть ли не с младенчества заученную роль. Не то Наташа Ростова, не то легкокрылая бунинская гимназистка (при том что белоэмигрант Бунин был запретным, мало кому из-

вестным автором), кокетливо-манерная барышня, притворно-глупенькая, избалованная, привыкшая ко всеобщему любованию и сюсюканью. Сокурсницы, понятное дело, её не любили. Она училась, как и я, на классическом отделении. Училась неохотно и плохо. К древним языкам не проявляла ни малейшего интереса.

Сегодня можно узнать в интернете, что старинный пензенский род Артоболевских (полутреческая фамилия, не дворянская, а консисторская) выдвинул несколько известных священнослужителей и церковных писателей.

Однажды, продолжал рассказчик, я был приглашён к ней в гости. Я ожидал, что придут и другие девочки нашего отделения, оказалось не то. Отыскал квартиру Артоболевских (отдельную, — в те времена большая роскошь). Робя, нажал на пуговку звонка.

Это был вечер интеллигентной молодёжи. В просторной гостиной за роялем сидел юноша с пышной женской шевелюрой, студент консерватории — по всему судя, избранный гость и кружковый гений. Он играл «Февраль, на тройке» Чайковского, из «Времён года», вещь, мне малознакомую, и меня поразила точность музыкального воспроизведения езды по снежной дороге — я совсем недавно вернулся в Москву из эвакуации в Татарской республике, где не раз приходилось путешествовать, правда, не в кибитке 19-го века, а в обыкновенных деревенских розвальнях. Слушая музыку, я тотчас представил себе, как это происходит: сперва лошадь, таща за собой сани, взбирается на ухаб, задерживается на миг, экипаж съезжает вниз, задок саней описывает полукруг, лошадь поддаёт, — и вот опять равнина, и вольный бег по широкому снежному раздолью, и далёкое звяканье колокольчика... Не знаю, встречается ли в музыкальной литературе столь подробное истолкование.

Мальчик опустил крышку рояля, в комнату вошла пожилая женщина в кухонном фартуке, с принадлежностями для ужина. Каждый, сидя или стоя, получил порцию картофельного пюре с мясом — поистине царское угощение.

Весь тот вечер, не поднимаясь, я просидел в углу дивана, не решался ни с кем заговорить, и никто ко мне не подошёл. Непобедимая застенчивость сковала меня. Я почувствовал себя чужим и чуждым в этом богатом доме, в компании моло-

дых людей и девушек из привилегированного круга. Это было сознание очевидного классового неравенства, чувство сословной неполноценности.

Сороковые годы, роковые, как их назвал Давид Самойлов, сменились коротким промежутком послевоенных, гнуснейшей порой. Все мы, и зелёные юнцы, и наши седовласые университетские менторы, и женоподобный юноша за роялем, и стильные барышни, обитатели просторных квартир, где можно было каждый день кушать тушёное мясо с гарниром, и обнищавшие алкоголики, калеки войны на тележках с колёсиками, просящие милостыню в вагонах пригородных поездов, и палачи в мундирах с золотыми погонами, населявшие тайные кабинеты похожей на колумбарий цитадели перед памятником Держинскому, и эшелоны невольников для усеявших огромную страну лагерей рабского принудительного труда, — всех, всех связала единая цепь, та, о которой рассказывает чеховский студент духовной семинарии, та самая цепь, которая соединила греющихся у костра деревенских старух с апостолом Петром, предавшим Учителя, так что коснёшься одного звена и колыхнётся другое, на самом конце. Всё это одно, и называется одним общим словом — Россия.

ФЁКЛА КУРОПТЕВА

— Я, знаете ли, подростком увлекался астрономией, сказал рассказчик, а теперь иногда, — впрочем, не так уж часто — встаёт перед глазами юность.

Сравниваешь страну, где ныне коротаю затянувшуюся старость, с той, незабвенной, давно ушедшей, — так можно сравнивать жизнь на Земле с существованием на Сатурне.

Вспоминается разное. Помню событие, замечательное своей невероятностью, гробовой голос диктора Левитана из коробки на столбе в бараке: *«Товарищ Сталин потерял сознание»*. Злорадное торжество, охватившее узников, хоть и старались его не показывать: наконец-то! И хотя каннибал, как считалось, был ещё жив, все поняли: это конец.

Но ещё много воды должно было утечь, прежде чем наступили перемены. Время — вещь необычайно длинная, как пел государственный поэт. И тянулась она, эта вещь, словно на отдалённых планетах. Как малосрочник — восемь лет, вдо-

бавок большая часть срока уже отсижена, — я был расконвоирован и должен был перепробовать много новых должностей и работ. Был и ночным дровоколом на электростанции, и банщиком-истопником в бане для начальства, и конюхом, и хозвозчиком, и комендантом на крайнем северном полустанке лагерной железной дороги. Полагаю, нет необходимости напоминать о том, что рабовладельчество в нашем государстве длилось нескончаемые годы. Как известно, год на Сатурне продолжается 3000 лет.

Загремел железный засов на вахте. Предъявив только что вставшему с лежанки, сладко зевающему дежурному надзирателю свой заветный пропуск бесконвойного, счастливцев вышел за ворота лагпункта в синюю морозную ночь. На чёрном небе низко над лесом сверкали алмазные звёзды стоявшей горизонтально Большой Медведицы. Всю долгую ночь 55-го года несла вахту не доступная невооружённому зрению семизвездной окольцованная планета лагерей, покровительница России. Всю ночь напролёт сияло, словно иллюминация, кольцо огней вокруг жилой зоны и били с вышек белые струи проекторов.

По узкой тропке, протоптанной в снегу мимо увешанного лампочками, нежно позванивающего цепочками бессонных овчарок древнерусского тына рассказчик прошагал до угловой вышки с завёрнутым в тулуп пулемётчиком и направился к сторожке при магазине вольнонаёмных, охранять объект неизвестно от кого. Славная работа. На мне был стёганный ватный бушлат, род униформы заключённых, ватные штаны и чудовищные валенки б/у, что означает бывшие в употреблении. На голове ушанка с козырьком рыбьего меха и и завязанными ушами, руки в латаных мешковинных рукавицах.

Посидев для порядка, я вышел из сторожки. Тёмная и укромная чаща поджидала, храня тайну. Я научился определять время по звёздам. Привык к риску. Если бы меня хватились, мне было бы не сдобровать. Влепят новый срок, а то и загонят с этапом на край света. Отечество наше, слава-те господи, велико.

Столетние сосны, утонувшие в снегу, расступились перед идущим, я бодро шагал вперёд по знакомой дороге. Идти было недалеко, километров пять.

Наконец посветлело впереди. В белёсой мгле завиднелись угластые избы под шапками снега. Ни звука, ни огня вокруг, деревня Кукуй спит вековым непробудным сном со времён Батя, лишь два окошка светятся на самом краю селения. Проваливаясь в сугробах, путник перебрался через погребённый плетень и взошёл на крыльцо. Оттоптал снег в сенях, толкнулся в тяжёлую, застонавшую дверь. В тёплой и духовитой от развешанных под потолком пучков полыни избе было чисто и уютно, чахлый огонёк вздрагивал в сальном светильнике на дощатом столе, в красном углу поблескивала жестью оклада темноликая византийская Богородица.

Гость уселся на пороге, стянул валенки, размотал портянки. Она стояла надо мной, босая, молча, в длинной рубаше, под которой стояли её большие материнские груди.

— Феклуша, — прохрипел я или тот, кто был тогда мною — Феклуша! — И мы обнялись, и долго и горячо целовались.

Пришелец взобрался, по шаткой лесенке на лежанку. Она была уже там. Печь дышала теплом. Подполз ближе. Сильные женские руки обхватили меня, толстые пальцы крестьянки прокрались ловко и нежно по моему тощему телу. И я погрузился в чашу её просторных бёдер, словно воротился из дальних странствий, домой, где ждали меня, — на родину

БЕЗ ИМЕНИ (2)

Для точности мне надо бы указать дату этого приключения. Стыдно признаться, я не стараюсь его забыть; да и не хочу; наоборот, стараюсь припомнить все подробности, всё, о чём нормальная женщина никому не расскажет. Вот сейчас возьму лист бумаги, и — как на духу: всё как было.

Меня всегда удивляла откровенность современных писателей, ведь ясно, что под видом вымышленных событий описывается то, что было с самим автором. А если не было, если он всё придумал, значит, он не стесняется демонстрировать перед всеми свою разнузданную фантазию. Боюсь, что в конце концов я порву свои записи в мелкие клочки. Вернее, боюсь, что у меня не хватит духу порвать их. Это было бы изменой. А я уже сказала, что не хочу ничего забывать. Прошу

моего сына, если случайно эта тетрадка когда-нибудь после моей смерти попадётся ему на глаза, выкинуть не читая. Ему, я думаю, в голову не приходит, что со старушкой могло приключиться что-нибудь такое.

Обычно ставят в вину старшим, что они не знают, чем живут их дети, но это неверно: всё главное в жизни детей родителям известно. Потому что это абсолютно то же самое, что было главным в их собственной жизни, в жизни старших. Люди не меняются, что бы ни происходило в мире, и по-настоящему важные события в жизни мужчины и женщины всегда были и будут одни и те же. Зато дети ничего не знают о родителях. Если они и догадываются, что всё, что они переживают, когда-то переживали родители, то уж наверняка не могут себе представить, что родители до сих пор тянут всё ту же песню.

Я так и слышу голос моего сына: в твои-то годы? Вот уж, действительно, смех — на старости лет уподобиться собственным детям. Но хватит философствовать. Дело происходило во вторник, а число не имеет значения. Время одиннадцатый час, пора готовить к столу, а я всё ещё верчусь перед зеркалом; на косметику я не трачу времени, разве только чуть-чуть, мысль о том, что человек, которого я жду, подумает, что я намазалась, чтобы ему понравиться, для меня мучительна. Я стою перед зеркалом. Деловой осмотр давно закончен. Но какая-то сила меня всё ещё удерживает. Зеркало висит наклонно, от этого фигура выглядит короче; я снимаю его и прислоняю к стене; теперь, напротив, я кажусь себе слишком высокой.

Тело женщины просвечивает под любой одеждой. Этот сомнительный афоризм принадлежит моему бывшему супругу. Не стоило бы сейчас о нём вспоминать. Ложь: одежда меняет женское тело, делает его толще, тоньше, старше, моложе. Я недолго раздумывала, что мне надеть; повторяю, мне было бы неприятно, если бы гость решил, что я нарядилась ради него. Но, конечно, напялить на себя что-нибудь старушечье тоже не хотелось.

Последний, подводящий итоги взгляд; печальные итоги, что и говорить. Умение видеть себя — особое искусство, не каждая им владеет. Не искусство, а проклятие — способность увидеть себя такой, какая ты есть. Большинство смотрится в

зеркало в надежде найти там не себя, а ту, которую хотят увидеть. Утро вообще не лучшее время для таких, как я, а в это утро моё лицо было ниже всякой критики. Это оттого, что я плохо сплю ночью. Вечером долго не ложусь, боюсь заснуть слишком рано и проснуться среди ночи, и, конечно же, просыпаюсь. И лежу, лежу... Боюсь ночей: по ночам меня осаждают страшные мысли. Ясно видишь, всё потеряно, и впереди ничего не осталось. Думаешь о том, как жестоко насмеялась над тобой жизнь, и эта мука тянется, пока не начнёт светать. Результат был в буквальном смысле налицо.

Я увидела себя, свои дряблые щёки, слегка алеющие под набрякшими нижними веками, свои грустно-насмешливые глаза, всё ещё сохранившие тёмный, таинственный блеск, которым я славилась в молодости. В последний раз, отступив на два шага, я оглядела всю себя, одёрнула юбку. Отмечу всё же ради справедливости, что белая кофточка с отложным стоячим воротничком мне идёт. Я надела бусы и отстегнула верхнюю пуговку. Мои груди, пожалуй, слишком бросались в глаза. Всё же я осталась собой довольна.

Он оказался пунктуален, ровно в двенадцать в прихожей раздался звонок. Я помедлила и открыла. Он вошёл. Моё жильё... что можно сказать о нём? Обыкновенная квартира в обыкновенном, паршивом блочном доме. С окнами без подоконников, с низкими потолками, одна из двух квартир, на которые мы с мужем разменяли наши бывшие хоромы или, лучше сказать, нашу бывшую жизнь. Теперешнее моё обиталище состоит из крохотной передней, кухни и комнаты, правда, довольно большой, где стоит инструмент. У окна помещается письменный стол (за которым я сейчас сижу), и есть ещё ниша вроде алькова, прикрытая занавеской, за ней стоит кровать. Память о моём неудачном супружестве. Мысль о том, что на этой кровати мы когда-то любили друг друга, что на ней был зачат наш сын, меня давно уже не волнует. Итак, я выждала, пока звонок повторится, встала и вышла в прихожую. Я не стала спрашивать, кто там, открыла, зная, что это он, и в самом деле это был он, в пальто и шляпе, с букетом в руках.

Надо было, конечно, развернуть бумагу и воскликнуть, ах, какие чудные цветы, или он сам должен был развернуть; вместо этого я сказала: «Привет», и он, усмехнувшись, отве-

тил: «Привет», — расстегнул пальто, стряхнул капли дождя с шляпы, тут-то я и увидела, как он изменился, как страшно он изменился. И тотчас подумала, как же должна измениться я сама. «Но что же мы стоим?»

Следом за мной он вошёл в большую комнату, я всегда говорю: большая комната, словно у меня их несколько. Остановился и обвёл глазами стены, фотографии, люстру, рояль. На попитре стояли ноты, бетховенские сонаты. «Ты преподаёшь?» — спросил он. Я хотела задать ему встречный вопрос, но во-время остановилась. Он понял и ответил: «Я давно оставил музыку».

Когда я вспоминаю сейчас эти первые минуты, замешательство, смущённое стояние друг перед другом и первые фразы, которыми мы обменялись, то невольно вкладываю в каждую реплику какой-то особенный смысл, которого, может быть, вовсе и не было. Когда знаешь, что было потом, то кажется, что всё к этому и шло. Всё как будто говорилось неспроста, все вещи были участниками тайного заговора. Музыка на попитре и фотографии, следившие за нами, и пуговицы на моей блузке, которые я перебирала, словно хотела убедиться, что они все на месте. Потухший, блуждающий по комнате взор моего гостя... Почему потухший?

Вероятно, и у того, кто прочёл бы эти строки, возникло бы такое же впечатление умышленности; ошибочное впечатление. Конечно, я немного волновалась. Но не стоит преувеличивать: мы просто испытывали неловкость, обычную для людей, которые знали друг друга в юности, а теперь пытаются связать концы оборванной нити времени, лёгкое беспокойство, вызванное не столько встречей друг с другом, сколько встречей с прошлым. Должна сразу сказать: никаких особенных чувств я к нему никогда не питала. Разве что любопытство, желание немного помучить кавалера. Мне кажется, я никогда не была кокеткой, да в то время и не было принято у молодёжи заигрывать открыто друг с другом. Мне было любопытно поглядеть, как он будет реагировать на какую-нибудь туманную фразу, на какой-нибудь мнимомногозначительный взгляд. Ну и, конечно, это чувство, знакомое каждой барышне: что надо иметь кого-нибудь возле себя про запас.

Мы сидели на кухне, где я выставила угощение, перебра- сывались бессвязными фразами, он что-то спросил, я отвеча- ла, всё это не имело ни малейшего значения. Вся жизнь, все эти годы, прошедшие с тех пор, как ни странно, не имели зна- чения; мне не хотелось выспрашивать, что с ним стряслось, его не интересовала моя жизнь. Важно было далёкое про- шлое. Только оно было интересно. И разговор наш мало- помалу свёлся к бесконечным «а помнишь, как...» Вспомина- ли разные истории, перебивали друг друга, смеялись. И когда разговор начал истощаться и больше уже ничего забавного не приходило в голову, почувствовался лёгкий страх, что не о чем будет больше говорить, и мы всё ещё повторяли, как заве- дённые, чувствуя, что кончается завод: а помнишь?..

«Помнишь, как мы ходили всей компанией вечером по улицам, был Новый год, и прыгали через сугробы».

«И рисовали на снегу? Конечно, помню».

«А ветер какой был, помнишь?»

«Конечно».

«Но бури севера не страшны русской розе. Как жарко по- целуй...»

«Ну уж этого не помню».

«Да, конечно... А помнишь, — проговорил он, — как я те- бе написал письмо?»

Тут я почувствовала, что он нарушил правила игры. Была как бы молчаливая договорённость, о чём можно вспоми- нать — и о чём не стоит.

Почему не стоит? Сама не знаю. Потому что ведь ничего из этого не вышло. Потому что у нас ничего не было.

Помолчав, я спросила:

«Откуда ты знаешь, что я его получила?»

«Значит, — сказал он, — ты его получила. Ну, и как ты к нему... отнеслась?»

Я пожала плечами.

«Или уже не помнишь?»

«Я всё помню», — сказала я.

«И что же?»

«Я удивилась».

«И всё?»

«Я думала, что за этим последует продолжение».

«Какое же продолжение?»

«Ну... — я замялась, — что ты что-нибудь скажешь вслух».

Он усмехнулся: «Ты хочешь сказать, что я молчал, вместо того, чтобы приступить к дальнейшим действиям?»

Я тоже улынулась. «К каким же это дальнейшим действиям?»

Было ясно — что-то сдвинулось в эту минуту, и я почувствовала тревогу, хотя, я уже говорила об этом, никаких нежных чувств я к нему никогда не испытывала. Наш разговор за столом, весёлый и непринуждённый, даже немного растрогавший нас обоих, — кто же не умиляется воспоминаниям о юности, — наш разговор перешёл в другую тональность. В том-то и дело, что всё было важно в этом прошлом, в том числе и то, что казалось неважным. Шутки и смех прекратились, мой гость вертёл рюмку, он был, казалось, целиком поглощён этим занятием. Потом проговорил:

«Можно тебе задать один вопрос?»

«Зачем?» — спросила я.

«Мне интересно. Скажи, пожалуйста... У тебе тогда уже кто-нибудь был?»

«Зачем тебе знать?»

«Мне очень важно».

«Когда?» — спросила я, чтобы оттянуть ответ.

«В это время. Когда мы учились в консерватории».

Я пожала плечами: «Какая же девчонка не увлекается».

«Я не об этом».

«Разве теперь уже не всё равно? Хорошо, — сказала я, — тогда я тебя тоже спрошу: а ты, когда мы учились... Ты думал, что у меня никого не было? То есть считал меня девичей? Извини, — я засмеялась, — слово какое-то нелепое».

«Да», — сказал он серьёзно, и эта серьёзность мне понравилась. Мне нравилось, что он не иронизирует, не смеётся над нашей молодостью и не изображает из себя всё изстрадавшего скептика.

«Я был в этом уверен», — сказал он и подлил себе и мне. Глядя на его искалеченную руку, я пролепетала:

«Я не очень-то разбираюсь. Мне сказали, хорошее. Венгерское».

Он похвалил вино.

«У меня есть ещё бутылка».

«Допьём эту, примемся за следующую... А водки у тебя не найдётся?»

«Я могу сбегать», — сказала я растерянно.

«Нет, не надо. Не надо», — повторил он.

«А почему, — спросила я, — ты был так уверен?»

«Уверен».

Я усмехнулась. «По-моему, ты тогда тоже ещё был девицей».

Он промолчал, и я продолжала:

«Уж очень мы все друг друга стеснялись. Современная молодёжь не может даже себе представить, до чего мы были скованы. Пуританские времена, ты не находишь?»

Он рассеянно кивнул, о чём-то думал.

«Конечно, мы были слишком молоды, то есть я хочу сказать, ты был для меня слишком молод. Если бы ты был лет на пять старше...»

«Что тогда?»

«Не знаю», — я улыбнулась.

«Ты говоришь: тоже был девицей. Значит, и ты?..»

«Удивительный вы народ, — я рассмеялась, — вам всегда надо знать. Неужели это так важно?»

Он молчал.

«Не было у меня никого, — сказала я. — Ещё вопросы?»

Он откупорил вторую бутылку. У него было что-то с рукой, пальцы не разгибались до конца. Разливая вино по рюмкам, он чуть не уронил бутылку, пролил на скатерть и взглянул на меня с убитым видом.

«Ничего страшного. Это отстирывается»

«Говорят, надо солью посыпать», — пробормотал он.

Я подняла рюмку, выпили.

«Ну, хорошо, — сказала я. — Был один случай. Я ездила летом к бабушке. У меня была бабушка в деревне, в Тульской области. Я у ней каждое лето гостила. Ну, и там был один... тоже приезжий. Глупость, одним словом. Больше никогда не повторялось».

Помолчали.

«Ты разочарован?» — спросила я улыбаясь.

Он тоже усмехнулся, встал из-за стола и вышел в «большую» комнату. Я слышала, убирая со стола, как он подбирал пальцем что-то. Потом сыграл кое-как несколько тактов.

«Ты знаешь эту вещь?» — спросила я, входя в комнату. Глупый вопрос: кто же не знает. Это была соната опус 90.

Он повернулся ко мне, покачался вправо-влево на круглом стуле, это доставляло ему удовольствие, и сказал:

«Есть такой рассказ, по-моему, у Шиндлера. Князь Лихновский спросил у Бетховена, что он хотел выразить в этой сонате. Знаешь, что он ответил?»

«Не знаю».

«Он ответил, что в первой части говорится о споре сердца с рассудком, а вторая часть — это беседа с возлюбленной».

«Знаешь что, — сказала я, — по-моему, это ни к чему».

«Что ни к чему?»

«Ни к чему всё время возвращаться».

Я не задавала ему никаких вопросов, не спросила даже, есть ли у него семья, словно мы с самого начала договорились, что будем говорить только о том, что касалось нас обоих. Я уже упомянула, как я была поражена происшедшей с ним переменой. Но теперь как будто начала привыкать, прежние черты проступили сквозь годы и невзгоды. Да ведь и он, увидев меня, наверное, не обрадовался.

«Я ещё хотел тебя спросить».

Я взмолилась: «Ради Бога, не надо!»

«Хотел спросить... у тебя были тогда неприятности?»

По своей тупости я не поняла, о чём он. Какие неприятности?

«Нас всё-таки часто видели вместе».

А, сказала я, нет, ничего особенного не было.

«Тебя вызывали?»

«Всех вызывали».

«И что же?»

«Ничего. Расспрашивали о тебе».

«Что же ты ответила?»

«Я не помню».

Наступила пауза, потом он спросил, знала ли я, что он вернулся. Знала; кто-то рассказывал... Не хотелось говорить ему, что я редко о нём вспоминала. И вообще считалось, что оттуда не возвращаются.

Я взглянула на часы.

«У тебя дела?»

Вместо ответа я спросила: «Ты завтра уезжаешь?»

«Улетаю». Он жил где-то далеко, может быть, в тех же местах, где освободился.

«М-да. Ну что ж».

Он встал и подошёл ко мне. Я стояла лицом к окну. Вот так и бывает — люди встречаются, потом снова расстаются, на этот раз навсегда. Он медлил, переминался с ноги на ногу; может быть, ждал, что я скажу: побудь ещё немного. Мне хотелось, чтобы он ушёл.

«Что я хотел сказать... — проговорил он. — Послушай, Аня», — и поло-жил руку мне на плечо. Я отстранилась.

«Хочешь, — сказала я, — посмотрим альбом?»

«Альбом?»

«Да. У меня сохранились фотографии».

«И мои?»

«Твои нет. К сожалению. Сам понимаешь... Ладно, — сказала я, видя, что моё предложение не вызывает у него интереса, — пошли, выпьем на посошок».

«Слушай, — сказал он быстро, — только не удивляйся. И не говори сразу нет. Это, конечно, смешная идея, нелепая идея, но мы больше не увидимся. А может, и не такая нелепая... Мы не увидимся. Я хочу сказать, что... Ну, в общем, жизнь прошла!»

Я рассмеялась: «Это ты и хотел мне сообщить?»

Не отвечая, он отодвинул меня от окна и одним движением задёрнул шторы.

«Что ты делаешь, зачем?»

«Свет. Слишком яркий свет, — сказал он. — Аня, мы можем возместить».

Я ничего не понимала.

«Мы можем возместить, — повторил он тупо. — Не говори нет. Пожалуйста».

«Что возместить?»

«То, чего мы не сделали. То, что мы потеряли».

Я спокойно возразила: «Я ничего не потеряла».

«Нет, мы потеряли. Аня, это моя просьба. Не возражай».

Тут, наконец, я упала с облаков. И, конечно, сказала самое банальное, что говорится в этих случаях:

«Ты с ума сошёл!»

«Нет. Не сошёл», — сказал он, не спуская с меня глаз, а вернее сказать, глядя сквозь меня. И добавил:

«Я ради этого приехал».

«Ага; вот как. Ты для этого приехал., — сказала я со злобью. — Спихватился. Через двадцать пять лет».

«Аня».

«Что Аня? Вот ты всё допытывался — была ли я с кем-нибудь и всё такое... А я, может, назло тебе... — Должна сказать, только теперь эта мысль пришла мне в голову. Но казалась мне очень убедительной. — Знаешь, как я была на тебя зла?»

«За что?»

«За что... Неужели непонятно? За то, что ты был мямлей, вот за что!»

Он подошёл к нише. «Э-э! — сказала я. — Ты что делаешь?»

Откинул занавеску.

«Между прочим, мой сын должен сегодня притти», — заметила я.

«Не придёт», — сказал он.

Я вздохнула. Это было чудовищно — то, что он хотел со мной сделать. Я сказала: «Образумься. Возьми себя в руки. В нашем возрасте!.. Лучше попросаемся, и... будет хорошая память, как мы встретились...»

Он ничего не ответил.

«Мы ведь всегда были друзьями, а?»

Молчание.

«Ну, и, наконец — я просто не хочу!»

«Угу», — отозвался он.

Он был целиком поглощён своим занятием. Хмурый и озабоченный, снял покрывало, сложил аккуратно и, не зная, куда деть, повесил на спинку кровати. Из-под подушки вынул мою ночную сорочку, тоже повесил. Отвернул одеяло. Я следила, обалдев, за его движениями.

«Послушай. — Я предприняла последнюю попытку: — Неужели мы не можем без этого обойтись?»

Он покачал головой.

«Мы, в нашем возрасте?..»

Всегда лезут в голову нелепые мысли: я подумала, что на мне неподходящее бельё. «Выйди, — сказала я. — Ну, пожалуйста».

Когда он снова вошёл, — видимо, думал, что я приготовилась, — я стояла, не зная, что делать. Я уж не говорю о том, что тут было нарушение всех правил, тех правил, которые вбиты нам в голову чуть ли не с детства, что всё должно происходить без твоего участия, как бы против твоей воли. Интересно, как ведут себя молодые девицы сегодня? У меня был взрослый сын, но он мне ничего не рассказывал.

«Он должен скоро придти», — сказала я.

«Он не придёт».

«Откуда ты знаешь? А если придёт?»

«Мы не откроем».

«У него есть ключ».

«Ты оставишь свой ключ в двери, он не сможет открыть».

«Но он подумает, что со мной что-то случилось!»

Это уже напоминало какую-то торговлю. Он держал свои руки у меня на плечах, мы смотрели в глаза друг другу, смешно сказать — я почувствовала себя какой-то несчастной, у меня даже навернулись слёзы. Мы смотрели друг на друга, но думала я не о нём, а о себе. Я невысокого роста, с юности была расположена к полноте. После родов похудела. Не могу сказать, что я вела сытую и довольную жизнь, вот уж нет. Нахлебалась достаточно. Может быть, и есть на свете счастливые женщины, только не у нас. Как и большинство, после сорока я стала полнеть. Толстой я не могу себя назвать. Определённую роль сыграло то, что на мне была белая блузка, это опасный цвет. С одной стороны, он молодит, придаёт женщине свежесть. У меня всегда была нежная, молочно-белая кожа. Белый цвет идёт ко мне, моя кожа начинает светиться. Зато тёмные цвета придают ей болезненный вид. Моя мама всегда говорила мне: не носи тёмное, в тёмном ты выглядишь хворой. А с другой стороны, в белом расплываешься. Начинает выступать живот. Конечно, от талии мало что осталось. У меня довольно полные груди, но не оттого, что я пополнила. У меня всегда были полные груди. Говорят, это сочетается с глупостью. Становишься похожей на корову.

Счастье ещё, что в комнате было сумрачно, меня обуял страх. Я боялась, что он увидит меня и я покажусь ему безобразной, я хотела, чтобы ничего не вышло, и боялась, что

ничего не выйдет: как мы тогда посмотрим в глаза друг другу? В панике я пятилась и неожиданно села на кровать. А как же ключ, подумала я. Мы сидели рядом. Я прикрыла себя смятой блузкой, сунула лифчик под подушку. Он наклонился и стал у себя развязывать шнурки ботинок. Шнурок не развязывался. Не выйдет, ничего не выйдет, подумала я. Сейчас я вскочу и выбегу на лестницу; самый подходящий момент. Мне стало холодно. Он встал и задёрнул занавеску искалеченной рукой, и мы оказались внутри, словно в купе вагона. Я подняла на него глаза, он был в трусах и носках и очень худ. И я не могу передать, как мне вдруг стало ужасно его жалко. Я послушно сняла всё, что на мне ещё оставалось. Я спряталась от него под одеяло, подальше, к самой стене, взглянула украдкой — на нём уже ничего не было, и, глядя на него, я испытывала не возбуждение, а сострадание.

Это было странное чувство горечи, жалости, сострадания даже не к нему, к товарищу юности, срубленной нашим злодейским временем, это была жалость к бедному человеческому телу, и, обнимая его, я гладила это тело, гладила костлявые плечи, лопатки, косточки позвонков и ложбинку на пояснице. Я знала, что ничего у нас с ним не получится, когда-то он был для меня чересчур молод, теперь я была стара для него, но меня это уже нисколько не волновало. Я отвечала его поцелуям, гладила и утешала его, утешала, потому что для мужчин это вопрос самолюбия, глупой чести. Я грела его своей грудью и животом, мне хотелось сказать ему: всё хорошо, полежим спокойно. Но почувствовала его настойчивость, почувствовала боль и давно не испытанное ожидание близкого счастья.

Несколько времени погода задрезжал звонок, это пришёл, как я и предполагала, мой взрослый сын. Я быстро оглядела комнату, взглянула на себя в зеркало и вышла в прихожую. «Кто там?» — спросила я и открыла дверь, на площадке никого не было. Ни шагов на лестнице, ни звуков лифта. На случай, если дверь захлопнется, я захватила ключи, сошла вниз на несколько ступенек, вглядывалась в пролёт. Ни звука во всём доме. Я вернулась в прихожую и слушала эту мёртвую тишину, в которой мне всё ещё чудились шаги гостя.

МАРЬЯ ИВАНОВНА

Прошу прощения у присутствующих дам. Расскажу немного неприличную историю.

Давным-давно, в восьмидесятых годах, я ехал в полупустом, гремучем и шатком вагоне дальнего следования, сидел один в свободном купе, забаррикадированный коробками с провиантом, которыми оснастили меня друзья. Перелистывал Рильке, читал третью Дуинскую элегию, ту, где говорится о родовом наследии хаоса, — чувственности, пробуждающейся у юноши, о Нептуне крови с его страшным трезубцем. Стихи эти имеют некоторое отношение к моему рассказу. Сам я тогда был ещё молод. Ехал долго и далеко, до станции Бейнеу в Западном Казахстане, навестить одного опального математика, сосланного за редактирование подпольного самиздатского журнала, в коем подвизался и я. Время от времени я выходил в коридор, стоял перед вагонным окном, обозревая проносившийся мимо унылый пейзаж, сожжённые солнцем пустынные дали, редкую бурую растительность, солончаки. Однажды раздвинулась дверь соседнего купе. Вышла и стала рядом со мной у окна женщина, не молодая и не старая, из тех, о ком говорится: сорок лет — бабий век, сорок пять — баба ягодка опять!

Попутчица моя была среднего роста, широкая в бёдрах, круглолицая, сероглазая, со свекольным румянцем на скулах. Одета в вязаную кацавейку на пуговицах, с трудом сходящихся на груди, и просторную грубошерстную юбку, из-под которой выглядывали крепкие короткие ноги. Тёплый платок обнимал её опущенные плечи.

Разговорились. Она ехала навестить сына, недавно призванного в армию. В СССР новобранцам не положено было оставаться близ родных мест, непременно надо было отбывать срок службы где-нибудь подальше.

«До чего скучная земля, с тоски подохнешь!» — Ей надо было сходить раньше меня. — А ты что же, один тоже едешь?»

Показала мне карточку сына. Простоватый деревенский парень, рядом прижалась девчонка в коротком платье, с толстыми коленками.

«Невеста?»

«Вроде бы. Говорит, жду. Не знаю, дотерпит ли...».

Я спросил;

«А он? Любит её?».

Да какая там любовь. Только бы живым-здоровым вернулся. Платить надо. Начальству ихнему...».

И умолкла. По-прежнему нёсся, погромыхивал на стыках состав. Сколько-то времени прошло, в купе ко мне постучались, Я сказал: «Войдите». И отложил книжку.

Вошла она, платка на ней уже не было. Молча присела напротив, расправив юбку. Я отложил книжку.

«Вы уж меня извините, помешала вам, — сказала она. — Я вам говорила...»

«Что такое?» — спросил я.

«Мне нужны деньги, сыночку моему помочь...».

После некоторого молчания она продолжала:

«Вы не смотрите, что я такая старая. Я не старая... Будете довольны. Мне деньги позарез нужны. Много не возьму».

От неожиданности я сперва не понял — или не хотел понимать. И... зашнулся. Она догадалась, что подыскиваю имя.

«Маша меня зовут, Марь-Иванна...»

«Здесь?» — спросил я.

«А чего. Никто не войдёт. Пожалста, не знаю как вас... — Она всхлипнула. — Христом-богом молю, возьмите меня... Хучь здесь, хучь у меня».

Мне представилось, как она будет точно так же унижаться перед воображаемым начальством, плакать и совать взятку. Я дал ей денег, поезд пошёл медленней, через полчаса она сошла.

ЛЮБА КОЛОДЕЗНАЯ

И понял я, что я в аду.

Вл. Набоков, «Лилит».

Всё стихло. Но ненадолго. Обновили яства, хозяин дома водрузил подкрепление. Очередной рассказчик на минуту задумался, поднёс к губам свой бокал. Внимание удвоилось.

Вы знаете, проговорил он, что я медик, давно уже, с тех пор как вышел на пенсию, оставил практику. Но сперва по-

звольте мне сказать несколько слов, пусть это будет предисловием. Счастливый брак прочен, но хрупок, как драгоценный фарфор. Упаси Бог, ненароком заденешь, и — вдребезги. Вот об этом «заденешь» расскажу вам, совсем кратко...

Было это уже после того, как мы покинули земство. Имею в виду деревню, где оба врачевали по распределению, после окончания института. Ольга успела родить двух девочек. Мы переехали в столицу. Я работал в Елизаветинской больнице, в Центре, у Яузских ворот. Вы её тоже знаете: больница известная, историческая, бывший странноприимный дом, построен при кроткой Елисавет — царице Елизавете Петровне.

Однажды произошёл такой, случай, совершенно незначительный... Я дежурил ночью в терапевтическом отделении. Ко мне постучалась дежурная сестра. Больная в шестой палате не спит, жалуется на боли в груди. Приход врача сам по себе есть терапевтическое мероприятие. Над дверью мигал сигнальный огонёк. Я вошёл в палату, склонился над пожилой женщиной, выслушал сердце. Велел сделать укол. Спустя немного времени сестричка вновь постучала в кабинет.

Появилась она у нас недавно. Кажется, приехала откуда-то из провинции. Я встречал её изредка в отделении. Поглядывал на неё, — этак, знаете ли, неопределённо, скользнёшь глазами и забудешь. Она тоже вроде бы заметила это. Ещё был такой эпизод: случайно, идя по отделению, я заглянул в комнатку для сестёр, рабочий день только начался. Она там одевалась. Стояла на цыпочках перед зеркалом, примеряя накрахмаленный шлем, который делал её выше. Я увидел её, опять же ненароком, как бы сказать, с двух сторон: сзади, спиной к вошедшему, и спереди, в предательском стекле. Оттого, что она привсталала, подколенные ямки в толстых хлопчатобумажных чулках — шёлковые «паутинки» были тогда роскошью, — показались из-под короткого халата. Чёрные глаза стрельнули в меня из зеркала. Я вспомнил, как её зовут по имени, фамилию запомнил.

Кстати, о внешности этой Любы.

Невысокая, почти миниатюрная, темноволосая, беленькая, я бы предположил примесь татарской крови — наследие Орды.

«Сюда нельзя!» — сказала она. Скажу вам наперед: эти чулки, обтянувшие её ножки, произвели на меня впечатление. Искра пробежала на мгновение между нами.

Что вам сказать? — с этого началось... Ещё раз на дежурстве Люба Колодезная вошла ночью ко мне в кабинет. Всё в том же крахмальном колпаке, тесно подпоясанный халат, несомненно, с умыслом поднимает бюст, дразнящие, словно подложенные снизу груди буквально ждут, чтобы их оценили. Ножки, коротковатые, обтянутые чулками, крошечные лаковые туфельки-босоножки и вся фигурка излучают запретную, раздражающую прелесть. Так должен был выглядеть, так вёл себя демон женского рола, средневековый суккубус, что означает лежащий внизу, под кем-то... Люба латыни не знает, но разумеется, всё это сознаёт, всему научена. И я тоже знаю, что она явилась неспроста. Спрашиваю, как там больная в шестой палате.

«Спит», — сказала она. Читай: никто нас не потревожит.

Я встал. В эту минуту она оказалась рядом. Мы стояли лицом к лицу. Мимолётно, молниеносно чёрные, как крепкий кофе, глаза скользнули по мне, по моей физиономии. Она ждала.

Я тронулся навстречу, — тотчас она подалась ко мне. Я почувствовал — я это *знал*, — что она немедленно даст себя обнять. Это был единственный, наш общий шанс. Одно лишь движение — и мы соединимся...

Мысль об Ольге меня остановила. Ангел хранитель, пролетая, задел крылом. Струсив, я отступил. Люба отпрянула. Повернулась и молча вышла.

Сказать, что дело этим кончилось? О, нет. Измена, грозящая разрушить мою жизнь, не состоялась — Пока ещё не состоялась.

Я заболел Любой. Я не мог забыть эту ночь, когда она пришла, без сомнения с определённой целью — отдаться моим объятьям, здесь, в отделении, на кушетке дежурного врача — не так ли? С этого дня всякий раз, идя на работу, я думал о том, что увижу Любу, её крахмальным сестринский шлем, чёрную чёлку до бровей и ножки, обтянутые чулками, жёлтыми чулками, — понимаете ли, она стала носить этот коварный, вызывающий цвет, — и если её не было, я ждал удобного

момента, искал возможности с ней столкнуться. Я её не встретил. Любы не было. Оказалось — не на моё ли счастье? — что её перевели в другое отделение.

Вновь подошла моя очередь дежурить ночью. Я не мог усидеть на месте и, предупредив дежурную сестру, что иду куда-то по вызову, спустился в лифте этажом ниже и по безлюдному внутреннему коридору, в мёртвой тишине направился в соседний корпус. Я шагал, порабощённый инстинктом, точно в поле таинственного сатанинского излучения, исходящего от невидимой Любы, в сумасшедшей уверенности, что застану её где-то там, и более того, что она меня поджидает.

Предчувствие не обмануло меня. Люба в белом, как привидение, показалась в конце коридора. Оба мы двинулись без звука друг другу навстречу... Люба остановилась как бы в нерешительности. И юркнула прочь от меня в какой-то закоулок.

Ветер подхватил меня. Я рванулся к ней и молча, неистово, мучительно схватил и обхватил её. Она испугалась и забормотала: «Васичка, Васичка...», назвав меня попросту по имени. Якобы хотела спастись... Спасения не было. Обнимая её, я почувствовал, что она прижимается ко мне низом живота. Мгновение спустя она вырвалась и отбежала прочь.

С тех пор я никогда больше не видел Любу Колодезную. Что стало с ней? Где она теперь? Понятия не имею. Вообразить её старухой, моей ровесницей, я не в силах.

ЕЁ ВЫСОЧЕСТВО

Историю сочинил не я; старый приятель, посредственный беллетрист, сказал:

«Во всех странах столицу украшает мемориал Неизвестного Солдата. Почему бы ни ставить перед зданиями библиотек памятники Неизвестному Читателю? Посвящаю вам сей труд, друг мой, будьте моим читателем».

Итак, привожу его здесь.

Дом, издали неприметный, мог показаться (или оказаться) замком, если бы удалось тайком проникнуть внутрь. Никому не дано было знать об этом (счастливы были мы), никто ни о чём не подозревал, ни гостившие в деревне у бабуш-

ки родители девушки, ни соседи по лестничной площадке, вечно сидящие взаперти в страхе перед бандитами, уличными попрошайками и милиционерами, которые мало чем отличались от бандитов. Это был старый дом, переживший войны и революции.

Оба вошли украдкой в подъезд, девушка держала мужчину за руку. Отключили свет. Приключение напоминало мальчишескую выходку. В полутьме, смеясь, взобрались по выщербленным ступеням. Дом казался вымершим. Лифт заставил себя ждать.

На площадке нижнего этажа сквозь пыльное слуховое окно сочился сумеречный день. Двинулись выше, в окна мерещился бесконечно далёкий город. Обитатели дома, если кто-нибудь здесь существовал, таились за дверями квартир без номеров.

Заговорщики обнялись. Оба — пожалуй, это больше относится к водительнице — сторали от нетерпения. Девушка первой побежала наверх. Спутник крупно перешагивал ступени. Мимо, мимо, — лестнице не было конца. Наконец, последний этаж, правильной будет сказать, предпоследний. Любовники догадались, что находятся в башне.

Оставалась лишь узкая лесенка с железными перилами; там, под самым потолком, их поджидала тайная дверца. На двух петлях висел замок. Ключ нашёлся у предусмотрительной подруги, пронзительно заскрипела скважина. Мужчина усмехнулся, видя в этом непристойный символ. Молча балансировали в полумраке на цыпочках, пригнувшись под стропилами потолка. Женщина остановилась в нерешительности. Мужчина приблизился к чердачному окну. Снаружи был виден мокрый скат крыши, шёл дождь. Тут кое-что переменилось.

Девушка стояла перед зеркалом. Призрачно серебрящееся волшебное стекло помнило томных красавиц, глядевшихся в него два века назад. Зеркало поведало своё прошлое. Оглянувшись, мужчина увидел чопорную фрейлину, наблюдавшую за церемониалом отхода ко сну, вокруг суетились камеристки. Ливрейный лакей держал зажжённый канделябр. Груды рубиново-алых углей переливались в камине опочивальни. И было слышно, как дождь наверху барабанит по кровле.

Худенькая, стройная, как стебелёк, принцесса была раздета, облачена в белое брачное одеяние. Тяжёлый, затканый гербами балдахин над ложем раздвинут. Девушка лежала, укрытая до подбородка, смежив ресницы. Мужчина сбросил всё что было на нём. Чертог опустел, и девушка откинула край одеяла. Время замедлилось, мгновения слились в непроницаемую вечность. Дождь не утихал. Оба видели одно и то же. Оба незаметно проникли в холодный полутёмный подъезд. Дрогнули канаты, коробка лифта послушно спустилась и осветилась. Дом был погружён в молчание, словно никто там не жил, и девушке, всё ещё дремавшей обняв мужчину, обессиленного в акте продолжения рода, показалось, что оба они умерли. Никому ничего не было известно, всё осталось тайной для всех, кроме пишущего о них. Мужчина стоял в театральном плаще и шлеме. Отворив чердачное окно, рукой в перчатке манил к себе. Принцессе было холодно. Он протянул руку и помог перешагнуть на кровлю.

Дождь прекратился, проснулось солнце, и над заблестевшими крышами Валгаллы воздвигся многоцветный мост. Оба двинулись вверх по радуге, словно вагнеровские боги.

РОДОСЛОВИЕ

У ворот Рима сидит прокажённый нищий и ждёт. Это Мессия.

Чего он ждёт? Кого?

Тебя.

(Эпиграф к роману «Антивремя»).

Тысяча лет в глазах Твоих, как день вчерашний, что минул, как стража в ночи. Как наводнением уносишь людей.

Молитва Моисея (псалом 89)

У каждого из нас есть мать и отец, у родителей были свои родители, предки и предки предков; продолжая эту геометрическую прогрессию, я прихожу к выводу, что за спиной у меня толпится, неузнанное и не сосчитанное, всё человечество.

Маргарите Юрсенар принадлежит мысль о том, что происхождение рода надо представлять не в виде разросшегося

дерева — генерального ствола с именем родоначальника, и венчающей его густолиственной кроны потомков с их ответвлениями собственного потомства. Наоборот: генеалогическое древо растёт как бы вверх ногами, начинается от вершины и тонет в закатном небе времён, с последними отраслями неумолимо угасающего рода.

Вдохновлённый одиночеством, чтением и воспоминаниями, я отваживаюсь писать о собственном происхождении, не смущаясь тем, что мой род не выдвинул знаменитых людей, вообще ничем не замечателен, хоть и несёт на себе из поколения в поколение отсветы судьбы своего народа, страны и эпохи. Считать ли эту отмеченность преимуществом, подарком богов или возмездием? За что? Во имя чего? Я начинаю с вопросов, на которые вряд ли кто в состоянии дать аргументированный ответ. При первых же попытках разобраться в прошлом разум сталкивается с абсурдом. История нашего века — царство абсурда. Суровый Бог Пятикнижия, Бог Спинозы, Монтеня, Пруста, Малера и Эйнштейна, научил свой народ самым фактом его похожего на бессмертие существования противостоять абсурду истории.

Мне неизвестны предки, к которым предположительно восходит мой род, — и не он один, — я могу судить лишь о том, откуда произошли пращуры мои, пожранные, как выразился русский поэт, жерлом вечности.

О них я ничего не знаю. Известно только, что на жарком Переднем Востоке они были земледельцами и пастухами, после долгих кочевий, потеряв свою землю, стада и богатства, рассеялись по египетскому, греческому и романскому Средиземноморью, пережили Персидское царство и Халифат, расселились в Священной Римской империи. Гонимые отовсюду, подались на славянский восток. В конце концов, после третьего дележа Польши, они стали добычей хищного двуглавого орла. Тысячелетия приучили их глядеться в мёртвые воды коллодца, называемого историей, и видеть там своё отражение. Так они прибыли в новый Ханаан — Россию. Ум, не изверившийся в историческом разуме, нашёл бы такой финал провиденциальным.

Мой отец проложил тропу, по которой бредёт моя жизнь: он остался один у меня, когда в 1934 году умерла моя мать, как я остался с моим сыном после смерти Лоры в 2007 году.

Мой отец родился одновременно с веком, в январе 1900 года, в городке Новозыбков Брянской губернии, возникшем на исходе XVII столетия из слободы бежавших от преследований старообрядцев. Впоследствии, после второго раздела Польши, по указу императрицы (спровоцированному, как считают, письмом некоего витебского купца по имени Цалка Файбушович) с предложением ввести «черту постоянной оседлости евреев», Новозыбков с округой, как и находящийся в двухстах верстах от него белорусский Гомель, родина моей мамы, оказался внутри этой, назовём её роковой, черты.

Папа был младшим сыном еврейского ремесленника Грейнема Файбусовича, о котором мне известно, что он был книжник, знаток Закона, и умер в 17-м или 18-м году, сорока лет с небольшим, оставив без средств многодетную семью.

В телефонной книге «Весь Ленинград» на 1926 год я нашёл двух Файбусовичей под одним абонентным номером: это были мой отец Моисей Григорьевич и его старший брат Исаак Григорьевич, дядя Исаак, ненадолго переживший моего папу. В начале 20-х оба оставили родные места и поселились в Петрограде, вскоре переименованном в Ленинград; отец, окончивший новозыбковское коммерческое училище, намеревался продолжить образование во второй столице, поступил в Технологический институт, но оставил его за недостатком средств. Он стал служащим в каком-то из государственных учреждений, к этому времени уже был женат; в 1928 году появился на свет будущий составитель этой хроники. Не могу сказать, кто из родителей придумал моё неупотребительное имя Героним, гибрид древнееврейского Грейнем и греческого Иероним. Иронический экивок истории видится мне в том, что моим тёзкой, тёзкой иудея, оказался отец церкви Блаженный Иероним, высокоучёный аскет IV века, создатель латинской версии Ветхого и Нового Заветов и, по некоторым предположениям, глаголической азбуки.

Я никогда не видел моего голубоглазого, рыжебородого деда, ушедшего из жизни незадолго до моего рождения. Он был, как уже сказано, ремесленник, бедняк, считался знатком Торы и Талмуда. От него не осталось портретов, не осталось ничего. От него остался я — и через дальние годы мои полувзрослые американские внуки.

Ничего не знаю и о предках с материнской стороны, но помню мою мать, Розалию Павловну (Пинхусовну), урождённую Рубинштейн, молодую женщину, умершую, когда мне было шесть лет; по-видимому, семья её родителей была достаточно состоятельной, чтобы дать возможность дочери окончить Петроградскую консерваторию по классу фортепиано. После смерти мамы в доме хранились кипы нот в твёрдых переплётках, издания славного Юргенсона, исчёрканные моими каракулями; однажды попался мне листок с карандашным портретом Римского-Корсакова.

Я думаю, что во мне сказалось двойное наследство — противостояние слова и музыки.

Привязанность к Слову, к листу бумаги, к начертанию букв (я придумывал и собственные) проявилась у меня чуть ли не с раннего детства, она передалась от деда и через него — от бесконечной череды согбенных книжников, толкователей священных текстов, столбцов прямоугольных букв с локонами, похожими на пейсы. А мою любовь к музыке, жизнь в музыке я получил от матери.

Я стал волей судеб писателем, потому что Слово для меня — воплощение логики, ясности и дисциплины, и эти начала сталкиваются и сливаются с тем, что не поддаётся переводу на язык слов, — с музыкой. Проза есть царство разума, но его размывают волны музыки, как ночь размывает день. Не оттого ли вожденная чистота и логическая упорядоченность прозы мешаются в моих писаниях с фантастикой, с искривлёнными зеркалами, с безответственным отношением к времени, с мертвящим, как взгляд василиска, неверием в благодать Творца и сомнениями в разумном мироустройстве.

К тому, что уже сказано здесь о моей матери Розалии Павловне (Пинхусовне) Файбусович, в девичестве Рубинштейн, можно добавить немного. Она была моложе моего отца на один год. Скончалась в апреле 1934 г. от ревматического эндокардита и декомпенсированного митрального порока сердца в московской Басманной больнице, в возрасте тридцати трёх лет. Двумя годами раньше, в 1932-м, родители вместе со мной переехали из Ленинграда в Москву и поселились в Большом Козловском переулке, поблизости от

Красных Ворот и Чистых Прудов. Двойственность рано дала себя знать и тут: я вырос в двух столицах, меня воспитали мой отец и домработница, русская крестьянка Анастасия Крылова. Она меня любила, я помню её и буду помнить до конца моих дней. Её образ отразился в моём романе «Я Воскресение и Жизнь», хотя реальная Настя не была религиозной (папа тоже был равнодушен к религии), в церковь не водила меня и не рассказывала ребёнку эпизоды из Евангелия; зато помню, как она читала мне наизусть «Дядюшку Якова», который до сих пор остаётся моим любимым стихотворением Некрасова.

Детство от шести до двенадцати лет (когда отец женился на Фаине Моисеевне Новиковой, дальней родственнице, големельчанке, в юности знавшей мою мать и влюблённой в моего отца, вдове расстрелянного в годы ежовщины отца моего сводного брата Толи, которого мой отец усыновил после женитьбы), — детство, говорю я, насыщено памятью об отце до созвучия с иудейским архетипом всемогущего Отца в такой степени, что я помню, вижу воочию по сей день мельчайшие подробности моей жизни, которую он осенил. Я не раз возвращался к моему детству, раннему и «позднему», в своих сочинениях.

Он был красивым мужчиной, брюнетом с зелёными глазами. В детстве казался мне высоким, но на самом деле был среднего роста. У меня сохранилась фотография: я на руках у папы, мне, вероятно, один год, у папы на пальце обручальное кольцо.

В первых числах июля рокового 1941 года он записался в народное ополчение. Трагическая судьба этого войска, брошенного командованием на произвол судьбы и почти полностью погибшего во вражеском окружении в заснеженных лесах между Вязьмой и Смоленском, — одно из бесчисленных преступлений советского режима и его вождя-каннибала.

Отец выжил, сумел выбраться и вернулся в Москву. Как все бывшие фронтовики, он не любил говорить о войне, но однажды рассказывал, как, блуждая в неизвестности, он заночевал в избе, в какой-то деревне. В дом вошёл немецкий патруль: молоденький офицер и два солдата. Офицер спросил, показав пальцем на моего отца: это кто? Partisan, Jude? Отец,

которому был 41 год, оборванный и, обросший седой бородой, выглядел крестьянином много старше своих лет. Хозяйка ответила: он из нашей деревни. Патруль ушёл.

Офицерик прибыл в Россию из страны, где я живу теперь много лет. Кто знает, быть может, его фотография в траурной рамке стоит до сего времени в углу на столике в каком-нибудь близлежащем немецком доме.

Отец умер в ноябре 1971 г. от злокачественного заболевания крови — эритремии, в возрасте семидесяти одного года. Нынче я намного старше его.

Сопоставление дат напоминает игру в кости, и оно же делает жизнь похожей на путаный, не в меру затянутый и кишачий неувязками роман — творение малоодарённого беллетриста. Впрочем, приходят в голову и другие сравнения: сон, оркестровая партитура...

Видно, такова человеческая натура, если сон, сновидческая активность мозга, нечто призрачное и обманчивое, узурпирует права рассудка, посягает на суверенность нашего «я», принимает решения. Однажды, лёжа в больничной палате после несчастного случая, в одну из тех тягостных ночей, когда теряешь способность отличать действительность от хаотических грёз, я набрёл на мысль подвести чёрту. И вот, возвращаясь к ней. Мне 88 лет. Я многое видел. Кое-что написал. Моя жизнь лежит передо мной, в самом деле как некая партитура, — но кто стоял за дирижёрским пультом?

Словно веку назло, наперекор несчастью родиться в несвободной стране, мне всё же отчасти, в некоторых отношениях, повезло. Потомок иудейских предков, я избежал газовой камеры. Не околел в лагере. Был рождён и вырос в русском языке, почему и обрёк себя почётной, хоть и не слишком выигрышной участи русского писателя. Наконец, встретился с девушкой, которая стала женщиной моей жизни (и без которой влачу теперь остаток дней). Тридцать лет тому назад мы оставили родину, ставшую чужбиной. Изгнание спасло мне жизнь, избавило нашего сына от дискриминации и нищеты, дало мне возможность отдаться литературе. И вновь буравит сознание тот же вопрос: кто был дирижёром, исполнившим сочинение анонимного композитора перед пустым залом?

РОДНИКИ И КАМНИ

Наклонись над струйкой, следи за тем, как вода вырывается из-под камня, скользит и вьётся, и вливается в озерцо. И, успокоившись, течёт между травами и корнями деревьев, по песчаному руслу. Проводи её глазами, покуда она не исчезнет из виду. Сколько времени понадобилось воде, чтобы пробиться сквозь толщу земли, отыскать трещину в окаменелостях далёкого прошлого, растворить в себе соль веков. Подумай о том, что твоя жизнь, единственная, замкнутая в себе, на самом деле только пробег ручейка от порога к другому порогу: не правда ли, мы не догадывались, что в нас продолжается подземный ток, что ты сам — бегущая вода. Из тёмных недр прорывается безмолвие голосов, так бывает во сне, так даёт о себе знать череда предков, ты понятия не имеешь о них. А между тем ты их продолжение. Ты весь составлен из подробностей, накопленных ими, ты их совокупный портрет. Ты сбрываешь рыжую, уже поседевшую щетину на щеках — её оставил тебе в наследство пращур, современник царя Давида, а ему — патриарх Иаков, тот, кто поцеловал у колодца смуглую девочку с тёмными сосками, с лоном, как ночь, и с тех пор чёрная и рыжая масть спорили в поколениях твоих предков. Ты вперяешься в молочный экран и раздумываешь над каждой фразой, лелеешь и пестуешь язык, это потому, что твой согбенный прадед весь век вперялся в зеркальные строки квадратных букв с заусеницами и обожествил алфавит. Ты лежишь на пороге своего дома в Вормсе, в годину чумы, с проломленным черепом — тебя обвинили в распространении заразы. О тебе в Кишинёве сказал поэт: встань и пройди по городу резни, и тронь своей рукой присохший на стволах и камнях, и заборах остывший мозг и кровь комками; то — они. Их уличили в том, что они — это они, а не кто-нибудь другой. Ты в очереди перед газовой камерой, и рядом стоит твой соплеменник, босой пророк из Галилеи, царь иудейский, чтобы вместе со своей верой, которую он возвестил в Иерусалиме, со всеми вами вдохнуть циклон Б и сгореть в печах. Потому что заодно с теми, кого изгоняли и убивали из века в век за несогласие признать Иисуса Христа богом и, наконец, сожгли в печах, сгорело и христианство. Да, мы древний на-

род, мы поплавок, качающийся на поверхности взбаламученных вод, там, где на страшной глубине, занесённые илом, лежат целые цивилизации. И вот теперь ты остановился, тайный двойник, соглядатай, в зелёном лесу, и не можешь оторвать взгляд от родника — что стоит копнуть лопатой и засыпать его землёй!

ПИСЬМО К СТАРОЙ ПРИЯТЕЛЬНОЙ, ИЛИ МАЛЕНЬКИЙ ТРАКТАТ О ЛЮБВИ

Вполне возможно, что женщины, которых мы целовали, как и места, где жили, на самом деле не таят в себе больше ничего из того, что заставляло нас любить, вожаделеть, жить там, бояться потерять возлюбленную. Искусство, притягивающее на сходство с жизнью, дискредитирует драгоценную правду впечатлений и воображения и тем самым уничтожает единственно ценную вещь. Но зато, изображая ее, оно придает ценность вещам самым заурядным.

Из записных книжек Марселя Пруста

Дорогая!

Замысловатый заголовок позабавит вас, если не отпугнёт: ведь наши отношения всё-таки не настолько доверительны, чтобы позволить мне без стеснения распространяться на весьма деликатные темы. Трактат о любви, скажете вы, это ещё что такое? Мы не в прошлом веке. Кому сейчас интересна эта философия?

Сидя перед девственным листом бумаги, за столом, на котором некогда возвышался похожий на мемориал дедушкин письменный прибор, обмакивая вставочку в чернильницу и держа наготове пресс-папье, я чувствую себя могиканином эпохи, когда электроника ещё не отучила людей пользоваться таким архаическим инструментом, как стальное перо, и не похоронила традицию эпистолярной прозы. Тем не менее, возвращаясь к известной вам привычке напоминать о моём существовании. О чём же мы будем беседовать... Что нового может сообщить, чем вас развлечёт корреспондент, для которого всё новое — давно известное старое?

Заговорив о почтовой прозе, я стал думать о том, какое значение имели письма в моей до неприличия затянувшейся жизни, — и вот вам тема! Начать хотя бы с одного примера.

Я знал, не мог не знать, что письмо оттуда, сама попытка связаться с внешним миром, кроме ближайших родственников (к ним разрешалось написать один раз в месяц открытку без заведомо секретных подробностей, с закодированным обратным адресом), подвергает опасности адресата, — хотя какой именно опасности, какому риску, можно было только гадать. Все постановления этого рода были секретными, как и самый факт существования концлагерей, — слово это принадлежало ко множеству непроизносимых слов.

Не мне вам рассказывать, дорогая, что мы жили в заколдованном государстве, допускавшем лишь изъявления безграничной преданности и благодарности. Всякая секретность порождает адекватное ей ханжество, и запретность этих слов должна была означать, что ничего подобного нет и не было в нашей самой счастливой стране. Не было никаких лагерей принудительного труда, рабовладение существовало только в учебниках древней истории. Не было и нас, обитателей этого неназываемого потустороннего мира, — совершенно так же, как для ребёнка, которому родители запретили произносить нехорошие слова, не полагается знать, для чего предназначенны части тела, обозначаемые этими словами.

Так вот, мадам, — если вернуться к начатому, — я вполне отдавал себе отчёт в том, что две-три строчки, которые я отважился направить из заключения девушке по имени Ирина Вормзер (и на которые, разумеется, не получил ответа), могут причинить ей неприятности, и всё-таки послал — зачем? Считать ли это мальчишеской бравадой, ссылаться на то, что мне тогда шёл двадцать второй год? Поступок, бесспорно выдававший в уже взрослом человеке и политическом заключённом подростка, для которого важней всего произвести впечатление, козырнуть перед девочкой, дать понять, что к ней неравнодушны. Главное, сказать ей об этом. Инфантильность была характерной чертой нашего поколения. Впрочем, позднее, спустя много лет выяснилось, что послание всё-таки дошло, и притом без всяких последствий для адресата.

Любовь, говорит Пруст, это всего лишь плод нашего воображения (или, ещё определённой, «негатив чувственно-

сти»). Мы любим не реальную, обыкновенную девушку, какая она в жизни и за кого сама себя принимает, — но ту, какой мы её себе представляем. История моих отношений с Ириной Вормзер (надеюсь, вы догадались, читая некоторые из моих сочинений, где она — главное действующее или скорее недействующее лицо, что имя это вымышлено) — история наших взаимоотношений, говорю я, лишний раз подтверждает убийственную правоту автора «Поисков утраченного времени».

Здесь, я думаю, кроется и ответ, зачем мне понадобилось переименовать её. Новое имя преображает его носителя, и я почувствовал, что должен описывать возлюбленную не совсем такой, какой я её знал, но той, чей образ некогда рисовало мне моё воображение. Литература — это воображение. И вот теперь, вспоминая далёкие времена и эпизод (о нём ниже), сам по себе совершенно незначительный, но врезавшийся в память, я спрашиваю себя: была ли эта Ира Вормзер, носившая тогда своё настоящее имя, реальной Ирой, а не иллюзией семнадцати-восемнадцатилетнего юнца?

И ещё одно. Мою эпистолу украшает роскошный эпиграф; чувствую, что вы усмехнулись, вспомнив, кому он принадлежит. Сколько тут противоречий! Пруст и лагерь, салон г-жи Вордюрен и подземное царство теней в арестантских бушлатах Комбре, Бальбек и гиблая, заболоченная костромская тайга. Да можно ли вообще вообразить что-либо менее несовместное? Два мира, словно две планеты с их обитателями. Но буду продолжать.

Принимаясь за это послание, я чуть было не упомянул ещё об одном письме. Ослепительная идея объясниться в любви способом, какой избрала Татьяна Ларина, не впервые осенила вашего корреспондента. Письма, как верстовые столбы, разметили мою жизнь. Письма обозначили эпохи жизни. Вы, дорогая, знакомы с моими сочинениями; не устаю благодарить вас за терпение и снисходительность. Прочитав в отрывочестве переписку Герцена из владимирской ссылки с кузиной Натальей Захарьиной, я заболел эпистолярной манией, и первым симптомом было послание к 20-летней, старшей меня на четыре года, Нюре Приваловой, — имя на сей раз подлинное. Я и сейчас не могу произнести его мысленно без волнения. Дело происходило во время войны, в эвакуации, представьте себе; где-то далеко, за тысячи вёрст, грохочет

артиллерия, гудят бомбардировщики, рушатся города и люди гибнут тысячами и десятками тысяч ежедневно, ежечасно, под обломками зданий, в дыму пожаров и на полях сражений, — а в это время подросток, задумавшись, с повисшей над тетрадкой дневника вставочкой, в спящем бараке, при свете коптилки, решительно поднимается и выходит тайком, чтобы той же ночью прошагать всю дорогу до села и опустить в почтовый ящик, заветный треугольник, письмо, сочинённое с единственной целью: пусть она знает! Сколько-то времени спустя за этим отважным поступком последовало возвращение в Москву, а там университет, первый курс... и снова письмо — к кому же опять? Вы улыбаетесь... Разумеется, к той, кому много позже в своей литературе я присвоил имя Иры Вормзер. Не буду сейчас о нём. Как вы теперь знаете, оно не было и последним. Итак, довольно о письмах; перейдём к эпизоду, о котором я мельком и, может быть, неосторожно упомянул выше.

Если верно, что юношеская влюблённость, которая почти всегда остаётся безответной, может чему-то научить, то правда и то, что увлечение Ирой Вормзер всё-таки научило меня, в чём я убеждаюсь много лет спустя, кое-чему, во всяком случае, подарило мне две-три темы для будущего писательства. Упомяну примечательный парадокс: невозможность раздвинуть таинственную завесу, которую я сравнил бы (не довольно ли, однако, литературных реминисценций?) с покрывалом Изиды у Новалиса. Юный Гиацинт приподнимает покрывало, скрывающее некую истину, и оказывается, что вождевленную тайну воплощает его возлюбленная, неуловимая Розенблот. В моей ситуации было нечто комическое: я знал, узнавал Иру, словно книгу, зачитанную до того, что из неё можно цитировать наилучше целыми страницами; я знал во всех подробностях её убор, причёску, походку, черты лица, манеру поправлять упавший на висок завиток бледно-золотистых волос, издали угадывал звук её шагов, замечал её в толпе сверстниц, закрыв глаза, видел её всю... а вместе с тем не решался её разглядывать, не мог себе представить, что найду случай ненароком коснуться её одежды. Она была для меня восхитительной плотью, и, однако, я не мог, не смел и не умел вообразить её хотя бы наполовину обнажённой. Было просто немыслимо поднять покрывало над её тайной, не оскорбив при этом, пусть мысленно, её целомудрие и не посягая на её а priori прини-

маемую теоретическую невинность. Была ли она «невинной»? Впрочем, в те времена, в пуританском обществе, воспитавшем нас, презумпция девственности была чем-то само собой разумеющимся. Сегодня, после всех пронёсшихся надо мною лет, я сумел бы, призвав на помощь свою литературную искушённость, а лучше сказать, испорченность, разоблачить тайну, или, что то же самое, истину — описать её тело юной, только что созревшей женщины, каким оно ныне предстала моему воображению, — если бы не опасение шокировать вас, дорогая. Вы поверите мне, если я вам скажу, что никогда не помышлял о том, чтобы соединиться с Ирой, обладать ею.

Мы опять отвлеклись; будем продолжать.

Я назвал общество тех лет пуританским; думаю, вы согласитесь со мной, что ещё верней было бы наименовать его — имея в виду не только политику, но и мораль — полицейским. Тут — или, как принято говорить, «в этой связи» — мне хотелось бы кое-что сказать о нашем поколении. Трудная тема! Шаткое, неверное слово. В самом деле, кто такие были эти «мы», что такое наше или не наше поколение? Фантом, избречение писателей. Моё поколение — это абстракция. Я привык считать себя закоренелым индивидуалистом. Я питаю глубокое недоверие ко всякому коллективизму. Ни с какой общественностью я ничего общего не имел и не испытывал желания связываться.

«Я поздно осознал свою принадлежность к поколению», — замечает Марк Харитонов (эссе «Родившийся в 37-м»), — даже как бы сопротивлялся чувству этой принадлежности». Фраза, под которой я охотно бы подписался.

Толкуют о «нашей эпохе». Боже милостивый, какая эпоха? Мы жили в эпоху, которой не было. По крайней мере с окончанием войны эпоха «эпох» в нашем государстве попросту прекратилась. Бывают такие страны, где история проваливается время от времени в яму.

Но! Хочешь не хочешь, придётся возразить самому себе. Ныряя в омут минувшего, я принужден буду признать, что в самом деле принадлежал к тому сомнительному «мы», которое за неимением нужного термина должен назвать поколением, — в данном случае к поколению московской интеллигентной молодёжи послевоенных лет. (Судьба пощадила меня: я достиг призывного возраста к моменту окончания великой войны.)

Поистине это было одинокое, неприкаянное поколение, и не только потому, что всякое проявление солидарности, любая попытка сплотиться, тень единомыслия, группа или дружеский кружок, немедленно привлекали внимание вездесущей тайной полиции, этого государства в государстве, прослаивались донощиками и заканчивались арестами, — не только, говорю я, поэтому. Но и потому, что мы были поколением, которого не было, потому, что угодили в расщелину истории. Всем нам было суждено жить и изживать нашу юность в гнуснейшую пору советского времени. Вы, дорогая, узнаете, помните эти годы.

Сказать о нас, что, дети военных лет, так и не сумевшие дозреть до того, чтобы стать поколением в полном и подлинном смысле, мы не знали жизни, сказать так было бы и правдой, и неправдой. С реальностью повседневного существования в Советском Союзе, чудовищным бытом, нищетой, голодом, вечной нехваткой всего и т.д. и т.п., со всем этим мы сталкивались весьма чувствительно и достаточно рано. Перед этими сиротливыми кулисами, наперекор всему, разыгрывалась трагикомедия нашей судьбы, ютилась наша молодость, поколение одиночек, типичными чертами которого были какая-то странная, всё ещё не преодолённая незрелость, застенчивость и стыдливость, поразительное невежество в вопросах пола, подростковый страх перед женской телесностью и полнейшее непонимание женской сексуальности у юношей, раз и навсегда заученная поза самообороны перед мужской инициативой у девушек вкупе с их неизбежным следствием — обоюдной скованностью... Короче, богатейший материал для фрейдистских умозаключений — в стране, где психоанализ был не просто запрещён, но чуть ли не приравнён к политической крамоле.

Пожалуй, я слишком растёкся по дереву. Пора заканчивать, но позвольте мне пересказать одно маленькое воспоминание, которое я нахожу на дне омота, как ловец жемчужин — раковину на дне Индийского океана.

Был такой — и, говорят, стоит до сих пор на Пречистенке, некогда переименованной в улицу Кропоткина, Дом учёных; здесь устраивались в те годы вечера для студенческой молодёжи. Не помню, по какому случаю, мы оба, Ира и я, оказались на одном из этих вечеров. Я не ожидал её увидеть. Надо

вам сказать, что я обожал танцы. И вот — какое грандиозное воспоминание! Грянул духовой оркестр, праздничная толпа всколыхнулась, и, набравшись духу, я приблизился к Ирине. Кажется, она была удивлена. Она была прекрасна. Что было на ней? Пытаюсь найти нужное сравнение. В те годы в Москве появилось, в числе других американских продуктов, которыми кормился весь город, — счастливыцы получали их по карточкам или спецталонам, — волшебное лакомство, сгущённое молоко с сахаром; если подержать закрытую банку в кипятке, молоко меняло свой цвет. Таким — золотисто-коричневым — было платье Иры, облежавшее уже довольно полную грудь и бёдра, и оно удивительно шло к ней, к её рыжеватым и светящимся, слегка вьющимся волосам, собранным в небольшой узелок на затылке. Музыка звала и будоражила нас, пары теснились вокруг, я неловко обнимал её, как полагалось, за талию, её ладонь лежала на моём плече, я видел в нескольких сантиметрах от себя её вздымающуюся грудь, губы Иры были приоткрыты, свежее дыхание оведало меня. Казалось, и она была взволнована, и вся жизнь была впереди, жизнь была окутана пеленой недосягаемого будущего. То были первые послевоенные годы, упорхнувшее время надежд и ожиданий. Близились новые времена, и никто, казалось, не подозревал о том, каким хищным будущим было беременно это время. Юность не страшится будущего, этой тигриной пасти, которая пожрёт и тебя, и вместе с тобой — твоё короткое прошлое, всё то, что впоследствии сохранит усталая память; мы не знали, что из чащи лет за нами следят жёлтые очи плотоядного будущего, что Иру ждёт бедственное замужество, потеря ребёнка, мучительная болезнь, меня — арест, тюрьма и лагерь.

Дорогая! Рассказ мой затянулся, вы чувствуете, что письмо требует завершения. *Happy end* — если бы можно было его так назвать...

Одним из немногих счастливых событий — быть может, самым счастливым в истории нашей страны, — была смерть вождя-каннибала, неожиданно ухнувшего в преисподнюю, чтобы разделить там по-братски с Шикльгрубером котёл с кипящей смолой. Радостное известие дошло до обитателей Унжлага, года через полтора, начались перемены; выпущенный на волю с волчьим билетом и запрещением возвращаться в Москву, я не верил своим ушам, услышав о том, что в мартов-

ские дни 1953 года чуть ли не весь народ рыдал от горя. И всё-таки, вопреки запрету, буквально на другой день после условного освобождения я не утерпел и позвонил в Москве из будки телефона-автомата Ирине Вормзер. Против ожидания, мало ли что могло случиться за эти годы, услышал в трубке голос, Да, это был её голос. Долго добирался до неё. Теперь она проживала в районе новостроек, одна, на последнем этаже безликого блочного дома. С колотящимся сердцем я поднялся по лестнице и позвонил в дверь. Она отворила.

Узнали ли мы друг друга? Узнал ли я Иру? Конечно, годы, как принято говорить в романах, наложили на неё свой отпечаток. Обо мне и говорить не стоит. Зато она... Что ж, по крайней мере, для меня она должна была оставаться красавицей.

Должна. Странное замечание, скажете вы.

Всю мою, показавшуюся необычайно длинной дорогу на окраину донельзя разросшейся столицы, мимо незнакомых станций новой линии метро, в переполненном автобусе, наконец, в поисках дома, поднимаясь по ступеням неуютных этажей, — всю дорогу я не переставал думать об одном, вспоминал, как я любил Иру и не отваживался сказать об этом вслух, тщетно жаждал ответного внимания и мучался неутолённой страстью.

Мы сидели за скромным угощением, чокнулись бокалами с красным вином, но сердце моё уже не стучало. Жестокая догадка поразила меня. Похоже, я уже не любил её. Нет, зачем же: любил, конечно. Но не так.

Я встал. В маленькой прихожей снял с вешалки своё пальто. Она тоже поднялась, приблизилась и поцеловала меня.

И вот теперь, после её смерти, я спрашиваю себя: зачем я тогда не обнял её, зачем не спросил, не предложил ей выйти за меня замуж?

2013, 2018

ЭТЮД И ЭХО

К рассказу «16 января 192*»

Это — не комментарий для недоумевающего читателя, но скорее «опыт литературы» (по Морису Бланшо), требующий от автора уяснить себе кое-что, избегая аллегорических толкований, которые прямо-таки напрашиваются в рассказе.

Повествователь остаётся анонимным, неизвестно и не важно, кто он такой. Юнец, у которого всё впереди.

Действие происходит после великой победы над иноземным завоевателем, которую ещё не отличают от поражения, и победы государства над собственным народом. Миллионы раненых, искалеченных, полумёртвых, полуживых возвращаются с полей войны в эшелонах, меченных красными крестами в белых кружках, на госпитальных судах, в тряских телегах, в колоннах санитарных фургонов по залитым грязью дорогам. Таков подразумеваемый фон, или пролог, рассказа.

Вырисовывается, словно наведённое на фокус, конкретное место действия — город детства, старый, бывший доходный дом с его кишечником — этажами лестниц, лабиринтами коммунальных квартир, коридоров, кухонь, где шарахаются от постороннего взгляда тени умерших обитателей.

Что касается времени, оно здесь, можно сказать, главный герой, распорядитель происходящего, о чём и предупреждает эпиграф из Элиота; время — это Будущее.

Будущее прячется в будущем; тавтология оказывается необходимой для того, чтобы описать природу этой стихии — незримой реальности, которая существует, ещё не существуя, и как будто уже готова распахнуть дверь, споткнуться о порог. Призрачное присутствие надвигающегося грядущего обманчиво, непостижимо и порождает, по Хайдеггеру, экзистенциальный страх. И как оправдание этого страха — маскированная, вся в чёрном, гостья, незваная, словно сама судьба, является на именины к рассказчику.

В замкнутой цитадели прошлого, — ведь дом есть не что иное, как воплощённое прошлое, — оба, именинник и пришелица, предоставлены самим себе. Не в силах противиться демоническому шарму самозванной подруги, повествователь ещё не догадывается, что его страх и трепет — страх перед роком, другими словами, страх перед женщиной, ведь пол, — это тяжкий долг. Страх, а не плотское вожделение, тотчас подавляемое, господствует над его переживаниями, страх, не отличимый от страха смерти. Вдоль перил навверх, по ступеням лестниц, истоптанных поколениями, мимо обиталищ, населённых тенями, вцепившись в послушную руку жертвы костлявой рукой, судьба, которая явилась в образе женщины, обла-

чѐнной в траурный шѐлк, страстной и нетерпеливой, увлекает его за собой. И сон, сразивший любовников после объятий, нашѐптывает автору сюжет этой короткой повести.

ШАГИ СЛЕПОГО В ТЕМНОТЕ

...Я уже назвал себя: меня именуют Борис Хазанов. Псевдоним этот подарил мне редактор подпольного машинописного журнала «Евреи в СССР», предполагалось, что тайная полиция не станет разыскивать неизвестного мне инженера Б. Хазанова, который эмигрировал в Соединѐнные Штаты и к диссидентскому движению никакого отношения не имел. Конспирация не помогла, псевдоним был довольно скоро разоблачѐн. С тех пор он украшает все мои произведения.

*

Читая очерк Марка Харитоновича о замечательном, долгое время остававшемся незамеченным скульпторе, художнике и поэте Вадиме Сидуре (1924–1986), я остановился на высказывании покойного мастера, питавшего отвращение ко всякой публичности:

«Для меня творчество — акт сугубо индивидуальный. Художник должен быть одинок...»

Мысль эта мне близка. Таково и моѐ самочувствие. Приведу запись в моих давних заметках «Литературный музей»:

«Чувствуешь себя вроде барышни, которая долго готовилась к танцевальному вечеру, раздумывала над каждой подробностью своего наряда, и вот она стоит у стены среди музыки и света, и никто к ней не подходит. Моя проза — это *poste restante*, письма до востребования, за которыми никто не пришѐл».

*

Шесть лет, с 55-го по 61-й, прошли после освобождения из лагеря, я успел окончить медицинский институт, заведовал сельской участковой больницей чеховских времѐн, в Калининской, ныне Тверской области. Как-то раз мне попала на глаза «Литературная Газета», корреспондент беседовал с одним из входивших тогда в моду земляных писателей. Известный прозаик, ценивший своѐ исконно-народное происхождение, рассказывал: «Этим летом я побывал на моей родной Вологодчине, где мне всегда хорошо работается».

Хорошо работается... Человек с психологией бывшего заключённого, читая это, мог только рассмеяться. Ничего себе работка, небось не мешки таскать. А между тем я сам приохотился к подобному времяпровождению, вечерами втихомолку что-то пописывал. Мне было стыдно признаться, что я занимаюсь таким немужским делом, как сочинительство. Свои опыты я никому не показывал. Не говоря уже о том, чтобы пытаться что-нибудь опубликовать. Невозможно было вообразить себя в сонме настоящих писателей. Кем они, собственно, были? Не имея представления о процессе продвижения и перемальвания авторских текстов в машине советской художественной словесности, я всё же понимал, что представляет собой эта литература. Соваться туда со своими изделиями было не только бесполезно, но и небезопасно. Печальная участь Василия Гроссмана с его романом уже не была тайной. Стало известно, что роман арестован и бесследно исчез.

Тут, возможно, стоило бы упомянуть о забавном совпадении. В 1981 году, когда протекло уже немало воды с тех пор как я пробовал свои силы в благословенной деревенской глуши, в Москве при обыске у меня отняли мой первый роман, после чего я получил из прокуратуры — филиала КГБ — уведомление о том, что роман признан антисоветским и арестован. Двойная ирония судьбы: в юности я и сам был арестован. Но времена изменились, гадука успела потерять зубы. Скоро, впрочем, вставила.

Впоследствии я восстановил по памяти своё погибшее детище. В эмиграции, в начале 80-х, я опубликовал этот роман под названием «Антивремя» (нем. «Gegenzeit») и послал экземпляр с дарственной надписью начальнику отдела Московской прокуратуры некоему Ю. Смирнову, руководившему операцией по изъятию рукописи. Надеюсь, он был тронут.

*

Заразившись в ранней юности литературной болезнью, я не мог от неё исцелиться и в «старости». Я писал в глухой изоляции, полагая безвестность и одиночество своим естественным состоянием. Так я стал подпольным писателем.

Иначе и быть не могло. Мы все были гражданами засекреченного государства. На эту секретность можно было ответить только анонимностью. Среди первых моих сочинений,

написанных в Москве, позднее циркулировавших в Самиздате (о коем речь ниже) и в конце концов всё-таки опубликованных в Израиле, находилась повесть или маленький роман «Час короля». Не назвавший себя «сотрудник» в штатском, без погон, допрашивал автора в доме на Кузнецком мосту, 19, в комнатке с зарешечённым окном, добиваясь признания, что я — автор этого антисоветского сочинения. Почему антисоветского? Мы понимаем, возразил он, о какой стране здесь идёт речь. Справедливое суждение. Повесть описывала тоталитарное государство с его всеобъемлющей маниакальной засекреченностью, весьма похожее на наше отечество. Предметом дознания была ещё одна улика — найденная у меня книжка небольшого формата, под титлом «Запах звёзд», изданная без моего ведома в Тель-Авиве на средства какого-то мецената, — сборник прозы, куда вошёл, вместе с одноимённой повестью, и упомянутый «Час». Таким образом, я обрёл, в лице воинов славного ведомства, первых читателей. Мне не приходило в голову, что я вступаю на путь, который приведёт меня к изгнанию.

*

Публичность, пусть весьма относительная, развратила меня; писательская девственность была утрачена. Недавно в одну из ночей я увидел умершую Лору. Показываю ей свою книгу, только что вышедшее собрание сочинений. Она спросила меня: «Зачем это?» Отвечаю: «Чтобы они знали, что я жив».

Моя жена не поинтересовалась, кто эти *они*. В сущности, это был вечный вопрос о читателях. Кому нужны твои произведения? Кто их станет читать? Я и теперь не в состоянии ответить на эти вопросы.

Кто из пишущих не жаждет увидеть себя напечатанным... При том, что «напечатанное» отнюдь не значит «прочитанное». И, однако, желание публиковаться может быть столь же велико, как и *нежелание* публиковаться. Быть может, время первых шагов, неуклюжих проб было счастливой порой моей литературной биографии. Ей-богу, я не был тщеславен и не искал аплодисментов. Писал то, что хотел написать, надеялся выполнить задачу, которую ставил перед собой, только и всего. Я был свободен. Для меня не существовало официальной литературы с её Союзом писателей, издателями, редакторами и недреманным оком цензуры, за которым в свою очередь

следило другое, ещё более зоркое Око. Моим писаниям, независимо от их качества, был а priori закрыт доступ в эту литературу. Это было predetermined и тематикой, и стилем, и общим духом моей прозы

Но явилось нечто неслыханное. На глазах целого поколения возродился Феникс независимой словесности.

Самиздат был альтернативой реакционной, эстетически убогой, скованной по рукам и ногам советской литературе; можно сказать, что он стал её гробокопателем. Сколько благополучных писателей спрашивали себя: не плюнуть ли на всё и выпустить мой невозможный, непроходной роман на волю? Самиздат был великим соблазном, он был опасной игрой, и те, кто уступил этому искушению, рисковали многим. Взамен он обещал новое вдохновение. Самиздат был жестом отчаяния и протеста, праздником свободомыслия и веселья. С высоты лет хорошо видны его слабости и неудачи. Но тот, кто его пережил, кто присоединился к его зачинателям и участникам, его не забудет, как не забывается литературная молодость.

КУХНЯ ЧАРОДЕЯ

Ответ на запрос Майнцского университета

Вы разрешили мне писать по-русски. Как я работаю?

Прежде я писал пером, сперва без всякого плана, затем перепечатывал на машинке. Мне казалось, что таким способом я отстраняюсь от рукописного, слишком связанного с личностью автора текста и даже с его телесностью: машинопись нейтрализовала написанное, давала возможность увидеть текст со стороны как бы чужими глазами. С появлением компьютера технология изменилась, я стал сразу делать наброски на компьютере. Но и теперь, принимаясь за что-либо новое, иногда пишу пером. Писание от руки расковывает. В любом случае, однако, я не сторонник спонтанного сочинительства, писания наугад, хоть и пытался когда-то в юности использовать этот метод, считал его своим открытием, не зная о том, что автоматическое письмо давно изобретено сюрреалистами.

Произведение может зародиться внезапно, без всякого повода, при слушании музыки (которая вообще мне очень помогает в моей работе), при чтении чего-нибудь посторон-

него. О некоторых своих романах и рассказах я могу точно сказать, что было первой искрой. Замысел начинает клубиться в мозгу и подчас выглядит куда увлекательней, заманчивей, чем когда принимаешься, наконец, за дело. Всё что при этом получается, оборачивается тяжёлой неудачей и скукой. Прекрасно сказано Вальтером Бенямином: *Das Werk ist die Totenmaske der Konzeption* (Произведение — это посмертная маска замысла).

Скуку нужно развеять. Как уже говорилось, я пользуюсь преимущественно компьютером. Печатаю написанные страницы, чтобы потом к ним вернуться. В былые времена я мог заниматься сочинительством в любой обстановке. Теперь не то. У меня нет своего кабинета, но мне нужна тишина. Больше всего меня раздражает пошлая музыка. Я пишу утром — чем раньше начнёшь, тем вернее — и до обеда, лучше всего в дождливую погоду, в снегопад. Во второй половине дня пишу письма, статьи, что-нибудь более лёгкое. Вечером настроение портится, всё, чем я занимался, выглядит ненужным, неудачным, бездарным; единственная надежда — утром, может быть, удастся обрести бодрость.

Я не составляю планов, набрасываю лишь, чтобы не забыть, отдельные мысли или сюжетные направления. Я замечал, что легче начинать и продолжать, когда видишь конечный пункт пути, то есть приблизительно знаешь, чем всё кончится. С годами я стал уделять больше внимания сюжету, «истории» в собственном смысле. Проза — это рассказывание историй. Но теперь мне всё чаще приходится начинать что-нибудь, не имея абсолютно никакого представления, куда всё приведёт и чем кончится.

Я придаю очень большое значение языку, ритму и звучанию фразы, помногу раз переделываю свои пассажи и особенно зачины, — и никогда не забываю совет Флобера читать свою прозу вслух (я читаю её шепотом). Я стараюсь находить не только слова с абсолютно точным, нужным мне значением, но и с необходимым числом слогов, с нужным ударением. Больше всего в произведениях современных писателей угнетает меня болтливость, многословие, наследственный недуг русской литературы. Но писать лаконично, как написаны «Повести Белкина», так же трудно, как вести добродетельную жизнь.

В моём писательстве очень большую роль играет музыка. Музыка гармонического трезвучия присутствует в литературе,

следит за ней, как дуэнья за своевольной сеньоритой. Вечным образцом для меня, думаю, останутся первые периоды «Истории» Тацита.

Любое сочинение, самое безумное, должно быть оснащено убедительными реалиями. Нужно уметь пускать пыль в глаза. У читателя не должно быть никаких сомнений относительно компетентности автора в той области жизни, культуры, профессиональных занятий и т.п., с которой имеют дело его герои. Это тоже один из уроков, преподанных классиками. Один старый бильярдист говорил мне: когда читаешь «Записки маркёра», то кажется, что Толстой всю свою жизнь только и делал, что играл на бильярде

Я постоянно пользуюсь справочной литературой, выискиваю нужную терминологию, разглядываю географические карты и планы городов. Для романа «Антивремя» я изучал астрологию, для «Нагльфара» — каббалу. И, конечно, приходится то и дело заглядывать в толковый словарь русского языка, словарь синонимов и проч. Художественные (или претендующие на художественность) произведения я пишу только по-русски.

Самое тяжкое и неприятное — написать «рыбу», то есть набросать первоначальный, сколько-нибудь связный текст. Всё равно, что прокладывать лыжню по глубокому снегу. Этот пробный текст ужасен, неопрятен, нелеп. Но над ним можно работать, от него можно отталкиваться, след проложен — это уже легче. Я сочиняю такие наброски на отдельных листках до тех пор, пока не накопится сколько-то страниц и почувствуешь, что выдохся — дальше двигаться нет сил. Тогда я возвращаюсь к началу, чтобы взять разбег.

Трудно сдвинуться с места, столкнуть воз. Хемингуэй дал хороший совет: не вычерпывать воду из колодца до дна, заканчивать работу сегодня на том месте, где нетрудно будет продолжать завтра. Съезжать с горки, а не брать подъём. И так продолжается до тех пор, пока не наступит желанный перелом — пока в воображении не возникнет некое целостное представление о времени и месте действия — мир романа.

Жан-Луи Барро писал о том, как рождается спектакль. Слово готовят майонез, — взбивают, взбивают, ничего не получается — и вдруг наступает момент, когда составные части больше не расслаиваются. Майонез готов.

Нечего и говорить о том, что мир романа отнюдь не копирует действительность. Но никто нам не запрещает совершать плагиат у действительности. Пишешь или, по крайней мере, начинаешь писать о чём-то тебе знакомом — хорошо знакомом. (Позже, почувствовав себя уверенней, можно будет с помощью фантазии, а также минимума эрудиции, разрешить себе вторгнуться в незнакомые области.) Опираешься на жизненный опыт, вспоминаешь живых людей, видишь обстановку, чувствуешь запахи. Короче говоря, помнишь прошлое до мельчайших подробностей. Так помню я своё детство. Но восстановление неотделимо от химического процесса, пышно именуемого творчеством, и этот процесс денатурирует былую действительность, как кислота денатурирует белок. И вот, по мере продвижения вперёд, возникает удивительное чувство, что действительность — это фантом. Начинаешь поддаваться чему-то вроде самогипноза. Подлинной реальностью становится мир романа. Теперь ты можешь его обживать. Необязательно всё описывать, важно всё хорошо себе представлять. Вовсе не надо всё объяснять. Обойтись минимумом самых необходимых и ненавязчивых пояснений. (Для этого можно, например, как в пьесах, использовать диалог.) Нужно пропускать промежуточные звенья. У читателя должно возникнуть ощущение, что ты гораздо больше знаешь о людях и эпохе, чем сообщаем. Читатель должен сам о многом догадываться. Нужно оставить ему простор для собственного домысливания, для фантазии.

Мало-помалу действующие лица приобретают известную автономность, если не просто свободу действий. Во всяком случае, приходится считаться с их манерой вести себя, с их повадками и капризами. Шахматист ведёт игру, переставляет фигуры, но фигуры на доске ведут себя по собственным правилам. Писатель распоряжается своей прозой, а проза распоряжается писателем.

С лучшими пожеланиями,

Ваш Борис Хазанов

ЧАСТЬ II
ГРЁЗЫ РОМАНИСТА

ПАНСОФИЯ ИЛИ ГАРМОНИЯ МИРА

В 1831 году, в первых числах января в Веймаре восьмидесятилетний Гёте завершает последний акт 2-й части «Фауста». Горная и лесистая местность. В ущельях, на уступах скал прячутся кельи святых отшельников. Chorus mysticus, мистический хор, поёт:

Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis;
Das Unzulängliche,
Hier wird's Ereignis;
Das Unbeschreibliche,
Hier ist's getan;
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan¹.

Пастернак переводит:

Все быстротечное —
Символ, сравненье.
Цель бесконечная
Здесь — в достиженье.
Здесь — заповеданность
Истины всей.
Вечная женственность
Тянет нас к ней.

¹ «Всё проходящее есть лишь подобие. Всё недостижимое здесь становится событием. Всё неопишное содеяно здесь. Вечно-женственное влечёт нас туда, ввысь».

Замечательное переложение. Но, конечно, не передающее глубину и таинственность, и волшебную музыку оригинала.

Всё проходящее есть лишь подобие. В одном из фрагментов Новалиса черты лица сравниваются со строением тела. Адам Кадмон, первочеловек в учении еврейской Каббалы, есть как бы некая партитура или предварение Вселенной. Уподобление человека миру, микрокосма макрокосму, — фундаментальная идея пансофии, или всеобъемлющего знания, о котором грезило позднее Средневековье. Завладеть этим знанием жаждет доктор Фауст.

Я подумал о том, что залогом или общим знаменателем этих сближений является красота. Изумление перед зрелищем совершенства и красоты мироздания, Гармония Мира, как озаглавил свой главный труд Кеплер, — вот что их породило. Однажды мне пришлось в голову написать о красоте художественной прозы. С чем её можно сравнить? Будет непростительным упущением — коль скоро мы вторглись в область полуфилософских, полумифологических материй — не упомянуть красоту женщины.

Совершенная проза, идёт ли речь о платоновой, написанной на исходе IV века «Апологии Сократа», о латинской прозе Золотого века и её учениках, французах века Светочей, о «Герое нашего времени», «Пиковой Даме» или «Египетских ночах», о повестях и рассказах Чехова, о Флобере и Борхесе, — не довольно ли этих примеров? — совершенная проза по праву может быть уподоблена женщине, гармонической завершённости её форм и линий — красоте, которая выдаёт безупречный художественный вкус Творца. Музыка совершенной прозы утоляет горечь жизни, скрашивает одиночество и опровергает роковую безысходность хайдеггеровского бытия-к-смерти.

ГРЁЗЫ РОМАНИСТА

Величие подлинного искусства... состоит в том, чтобы вновь обрести, схватить и донести до нас ту реальность, от которой, хотя мы и живём в ней, мы полностью отторгнуты, реальность, которая ускользает от нас тем неуловимей, чем гуще и непроницаемей её отгораживает усвоенное нами условное знание, подменяющее реальность, так что в конце концов мы умираем, так и не познав правду. А ведь правда эта была не чем иным, как подлинной нашей жизнью. Настоящая жизнь, которую в определённом смысле переживают в любое мгновение все люди, в том числе и художник, жизнь, наконец-то открывшаяся и высветленная, — это литература. Люди её не видят, так как не пытаются направить на неё луч света. В результате вся их прошедшая жизнь остаётся нагромождением бесчисленных негативов, которые пропадают без пользы оттого, что разум людей их не проявил.

Пруст — графу Ж. де Лори

Ты царь, живи один.

Пушкин

1

Романист — не тот, кто пишет романы. Романист — это тот, кто мечтает написать роман.

Мысль о романе настаивает как озарение, — соблазн воплотить в слове и заново пережить свою жизнь. Тотчас пробуждается к услугам сочинителя память. Память готова поставить необходимый материал. Подозрительная услужливость: товар как будто под рукой. В действительности материал прожитого и пережитого отнюдь не легко доступен. Залежи прошлого, заброшенные, погребены под спудом. Их надо откапывать. Археологические раскопки памяти — долгий труд. Однажды он завершится открытием. Романист — в этом суть — откопал самого себя. Он открывает в себе центральную фигуру своего будущего произведения.

Археология памяти, как и разбуженная ею палеонтология прошлого, ставит писателя перед очевидным фактом: его жизнь есть не что иное, как черновик литературы.

Так литература становится для него дорогой к осуществлению дельфийского завета $\gamma\upsilon\omega\theta\iota\ \sigma\epsilon\alpha\iota\tau\acute{o}\nu$, «познай самого себя». Но условием самосознания — парадокс! — может быть только самоотчуждение. Осознав это, писатель понимает, что цель и смысл поисков — он сам как полномочный представитель человечества. Лишь в таком универсальном качестве он вправе притязать если не на внимание, то, по крайней мере, на уважение и сочувствие читателя.

2

Думает ли он о читателях? Не есть ли искусство извечное, глухое противостояние самоуглублённости художника чуждому и враждебному окружению? Занятый поисками себя, романист не спрашивает, кого может заинтересовать его работа. Волей — неволей он внимает критическим голосам. Романист слышит клики о современности. Это эпоха культа Наше-го Времени. Подразумевается нечто самодовлеющее, обязывающее писателя принадлежать современному во что бы то ни стало. Пресловутое Наше Время — главное время истории. Таков комический парадокс нашей эпохи: открещиваясь от былой оптимистической веры в прогресс, она сама стоит на коленях перед прогрессом. Ни одно столетие не мчалось вперёд с такой стремительностью, никакой век не пожирал с такой ненасытностью уготованное ему, надвигающееся будущее. Слишком редко современников посещает сознание, что со всем своим великолепием Наше Время, не успеешь оглянуться, превратится в рухлядь, что (если повторить афоризм Петра Вейса) сегодняшний день завтра станет вчерашним. Думает ли романист, что наперекор себе работает, — кто знает? — для будущих поколений? С присущей ему самонадеянностью он отменяет упреки в эгоцентризме.

3

Между тем выясняется, что главное в литературе — не современность, а личность того, кто её, эту литературу, создаёт.

Он, а не подставной персонаж беллетристического маскарада, станет, по определению Ролана Барта, «тем, кто говорит: я». Не успели мы оправиться от шока недавних заявлений о смерти автора, как почивший воскрес. Оказалось, что читать и размышлять о жизни и труде писателя подчас куда увлекательней, чем зевать над сверхактуальными творениями его коллег. На сей раз парадокс состоит в том, что сосредоточенность на обстоятельствах собственной жизни, раздумье, подчас многолетнее, о себе и захваченность собой как предметом литературной работы — всё это как раз и оказывается подлинно современным. Но тут повествовательная проза на наших глазах отступает перед новым соперником. Романист пасует перед диаристом. Таков случай дневников Франца Кафки, Андре Жида, Чезаре Павезе или Жюльена Грина. Таково новое оправдание литературной уединённости, таков чуть ли не шёпотный пафос эгоцентрического, назло всему и всем, писательства в новейшем массовом обществе с его девальвацией человеческой личности.

4

Вознамерившись (тем не менее!) написать о своей эпохе, я чувствую себя как в мышеловке. Трудность, если не заведомая невыполнимость, задачи заставляет меня заключить само это слово «эпоха» в кавычки. Что оно собственно означает? История знает времена, к которым оно неприменимо; слишком уж торжественно оно звучит, чтобы не сказать — претенциозно. Позволю себе процитировать вступление к моему роману «Антивремя» (1982). Этот пассаж показывает, по крайней мере, что отношение к современности, далёкое от восторга, — не новость для того, кто готовится подписать своим именем настоящие заметки.

Конечно, я мог бы сослаться на интерес, который публика проявляет к «той эпохе». Но мне как-то неловко. Какая эпоха? Что за слова! Мы жили в эпоху, которой не было. Мы очутились в расщелине времён. Мы все, всё наше поколение, выпали из истории. Мы были похожи на действующих лиц в фильме, где пропал звук: что-то говорили, махали руками — а никто ничего не слышал. Это первый и последний раз, когда я

говорю о поколении; я не принадлежал ни к какому поколению. Нет, лучше уж прямо сознаться, что единственный читатель, к которому я обращаюсь, это я сам.

5

Итак, чем же всё-таки была, какой стала эта эпоха... Традиция предъявляет писателю грозное требование «отразить» своё время, представить доказательство своего законного сыновства, хотя бы он и чувствовал себя его пасынком. Порой (как только что) уступаешь искушению заглянуть в святцы старых текстов. Что найдёт в них, что сможет найти интересного для себя мой дальний потомок в этих пахнущих мышами томах, испещренных вязью умершего языка?

Детство в московском дворе, в коммунальной квартире, во дворе старого московского дома: тридцатые годы, запечатлённые в исландском романе «Нагльфар», конец мёртвого десятилетия, краткосрочное затишье перед воем сирен и скреплением прожекторов в ночном небе — канун Большой войны; детство, ни о чём не подозревающее, не знающее о том, что оно пробилось, как трава, между могилами. Так началась новая полоса. Тогда-то и утвердились оба символа, опознавательные знаки страны: лагерь и парсуна усатого Упыря. Новая полоса в истории Страны, распростёртой на двух континентах, единственной возродившей в XX веке античное рабовладение и средневековое крепостное право.

6

История складчата, как скатерть. Трупы, трупы, то и дело повторяющиеся складки. Разглаживанье скатерти — невидимый, в укор всему, процесс восстановления потерь, казалось бы, невозможных: всё ещё не истощившая себя плодovitость народа, распахнутые, как врата бессмертия, бёдра деревенских баб. А затем вновь — ибо всё повторяется! — холмы и равнины кладбищ с повалившимися крестами, в сиянии новых лун — забытые вехи роковых тридцатых, сороковых, пятидесятых годов, разрушительная индустриализация, обновлённое всевластие человекоядной тайной полиции, гибель

деревни, сеть концлагерей, опутавшая страну, и новые ресурсы человеческого сырья, пополнение, нужное Упырю, чтобы швырнуть очередное поколение в огненную пасть войны. Чудовищная топка, сконструированная и зажжённая ради того, чтобы окончательно добить Россию. И, как кульминация, как апофеоз эпохи — апокалиптический город развалин на западном берегу главной реки, сверху донизу забитый трупами бывших жителей и солдат обеих сражающихся сторон.

7

Хорхе Луис Борхес цитирует (в одной из бесед) фразу Оскара Уайльда: «Каждое мгновение соединяет в себе то, чем мы были, и то, чем станем; мы — это наше прошлое и будущее одновременно». Продолжая эту близкую мне мысль, я бы сказал, что в мозгу у нас вмонтирована машина времени, которая даёт нам возможность жить в разных временах, перемещаться из настоящего в прошлое и назад, в призрачную область надежд и ожиданий — наше будущее. Эта машина есть не что иное, как безостановочно и своевольно работающая память, и её назначение перенимает литература.

Задаёшь себе вопрос: не такова ли участь персонажей романиста, обречённых, как все мы, жить и умереть, заброшенных в пучину воспоминаний и обманутых мороком несбывшегося будущего. Пытаясь подвести итог долгой жизни — другими словами, обзревая свою литературную работу и в свою очередь погружаясь в прошлое, — я как будто разгуливаю по некрополю моей прозы, между надгробьями действующих лиц.

8

Азбучная истина: главный ресурс писательства — память. Но память — не то же самое, что воспоминание; роман демонстрирует эту разницу, если не противоположность. Вспоминая какой-нибудь эпизод, мы его беллетризуем. Почти невольно мы упорядочиваем прошлое, мы хотим рассказать (другим или самим себе) «всё по порядку». Эта насильственная процедура, собственно, и превращает память в воспоминание. Меж-

ду тем изначально память не признаёт никакой последовательности, противостоит математическому времени, игнорирует хронологию, а вместе с ней и логическую последовательность. Не останавливает часы, а разбивает их.

Освобождение от вериг времени происходит перед отходом ко сну, когда в вечерней тиши, в зеленоватом свете ночника, угревшись в постели, мы остаёмся один на один со своим внутренним миром: хотим подумать о жизни, о делах и заботах только что прожитого дня, но тотчас память, выпущенная на свободу, затевает свою игру: цепляется за что попало, за случайные эпизоды близкого и далёкого прошлого. Всплывают полузабытые лица, юность, детство — всё сразу. Словесные или образные ассоциации — единственное, что правит хаосом памяти, поддерживает кое-как её цельность.

Ты думаешь о яблоках, которые забыл купить, к этой мысли прицепляется образ коня в яблоках, конь тащит за собой легендарного героя Чапаева с саблей, на картине в школьном коридоре, слышен шум, ребята вываливаются из класса, что-то глядит на тебя из окон, являются странные привязки, необъяснимые сближения — спохватываешься: о чем же я думал? — мысли приняли неуправляемый, абсурдный оборот — по-видимому, я на грани засыпания — пробую прокрутить плёнку назад, разматываю клубок. Оказывается, это цепь прихотливых сближений, исчез тот самый порядок, подобный порядку романного повествования, где одно вытекает из другого. Способна ли проза передать этот хаос, не беллетризуя изначально стихийность памяти?

Для литературы воспоминание — одновременно инструмент и материал. Вспоминая, литература денатурирует память, как кислота — белок: из аморфной, колышущейся, ускользящей массы получается твёрдое тело. Нечто непередаваемое преобразовано в текст, изделие языка. Не будь этой химии, мы получили бы словесный детрит, нечто такое, что происходит у больных с распавшейся психикой. Но, быть может, здесь скрывается обещание приблизиться к последней реальности души; соблазн изначально, подлинного манит писателя.

Приблизиться к краю бездны. Так в детстве, лазая по крыше московского дома у Красных Ворот, мы подходили к кромке брандмауэра и с замиранием сердца заглядывали вниз.

Великое слово «спонтанность» грозит опрокинуть всё здание мира. Или, что то же, храмину литературы. Революционная проза XX века не случайно стала ровесницей квантовой механики, радикально меняющей, отменяющей привычные представления об однонаправленном линейном времени, о причинно-следственном детерминизме. Как физическая теория, чтобы стать верной, должна быть безумной, литература должна быть безумной, чтобы стать правдивой.

Память возвращает нас в мир, где ещё не побывал Кант. Память игнорирует ту упорядоченность, которую интеллект привносит в окружающий мир непроницаемых вещей в себе. А ты, писатель, намерен реконструировать именно то состояние, когда хомут ещё не успели напялить на кобылу. Конечно, это утопия: такая проза невозможна, чему свидетельство — тупик, в который упёрся Джойс со своей разбитной бабёнкой Мэрион Блум, с её великолепным «потокосознанием». Но попробовать надо — приходится пробовать. Не подражая кому бы то ни было, но пользуясь только собственным, неповторимым опытом. Познай самого себя!

Память, шаровая молния, влетевшая в ночное окно. Память, которая прихотливо носится от прошлого к настоящему, и снова назад, цепляется, как репей, за что попало, меняет места и времена — у неё нет времени задерживаться на чём-нибудь одном, для неё нет важного и неважного; споткнувшись о случайное словцо, уловив мелодию, цвет, учуяв запах, она перескакивает, как летучий огонь, от одного к другому, порхает туда и сюда, обнюхивает, как собака, давно не существующих людей, предметы, закоулки.

И, как многие до меня, я мечтаю о раскрепощённой прозе. Мне грезится повесть, в которой отменены все правила повествования; вместо этого — каприз случайных сцеплений, встречаемых образов, непредсказуемых поворотов. Так гребец оставляет вёсла, ложится на дно лодки и чувствует, как течение вращает и уносит его на своей спине.

Довольно притворяться. Порой испытываешь чувство усталости от прозы в корсете с перетянутой талией, с претензией навязать действительности некую онтологическую благопристойность. Увы, своеволие заряжено анархией, уж мы-то это знаем. Не ты ли, художник, твердил, что достоинство ли-

тературы — в сопротивлении хаосу? Вернуться к истоку — не значит ли убить литературу? А между тем какой соблазн бросить вёсла. Как тянет испытать сладкое головокружение, заглянув в пропасть. Накалённые солнцем крыши нашего детства: карабкаешься наверх по железной лестнице, бежишь по громыхающей кровле, добираешься до брандмауэра и, подойдя к самому краю, боком, искоса заглядываешь вниз. И, как во сне, видишь себя самого, распластанного на асфальте, там, на дне двора.

КАТАСТРОФА

Было тихо. Я лежал под одеялом и грезил. Обычно сны происходят в безмолвии, подобно немому кинематографу. Донёсся слабый гул. Гул перешёл в треск, я выбежал, больная машина сотрясалась как в лихорадке. Надо было не мешкая выключить ток, я этого не сделал. Наконец, раздался взрыв. Глазам предстало страшное зрелище: на столе валялись обломки компьютера. Буквы и отдельные фразы плавали в воздухе, целые абзацы шлёпались на пол. Труды многих лет пошли прахом. Так завершилось позорным крушением моё писательство.

ЧАСТЬ III. КАТЕХИЗИС РАБОВЛАДЕНИЯ

Лагерные истории

ГЛУХОЙ НЕВЕДОМОЙ ТАЙГОЮ

(Мф. 12:43–45)

1

В первые дни ноября, когда праздник с размаху, как грузовик в толпу, врзался в скучные будни, когда угрюмая толпа осаждала магазин для вольнонаёмных, когда досужие зрители, задрав головы, следили, как под крики рабочих вверх по фасаду клуба, раскачиваясь и задевая за карнизы, поднималось на канате огромное усатое лицо, когда повсюду, в столице и на дальних окраинах тайного княжества, как никогда, чувствовалось единое биение обнимавшей всех, высшей и согласной жизни, — в один из этих дней бухгалтерша Анна Никодимова принимала из Управления предпраздничные телефонограммы. Она сидела одна в кабинете начальника, выложив на стол полные груди, прижимала к уху трубку, другой рукой торопливо записывала.

Было одиннадцать часов утра; она вышла с книгой телефонограмм в коридор. Рабочий день был в разгаре, в бухгалтерии безостановочно щёлкали счёты, из комнаты плановиков короткими очередями вёл стрельбу арифмометр, сизый дым тянулся полосами из приоткрытых дверей. Она прошла до конца коридора, где находилась особая, дверь. За дверью была ещё одна, обитая дерматином. Анна Никодимова надавила на ручку.

Без страха вошла она в эту келью, окружённую мрачной и загадочной славой. Хозяин сидел за столом, у него было худое лицо подростка, острые, как у крысы, глаза; подняв голову от бумаг, он улыбнулся бухгалтерше железной улыбкой, скользнул взглядом сверху вниз от пухлой шеи к коротким ногам.

Анька приосанилась. Оперуполномоченный принял книгу телефонограмм, Анька облокотилась рядом — читать вместе, её грудь выдавилась в вырез платья, и стала видна ложбина. Сама собой рука уполномоченного потянулась к бухгалтерше и пошлёпала по заду. Анька хлопнула ладошкой по его руке. В течение этой немой сцены блестящие, как серебро, сапоги уполномоченного, ни на минуту не останавливаясь, играли под столом.

Чтение было окончено. Она вышла из кабинета и горделиво понесла по коридору своё маленькое пышное тело.

Из Управления был спущен план мероприятий и особо, под грифом «Секретно», инструкция по усилению режима в праздничные дни. Всё это было известно заранее, повторяясь из года в год. Всё шло само собой. Посёлок украсился флагами. Портрет в еловом обрамлении, написанный местным живописцем много лет назад, лишь подновлялся от случая к случаю, как будто тот, кого он изображал, был неподвластен бегу времени. В магазин привезли бочку пива. В клубе, в махорочных облаках, всем скопом была отсижена торжественная часть.

Тут прослушали в обалделом молчании доклад великого князя. Дружно грохнули аплодисменты, после чего порядок расстроился. Все зевали и блаженно потягивались, солдаты цыкали слюной, перешагивали через скамейки, слышался хохот играющих в тычки и в микитку. С трибуны махал руками начальник культурно-воспитательной части. Скоро все скамьи и табуретки были сдвинуты в сторону, и там, где гремел проспиртованный бас капитана, зашипели и разлились на весь клуб родные и довоенные «Брызги шампанского». С улицы вошли тётки из ближней деревни — они давно уже дожидались на крыльце, — мягколицые, большеглазые, в белых платочках, не девки, но и не старухи; переговаривались певучими голосами, робко выстроились у дверей. Парни в зелёных бушлатах с тряпичными погонами — от иных уже веяло выпитым одеколоном — неловко, как по нужде, приблизились к тёткам. Начались танцы.

Офицеры кисло подмигивали друг другу. Пальцем — по кадыку: не пора ли? Время было покидать подопечный личный состав.

Вечер наступил, и в пустом небе над посёлком взошла луна. Ни звука не раздавалось из-за высокого частокола, обвешанного лампочками. Над ярко освещёнными глухими воротами на вышке, венчающей домик вахты, стоял часовой. Дверь внизу отворилась, вышел дежурный надзиратель и не спеша спустился с крыльца. Издалека, из клуба, доносились слабые звуки патефона, где-то близко повизгивали и ворчали собаки. Дежурный растопырил полы кургузого бушлата, расставил ноги и, брызгая сверкающей струёй, совершил малое дело.

Начальники с разных сторон, с жёнами и по одному, сходились к терему князя. Рысцой бежал начальник культурно-воспитательной части. Степенно шагал командир взвода. Тащился в спецчасть. Загремел внешний засов вахты, спохватившись, дежурный подтянул штаны. С крыльца сходил оперативный уполномоченный, и дежурный поспешно отдал ему честь. Теперь со стороны клуба было слышно залиvistое и отчаянное пение, донёсся скрежет аккордеона. Праздник был в разгаре. А здесь, у ворот, всё было мертво и спокойно. Уполномоченный только что закончил работу. Хрустя серебряными сапогами, прямой и серый в длинной шинели как бы из обветренного металла, он твёрдо промаршировал по дороге, и короткая его тень, пошатываясь, бежала за ним.

2

Шесть пар — капитан Сивый с женой, спецчасть с Анной Никодимовой, начальник КВЧ с толстой и чернявой, нерусского вида супругой, ещё несколько начальников с жёнами, а также единственный считавшийся холостым оперуполномоченный — расселись вокруг стола, испытывая обычное в таких случаях сложное чувство неловкости и возбуждения. Командовала Анька. Налево от себя она поместила мужа, справа водрузился хозяин, великий князь, устроимо взиравший на гостей из-под косматых навесов. Напротив, глаза в глаза, — опер.

На столе стоял взвод бутылок, чудо этих мест, где сухой закон, декретированный указом из Управления, обрёл на одеколон всю потребляющую дружину.

Устраивались долго, кого-то ждали, чего-то не доставало; то и дело женщины, взмахивая цветастыми платьями, выскакивали из-за стола. Возвращались озабоченные, с блестящими глазами, записывая платочек под мышку, под тугие резинки коротких рукавов.

Стали наливать.

«Лукерья! — сказал капитан. — Ты что это?»

Она съёжилась под его взглядом. Все смотрели на княжескую чету.

«Всякое даяние есть благо!» — сказал весёлый начальник культурно-воспитательной части.

«Да не стесняйтесь вы, барышня, — Анька вмешалась. — Мы тут все свои... Небось в деревне-то от самогонки не отказывались!»

«Какой самогон — они там московскую глушат», — съязвил кто-то на другом конце стола.

«Ладно!» — отрезал капитан.

И к КВЧ:

«Налей ей наливки».

«Ну-с, хе-хе... с праздничком...» Все потянулись друг к другу с рюмками, забрякали вилками, задвигались челюсти. Стальные зубы капитана врезались в ветчину. Рядом равномерно, неумоимо блестящие ровные зубки Аньки Никодимовой перемалывали краковскую колбасу, кислую капусту, селедку. Муж, начальник спецчасти, нетрезвый с утра, печально ковырял вилкой в тарелке. Так, в неопределённом полумолчании прошло минут десять, в течение которых успели чокнуться ещё раз. Понемногу обрывки фраз перешли в слитный шум. В светёлке великого князя как будто включили яркий свет. Голоса поднялись на октаву выше. Стало жарко. Офицеры, один за другим, расстёгивали кители. Круглая, обтянутая шёлком нога Аньки Никодимовой — туфля-лодочка свалилась на пол — заклинилась между сапогами уполномоченного.

«Андрей Леонтьич! — Начальник КВЧ, улыбаясь, стоял над ним с бутылкой. — Поскольку вы у нас человек новый, разрешите ваш бокальчик! У нас по-простому, все мы одна семья. Вот и таищ капитан тоже...»

Чей-то голос пояснил:

«Своя кобыла, хошь мила, хошь немила».

«Эн, как вы меня расписали, лейтенант дорогой, — лениво-небрежно говорил оперативный уполномоченный, развалясь на стуле; в это время рука его под столом искала дотянуться до Анькиной ноги. — Вас послушаешь, я не человек, а ворон хищный. Падалью питаюсь... Согласитесь, другой на моём месте был бы куда хуже... Наша работа знаете, какая? Да я, если на то пошло... я на любого из присутствующих дело могу оформить... Хоть завтра!»

Нога увернулась и шарила туфлю под столом. Опер презрительно цыкнул в сторону.

«Небось у каждого рыльце в пушку!»

«Вы это, простите, кого имеете в виду?» — спросил осторожно КВЧ.

«Да хоть тебя!»

«Ну, это, знаете, — проговорил КВЧ, улыбаясь вымученной улыбкой, — это... знаете...»

«Мальчики, ну что это! — капризно сказала бухгалтерша. — Занялись там своими разговорами, а девушки скучают!»

«Девушки плачут, девушкам сегодня грустно. Ми-иный на́долго уехал. Эх да, милый в армию уехал! — запел, оправившись, начальник КВЧ, балетным шагом обогнул стол и приблизился к Аньке. — Позвольте вас на тур вальса!» Она поспешно всовывала ногу в туфлю.

Кто-то уже крутил ручку патефона, точно заводил грузовик. Лейтенант КВЧ победоносно обхватил свою даму. Уполномоченный равнодушно закурил.. Трра, та-та! — заиграла музыка, оркестр исполнял «Брызги шампанского», и первая пара, качая, как коромыслом, сцеплёнными руками, побежала в угол. Там остановились, лейтенант вильнул бёдрами, ловко развернул Аньку и бегом назад.

«Новый год, порядки новые. Колючей проволокой лагерь обнесён. Кругом глядят на нас глаза суровые!» — пел КВЧ. Из угла краснолицая супруга сурово поглядывала на него.

Составились новые пары. На столе среди грязных тарелок спал начальник спецчасти.

Чей-то голос послышался: «Нет уж!»

С танго перешли на фокстрот.

«Нет уж, извини-подвинься! А раз виноват, так и отвечай за это. Так тебе и надо, едрить твою мать!»

«Виноваты, — сказал начальник лагпункта, и крепкий, проспиртованный бас его перекрыл все звуки. Капитан Сивый сидел за столом, лицо и шея его были красны. Под густыми бровями не видно было глаз. — ...говоришь, виноваты? Вон сейчас, — он повёл бровями в сторону окна, — выпусти всех, а вместо них сам садись со своей шоблой. Думаешь, разница будет? Виноваты, — повторил он. — Работать надо, лес пилить — вот и виноваты».

Капитан искал что-то глазами, не обращая внимания на сидевшего напротив уполномоченного, который спокойно слушал его.

«Ладно, — сказал князь. — Развели тут философию... Вон мою дуру приглашай. Луша! Ты б потанцевала, что ли».

Он нашёл пустой стакан, выплеснул остатки на дне и, налив себе три четверти, выпил. Брови полезли наверх, придав лицу капитана выражение неслыханного удивления. Из выпученных склеротических глаз выступили слёзы. Капитан набычился и грозно прочистил горло. Втянул воздух волосатыми ноздрями и запел: «Глухой, неведомой тайгой! Сибирской дальней стороной!»

Хор подхватил:

«Бежал бродяга с Сахали-и-ина!..» — так что патефон потонул в грохоте шквала. Пронзительно, как свист ветра, заголосили женщины.

Капитан встал. В упор, налитыми кровью глазами, взглянул на уполномоченного, точно впервые увидел его. Тот сидел, отодвинувшись от стола, нога за ногу, поигрывая носком сапога.

Хор умолк. Капитан налил полный стакан. Глядя на него, налили подчинённые.

«За здоровье... — он оглядел всех. — За здоровье таища!..» — рывкнул капитан. Он назвал имя того, за которого выпивала сегодня вся страна, и молниеносно, могучим жестом опрокинул всё в рот. Стаканом — крепко об стол. Озабоченно, нюхая волосатый кулак, обежал глазами стол, нашёл селедку. Вилкой — тык! Сел, жуя.

Напряжение спало. Кто-то добродушно корил соседа: «Э, нет, Васильич, давай до дна. Такой тост!»

«Вась, а Вась, — сказал КВЧ. — Васюня... Выдай-ка для души».

Патефону отвернули шею, и командир взвода, тот, который командовал шоблой, с задумчивым видом уселся с гармонью у стены. Он склонил голову набок, инструмент издал жалобный жестяной звук, пискнули верхние регистры. Командир взвода, согнутый над мехами, тряс вихром и топотал сапогами.

«Едрить твою!»

Анька Никодимова, бухгалтерша, с места рванула чечётку. Цыганочка чёрная, цыганочка чёрная, эх, эх, погадай! Едва дыша, она встряхнула короткими волосами, обожгла мужиков всплеском полных грудей, мелко, дробно застучала литыми ножками. Под платьем мелькала её комбинация. Так, мелко перебирая ногами, Анька подъехала к уполномоченному, развела руками и, плеснув в ладоши, грохнула каблучную дробь. Опер встал, тоже развёл руками, выпятил грудь и пошёл на Аньку.

«Лушка!» — прохрипел капитан, не спуская с бухгалтерши выпученных глаз, и притянул к себе щупленькую жену. Гармонь заливалась, как сумасшедшая. Начальник культвоспитательной части, в расстёгнутом кителе, пошёл вприсядку. Подле него, загнув кренделем руку, тряслась чернобровая супруга.

3

Осенью 1951 года рабочее время уже было ограничено законным пределом, и конец работы — съём — был такой же священной минутой, таким же долгожданным событием каждодневной жизни, каким он всегда был и останется для большинства людей на свете.

Рабочий день кончился. Теперь все спешили. Мешок времени, который они тащили на плечах весь бесконечно тянувшийся день, прорвался, посыпались минуты, только теперь это было не казённое, тягостное, никому не нужное, но своё кровное время, и каждая минута была необыкновенно дорога. Все торопились: и рабочие, и те, кто их сопровождал, и незачем было кричать им: «Шире шаг!» и «Не растя-

гивайся», — они, эти работяги, сами гнали перед собой тех, кто их вёл. Положенное предупреждение было пролаяно наспех, до задних рядов донеслись обрывки тарабарщины: пытку к обеду, вой меняет уши... — на самом деле говорилось, что при попытке к побегу конвой применяет оружие. Никто и не собирался бежать. Никто не слушал, торжественность этой формулы выдохлась от ежедневного повторения; головы людей были низко опущены не оттого, что всех удручало зловещее напутствие, а потому, что надо было смотреть под ноги, чтобы не споткнуться на шпалах, не отстать от соседа и не налететь на идущего впереди. В сумерках уходящего дня колонна семенила домой из рабочего оцепления, по насыпи лагерьной узкоколейки, издали напоминая полчище крыс, спасающихся от потопа.

Рабочий день кончился, и теперь, когда они шагали, понурившись, все вместе, командиры производства и бригадная рвань, — теперь они были равны между собой, в любого из них голос с лающими интонациями мог безнаказанно швырнуть бранный мат, и команда ложиться, если бы она раздалась, и команда «Пошёл!» не сделали бы исключения для самых высокопоставленных. И хотя это редко случалось во время вечернего марша, когда и конвой дорожил каждой минутой — поскорей вернуться в казарму, — сама возможность расправы, одинаковая для всех, объединяла людей.

Единая мысль и общее желание вели вперёд колонну, и такова была сила этой толпы, что последние ряды влеклись уже как бы невольно, и замыкающая пара конвоиров, путаясь в полах шинелей и тоже глядя вниз, с повисшими книзу дулами автоматов, почти бежала следом за равномерно покачивающимся и неудержимо уходящим вперёд строем серых бушлатов.

В толпе царило усталое возбуждение — подобие радости. Позади был день, проведённый в трясине снега, воды и грязи, и тем ощутимей было блаженство вольного шлёпанья разбухшими валенками по твёрдой дороге. Короткие реплики, лапидарный мат, ухмылки, мелькавшие на кирпичных от загара лицах, выражали меру благодушия, на которую ещё были способны эти иззябшие души, выражали готовность потерпеть и прошагать сколько надо (ведь ид-

ти — не работать), пока, наконец, не покажется вдали вожделенная зона, ограждённая тыном, охраняемая рядами колючей проволоки, прожекторами и часовыми на вышках. Пока их снова не пересчитают и не впустят в ворота.

В этом предвкушении, изнеможённые, они были расположены к необычайным надеждам. Фантастические слухи волновали толпу, обрывки мифологических известий, слухи об отмене уголовного кодекса, о болезни Вождя, наплывали волнами, как запах гари; вдруг охватывало предчувствие чего-то ещё не опубликованного, но — верные люди рассказывали, и сладкая дрожь пробегала по рядам, ждали знаменья, чуда. То вдруг узнавали, что вышел приказ — не рубить больше лес. То шла молва о войне и скором приходе американцев. То об амнистии.

Но лес по-прежнему падал под пулемётное стрекотанье электропил — и завтра, и послезавтра, и всё также высились штабеля на складе, и грузились составы. Вождь был здоров и не старел, судя по портретам. Война тлела где-то далеко и не сулила избавления.

Они грезили — глухо, упорно — о возмездии. Мечтали: загремит засов, распадутся ворота, и толпа, объятая злобной радостью, выбежит из постылой зоны и забросает псарню и всё начальство сухим окаменевшим говном. Ведь должен же был кто-то ответить за «всё это».

Но кто был в этом виноват?

Однажды случилось — подломились доски в отхожем месте, и человек упал в яму. Он упал и барахтался там, покуда не собралась толпа. Задыхающегося, окоченевшего подбодривали:

«Не тушуйся, Рюха, небось не привыкать. Гребни к берегу!»

Другие были восхищены:

«Сука! И не тонет!»

Выломали длинную лежню из лежнёвки, проложенной для подъезда золотарю позади выгреба, сунули в пролом, несчастный вылез со зверскими ругательствами. Он стоял посреди образовавшейся вокруг пустоты, развесив руки, и на чём свет стоит поносил суку-помпобыта.

Но помощник по быту был не виноват, сколько раз он докладывал капитану, что помост сгнил.

А капитан? Он тоже был ни при чём: сверху спущен был приказ перебросить бригаду плотников в другое место, а кроме них никто не имел права входить в зону с гвоздями и топорами.

Высшее же руководство тем более не могло отвечать за случившееся, слишком уж было оно высоко; и было частью сложного механизма, и вращалось вместе с ним. И так, чем дальше, тем очевидней становилось, что ни один начальник, вообще никто, в отдельности не виноват. Везде и во всём зло и насилие носили характер почти сверхъестественный, анонимный и неподвластный людям, хоть и были строго организованы. Конус уходил ввысь, к облакам, на его вершине восседал Вождь. Но разве мог он отвечать за подгнившие доски?

Было уже совсем темно. В сиянии тусклых лампочек, висевших над частоколом и вахтой, ни стояли перед раскрытыми настезь воротами. Со злобой и завистью смотрели на музыкантов, исполнявших марш военно-воздушных сил: «Всё выше, и выше, и выше», с детства знакомый, жестяный мотив. Их всё ещё пересчитывали, без чего невозможно было войти в зону.

Но это были последние минуты. И когда, теснясь и толкаясь, и крича прорвавшимся вперёд, чтобы заняли местечко, люди побежали мимо спальных барачков к столовой и впихнулись в полутёмный зал, когда пролезли между скамьями и уселись за длинными, пахнущими кислой тряпкой столами, плечо в плечо, шапка между коленями, — настал конец их равноправия. В парном тумане могучие краснорожие подавальщики несли подносы с четырьмя этажами оловянных мисок с баландой в дальние углы, откуда сорок голосов орала им номер бригады. Доверенные старосты получали в окошке пайки хлеба. Тогда вступил в действие закон лагеря, по которому блага жизни отмеряют в точном соответствии с сословным положением. Кому положена была глыба, кому кирпичик.

Никто не возмущался. Никого не удивляло, что помбригадира, который весь день ходил да покрикивал, и учётик, чиркавший карандашиком, время от времени макая в рот, на торцах окорённых и распиленных брёвен, и производственный художник, малевавший лозунги, загребают полные

ложки густой жирной жижи, а тот, кто работал, упирался рогами, по местному выражению, вылавливает картошки из зелёной воды. Никто не находил странного в том, что бригадира теперь вовсе не было среди них. Бригадир сидел в тёплой кабинке с мастером леса, нарядчиком и помпобытом, и все трое ели жареное и журчащее с большой чугунной сковороды. Не то чтобы власть и авторитет давали им право есть жареное — наоборот: авторитет их был основан на том, что они сидели в тепле и ели жареное.

Зычный голос раздался из раздаточной амбразуры, староста сорвался с места и воротился с миской жёлтых и осклизлых килек. Он протискивался между рядами и клал щепотью на стол перед каждым кучки тускло-ржавых рыбок. Староста знал точно, кто из сидящих человек, а кто — букашка, кому полной горстью, а кому пальцами. Люди с наслаждением жевали и глотали кильки с головами и хвостиками. Зубами утопали, как в глине, в хлебном мякише; в хлеборезке, в укромном углу позади стола с весами и гирьками и ящичками с ножами и нарубленными палочками для насаживания довесков хлеборез поливал буханки водой, чтобы они весили тяжелей.

Доставали ложки: из-за пазухи, из валенка, из ветхих ватных штанов; у кого была алюминиевая, у кого деревянная, у кого и самодельная, — железные обломки, насаженные на деревянные ручки, диковинные орудия, не помещавшиеся во рту, или слишком маленькие, которые могли бы поместиться в ноздре. Склонившись над столами, все молча ширкали ложками — длинный ряд согбленных спин. У иных не было вовсе орудий еды — ложки крали, как и всё прочее, — и они пили, обжигаясь, через край, догребали обмылки картошки хлебной коркой. Потом поднимали почернелый оловянный сосуд и, закрыв лицо, как близорукий держит книжку, сопя и задыхаясь, страстно высасывали остатки.

И всё же они не были самыми низкими на общественной лестнице. Вдоль стен стояли мисколизы, мрачными провалившимися глазами смотревшие на едоков. Ждали, когда подадут второе блюдо. Здесь была своя конкуренция, от одного привилегированного могло остаться больше, чем от всего стола рядовых работяг; от тех-то ничего не оставалось. Миски, измазанные кашей, рвали друг у друга из рук.

Сытые и довольные, выбирались из-за столов, близились блаженные минуты — их ожидал ночлег; бригада сидела на полу, перед печкой и между нарами; кряхтя, стаскивали с ног рыжие эрзац-валенки, тесные в голенищах и растоптанные внизу, с загнутыми, как полозья, носками, размазывали сырые портянки, ковыряли завязки ватных штанов. Занималась очередь за окурком.

«Ты! Покурим».

«Покурим, морда...»

«Корзубый, покурим!»

Так дымный чинарик, кочуя из уст в уста, превращался в ничто между пальцами, в искру, угасшую на потрескавшихся и обросших шелухой губах. Покурив, выпрастывались из набухших портов, оставлявших лиловые пятна на подштанниках сзади и на коленках. Старик дневальный, нацепив груды одежды на коромысло, собрался нести их в сушилку.

В это время в репродукторе, висевшем на столбе барака, раздался звук, похожий на хруст разрываемой бумаги. Кто-то дунул в микрофон, и на всю секцию разнёсся голос начальника культурно-воспитательной части. Стараясь подражать обыкновенному радио, ежедневно гремевшему о трудовых подвигах по всей стране, КВЧ говорил так, словно обитатели бараков были обыкновенные рабочие и работали в обыкновенном лесу, и поэтому возникало подозрение, что обыкновенное радио на самом деле говорит о заключённых. Разумеется, никто не слушал. Все жались к печке, к её тёпловому брюху. Несколько человек сидели на корточках перед дверцей, протянув ладони, устремив глаза на огонь. На одну короткую минуту все почувствовали себя одной семьёй. Начальник умолк, и жестяный оркестр, сидевший там наготове, грянул «Всё выше». Внезапно, заглушая радио, в сенях загремели сапоги. Люди вскочили и выстроились на вечернюю поверку.

Поздно ночью один дневальный сидел за столом, повесив голову, под тусклой лампочкой, окружённой туманом. В углу за печкой старик Корзубый на нарах, поджав чёрные ступни, играл с кем-то в рамс самодельными картами, которые стояли две пайки хлеба. Корзубый был совсем без зубов, с седой бородой: хотя на голове иметь волосы было не поло-

жено, о бороде в лагерных инструкциях ничего не говорилось. Игроки молчали, слышалось шмыганье носом и скрип нар. Потом храп спящих, усиливаясь, как непогода, заглушил все звуки.

4

И тогда на краю болот, занесённых осенними снегами, появился Беглец.

Лагерный эпос знал свои блуждающие сюжеты и свои вечные образы. Доходяга-пеллагрик, герой анекдотов, прозрачный и шелестящий, как крылышко стрекозы. И неунывающий Яшка-бесконвойник, таёжный Ходжа Насреддин. И начальник-джинн. И герой-производственник, Голиаф с формуляром, — он толкал составы, носил на плечах дровья, своими руками, когтями вырыл в земле Волго-Дон. Но ни один герой не был так живуч, ни одно сказание не возобновлялось с таким постоянством, как это.

Никто не сомневался, что Беглец существует на самом деле. Одинокая фигура, бредущая, как мираж, раздвигая колючий подлесок, — стреляй в него, трави его собаками, гоняйся за ним, он всё ещё маячит вдалеке, и всегда находились очевидцы, уверявшие, что видели его своими глазами. Вот как от меня до того поля. Или хотя бы слышавшие, но уж от несомненных свидетелей. То был некто без имени, без возраста, не то чтобы уж очень молодой, но и не старый, вот как ты, только чуток повыше, жопа вислая, идёт-оглядывается; некто не слышащий окриков и, как утверждали, неуязвимый для пуль. Рассказывали: ночью следил из чащи, как вели на станцию погрузколонну. Рассказывали: однажды солдат-азербайджанец, в морозную полночь дремавший на вышке, открыв глаза, увидел его совсем близко; стало быть, и псарня верила в Беглеца. Опомнившись, попка с вышки дал очередь — человек-волк повернулся и побежал, и следов крови не оставил. И так, вновь и вновь легенда оживала под видом события, происшедшего недавно и недалеко от нас. Слухи, сочившиеся, как почвенные воды, питали её. Всё рассасывалось в студнеобразном времени: сенсационные параши, вести о групповом побеге с концами, во главе с каким-то бывшим майром и Героем Советского Союза, рассказы о целом транспорте заклю-

чѐнных, ушедшем в Японию, о восстании на Севере, подавленном с самолѐтов, — но при этом успели смыться несколько сот человек; всё тонуло в мѐртвой зыби вседневного существования, исчезало из памяти, окутывалось непроницаемой секретностью, — а лживая басня, дивное видение тлело в сердцах, поднималось из сумрачных глубин мозга и торжествовало над правдой, рассыпавшейся в прах.

Но начальство знало, что ни одного неразысканного не числилось, по крайней мере, в нашей округе. Понимало, что, открой сейчас ворота — побежит не каждый. Потому что бежать некуда. И, однако, удивительным в этом предании было не, что Беглец остался не пойман, что никто, увидев, не донѐс на него и, неопознанный, он ускользнул и от местного, и от областного, и от всесоюзного розыска, профильтровался сквозь все фильтры и при этом даже лагерного тряпья не сменил. Нет, удивительным и непостижимым было то, что он вернулся. Он вернулся, но не с простреленными ногами, не изорванный овчарками и не исполосованный до полусмерти. Он вернулся сам. И каждый из тех, кто день за днѐм, разбуженный зычным матом нарядчика, сползал с нар и садился на пол обматывать ноги портянками, кто пил баланду в выстуженной за ночь столовой и влѐкся в крысиной толпе по шпалам узкоколейки в рабочее оцепление, — каждый с тоской думал о том, что даже тот вернулся в страну Лимонию, кого никто не поймал. Очевидно, что тут скрывалась некоторая мораль, а то и мудрость. Быть может, она и была единственной правдой.

Беглец вышел из леса. Перед ним лагерь скорби вознёсся в кольце огней, обнесѐнный глухим частоколом и рядами колючей проволоки. Не видно было никого, и никого не слышно. С угловой вышки бил по запретной полосе прожектор. Поодаль, в стороне, мерцали редкие огоньки посѐлка вольнонаѐмных. Он прошѐл два-три шага и провалился в снег. Осмотрелся полным тоски взглядом. Лагерь, сияющий огнями, был мѐртв — ни единого звука не доносилось из зоны.

В это время оперативный уполномоченный, в звании старшего лейтенанта, сидел в своём кабинете, в конце длин-

ного, теперь уже тёмного коридора конторы. Ночное бдение придавало особую значительность его трудам. Уполномоченный был занят тем, чем обычно бывает занято начальство, — перелистыванием бумаг. Но, как известно, он не был обычным начальством. Посетитель, когда входил и садился в углу на особый стул, испытывал, при виде папок с делами и нависших над ними золотых погон, сосущее чувство беспомощности, одиночества и мистической вины.

Сам великий князь не вызывал таких чувств. Длинная, по моде, сохранившейся со времён Дзержинского, шинель капитана Сивого, возвышаясь по утрам на крыльце вахты, откуда начальник лагпункта, как полководец, следил за выступлением своего войска, внушала трепет, но и симпатию. Народная молва передавала рассказ о том, как однажды, накануне праздника, капитан распустил из кондея всех сидевших там. А у кума в зонной тюрьме был устроен род образцового хозяйства, подследственные сидели по камерам в тонко продуманных сочетаниях. Капитан разогнал всех. Утверждали, что доходягам-отказчикам, недостаточно быстро выбиравшимся из узилища, досталось ещё и пинком под зад. Воображение людей пленялось этим свирепым великодушием. Безумный взгляд слезящихся оловянных глаз и алкогольный юмор великого князя заключали в себе нечто родное. Самое имя капитана звучало как лагерная кликуха. И возникло странное единение начальника и народа перед лицом тайной власти оперуполномоченного.

Капитан был, при всей жестокости, то, что называлось человек. Опер походил на оживший плакат: пустое мальчишеское лицо, белёсые волосы. И не было у него ни имени, ни фамилии, а только чин и прозвище, и оно, это прозвище — кум — означало существо и родственно близкое, и нечто иное и высшее, нежели обычное человеческое существо. Ибо это был дух, который мог сидеть за столом, читать донесения и писать протоколы, а мог и летать в ночи, распластав когтистые крылья.

На стене ровно и безостановочно постукивали часы. Чёрно-серебряные сапоги уполномоченного поигрывали под столом. Прошёл уже целый час после того, как он сверил установочные данные: фамилию, имя, год рождения, номер

статьи и срок. В углу на стуле сидел Степан Гривнин, сучко-жог, судя по обгорелой вате, торчащей из дыр его бушлата, и медленно погружался в свой стул. Ошеломление первых минут прошло — в тепле и тишине, под брызжущим светом, преступник оцепенел, как жук, уставший дёргаться на булавке. Всё ещё было неясно, зачем его вызвали.

Гривнин не принадлежал ни к одному из лагерных сословий, следовательно, служил примером тех, кто составлял лагерное большинство: одиноких, от всего оторванных и чуждых друг другу людей. Гривнин не был ни блатным, ни полуветным, ни варягом, ни шоблой, ни духариком; не шестерил ни вельможам, ни вóрам — для этого он был слишком туп, мрачно-замкнут и не мог рассчитывать на покровительство. Он был просто мужик — в лагерном и в обыкновенном смысле этого слова: нагой и босой в своём прожжённом одеянии, вислозадых ватных штанах и разрушенных валенках, козявка, человек-нуль, ходячий позвоночник, и они могли делать с ним всё что хотели.

Кто — они? Безжизненное железо, безымянное высшее начальство, те, для кого даже капитан, даже кум были только исполнителями, шавками. При мысли о высших силах в сознании брезжили не лица и не голоса, а лишь ряды блестящих пуговиц, фуражки и столы, над которыми они возвышались. Этому начальству, чтобы повелевать, не нужно было показываться на людях, в своих дворцах они сидели и молча кивали лакированными козырьками, и одного такого кивка было достаточно.

Степан Гривнин не помнил за собой ничего такого, что он согласился бы считать преступлением, но он знал, что перед этой чудовищной властью виноваты все. В тюрьме он как-то сразу удостоверился, что всё, что с ним происходит — обман. Настоящее, действительное дело, в котором была записана его судьба, вершилось где-то в глубокой тайне, на других этажах, и в этом деле стояло: работать. Горбить, втыкать, вкалывать, ишачить; а то, что происходило здесь, допросы и протоколы, было просто видимостью дела. Все они: и следователи, и начальники следственных отделов, и начальники начальников, и прокурор, и вся собачня, да и сами арестанты, были участниками одного представления, вроде

актёров в театре, и было бы странно, если бы кто-нибудь заартачился. Для чего-то им всё это было нужно; должны же они чем-то заниматься. Но цель была одна — заставить его работать. Вол, обречённый всю жизнь работать — вот чем он был для них, и на лбу у него было написано: «Упирайтесь рогами». Но им, сколько ни работай, всё мало. Потому-то и придуманы тюрьмы, и следователи, и столыпинские вагоны, и лагеря; а какую тебе пришьют статью, не имеет значения. Так или примерно так думал Гривнин.

Раздался скрип — уполномоченный писал, навалившись мундиром на стол, — носки сапог задрались и замерли в ожидании. Он писал заключение по рапорту командира взвода, вовсе не касавшемуся ословелого сидельца, о том, что бабы из деревни тайком носят стрелкам самогон.

Тот, в углу, почти спал, угревшись в светлом кабинете под стук часов, и даже видел во сне уполномоченного, который хлопал себя по синим штанам и обводил озабоченным взором стол — искал спички. «М-да...» — промолвил уполномоченный. Гривнин открыл глаза. Кум стоял перед ним, закинув голову. Прищурился, пустил вверх струю и следил за ней, пока дым не рассеялся.

«М-да. Вот так, брат Гривнин».

Произнося это, оперативный уполномоченный сгребал со стола документы, завязывал тесёмки папок. Сел боком к столу, нога на ногу, постукал папироску над пепельницей.

«Так, говоришь, зачем вызывали?»

(Ничего такого Гривнин не говорил.)

«Ты на помилование не подавал?»

(Нет.)

«Странно. — Уполномоченный задумчиво курил. Потом взял со стола чистый лист, твёрдо зная, что оттуда, со стула, ничего увидеть невозможно. — Вот тут запрос на тебя поступил... Надо на тебя характеристику писать. А какую? Дай, думаю, посмотрю на него, кто он такой...»

Он приблизился, тряхнул пачкой «Беломора»:

«Кури».

Себе взял новую папиросу. Затянулись оба.

Скорчившись на своём стуле, оборванец сумрачно взирал на старшего лейтенанта. Он не мог подавить в себе тяжёлого, тревожащего недоверия к этим погоням, золотым

пуговицам, тускло поблескивающим волосам с пробором, к этой хищной усмешке. Он ничего не понимал. Но, как собака по интонациям голоса улавливает смысл речи, он догадывался, что тут не угроза, а что-то другое. Он знал по опыту, что у «них» ласка бывает хуже ругани. От него чего-то хотели. Гривнин ненавидел дружеские разговоры. Доверительный тон мучительно настораживал. В любом проявлении человеческого участия был скрыт подвох. Любая симпатия была заминирована. Это был закон лагеря.

Но час был поздний. Тепло и тишина действовали одуряюще. Истома сковала Гривнина. И в этом безволии, как в гипнотическом сне, дурацкая, бессмысленная надежда поселилась в убогом мозгу пленника — что ничего не будет. Старший лейтенант, заваленный делами, уставший от долгого бдения, не станет ковырять — поговорит-поговорит и отпустит.

«Посылки из дому получаешь? — спросил кум. — Сало-масло, м-м?»

(Что он, придуривается? Посылки запрещены.)

«Могу разрешить».

(Пустое. У Гривнина всё равно никого не было.)

Помолчали.

«Э, брат Гривенник, не тужи, — снова заговорил уполномоченный. — Мало ли ещё как обернётся. Сегодня ты с формуляром, а завтра, может, и руки не подашь. Как говорится, кто был никем, тот станет всем... Тут, брат, такие события зревают... Ждём больших перемен. Ну, понятно, провести организацию не так просто. Всё будет учитываться: поведение, отзывы. На каждого — подробная характеристика. Писанины одной — фи-у! М-да. Думаю, тебя включить. Ты как, не возражаешь? Небось, по бабе-то соскучился, а? Ух, по глазам вижу...»

Уполномоченный весь сморщился, точно хлопнул стопку, и покачал головой. Этот монолог сменился долгим молчанием, в голубом дыму витала железная усмешка старшего лейтенанта, подскакивал его сапог, пальцы разминали окурок в пепельнице. На стене, как сумасшедшие, колотились часы.

«Ну вот что, Стёпа, — сказал уполномоченный строгим голосом, кладя ладони на стол, — ты человек грамотный,

долго объяснять тебе не буду... Хочешь жить со мной в дружбе — давай. Не хочешь — как хочешь. Твоё дело. Мы никого силком не тянем. Желающих с нами работать сколько угодно, только свистни».

(Уж это верно.)

«Я тебе помогу. На общих работах не будешь. Дам отдохнуть... Я так считаю, что ты для родины не погибший человек. Между прочим, мне лично не нужно твоих услуг, я и так всё знаю. А вот для тебя самого это важно, понял? Доказать надо, что ты, как говорится, заслуживаешь снисхождения».

«Твои уши — мои уши, твои глаза — мои глаза, понял? — продолжал уполномоченный. — Сюда ходить не надо, будешь писать записки и передавать...»

Он сказал — кому.

«А вздумаешь болтать, — подмигнул, — яйца отрежу!»

Кум наклонился и выдвинул нижний ящик стола.

«Ладно, заболтался я с тобой... На-ка вот, подпиши... — Это была подписка о неразглашении, узкий печатный бланк. Уполномоченный рассмеялся. — Да ты что, это же ерунда, формальность. Положено!»

Напоследок была подарена ещё одна папироса «Беломор». Ночной посетитель выбрался наружу через заднее крыльцо, торопясь и озираясь, но никто его не увидел. В пустом небе стояла одинокая сверкающая луна. Цепь огней опоясала зону.

Гривнин вошёл в секцию, не разбудив дремавшего за столом дневального, и прокрался в угол. Там, на верхних нарах, задрав бороду к потолку, храпел дед Корзубый на куче тряпья, которое он выиграл в эту ночь.

6

Перед войной в деревне, откуда капитан взял себе жену, жил колхозник по имени Фёдор Сапрыкин. Все жители деревни носили одну и ту же фамилию. Все мужики были мобилизованы в один день.

На трёх телегах поместилось всё войско. Тогда оторвали от себя простоволосых плачущих женщин и весь день, с пониженными хмельными головами, тряслись по лесным колдобинам до ближайшего сельсовета. Потом те же чавкающие по болотной жиже копыта потащили их в район-

ный военкомат, и позади них тархтел теперь уже по мощёной дороге целый обоз мобилизованных. Никто из них не вернулся.

Но не прошло и трёх лет, как явились другие — в накомарниках, с примкнутыми штыками, волоча усталых и отошавших собак. Разбившись на кучки возле костров, они со всех сторон окружили болото, где по щиколотку в воде стояла первая партия заключённых. Баб, пробиравшихся домой мимо трясины, отгоняли ружейными выстрелами; вышло разъяснение: строится-де большая стройка, сведений не разглашать, близко к вышкам не походить, за нарушение — поголовная ответственность.

Новые партии прибывали издалека. В тайге трещали падающие деревья, мерцали огни костров. По свежей гати начали пробиваться грузовики. Взросло тусклое кривобокое солнце, и на открывшейся заблестевшей равнине узкой грядкой между кюветами, залитыми водой, протянулась насыпь узкоколейки. Первый свисток изумил слух. Вокруг растилалось кладбище пней, это было всё, что оставалось от вековой чащи, а поодаль находилось кладбище людей.

Комары тучей кружились над грубо сколоченными раскоряками-вышками, где стояли, как в клетках, с оружием наперевес, стрелки внутренней службы, довольные тем, что их не погнали на фронт. Мошкá облепляла солдат на подножках вновь и вновь подходивших составов; издалека, за сотни вёрст дотянулась досюда главная железная дорога — подобно хищному агрессивному государству, лагерь раздвигал свои владения, покоряя местные племена. В центре трясины, в десяти верстах от деревни, окружённое частоколом и сияющее огнями, словно там был вечный праздник, воздвиглось то, к чему пуце всего не полагалось подходить. Теоретически говоря, о нём вовсе не следовало знать.

Но женщины знали — смиренные, они знали о том, чего не знал или не хотел знать весь свет. Привыкли, пробираясь по краю кювета, видеть издали поспешавших по шпалам смуглых вожатых с самопалами поперёк груди и следом колышущуюся серую массу. Новая цивилизация подчинили себе их вековую агонию, и понемногу их сирая жизнь, их певучая речь, манера здороваться с незнакомым встречным, плетёный

короб за плечами и вконец развалившийся колхоз превратились в архаический придаток громадно разросшегося лагерного организма. Лагерь ободрил их существование, поселил рядом с ними тысячи мужчин, чьи взгляды будили их завядшую молодость. Между тем голод утих, бригады труповозов были распущены, заросли подлеском поля захоронения, понемногу лагерь смерти превращался в лагерь жизни. Уже не привидения, а кирпичнолицые лесорубы шагали по шпалам в первых рядах крысиной колонны. И стрекотание электропил, неслышанно повысивших производительность труда, треск и грохот падающих стволов, лай овчарок и предупредительные выстрелы не пугали больше деревенских баб. В своих коробах они носили обитателям казармы плотно закупоренные, полные до горлышка бутылки зелёного стекла без этикеток из сельпо, носили детям хлеб из ларька для вольнонаёмных; лагпункт, этот малый потусторонний мир, самое существование которого было государственной тайной, для них стал частью быта, ни бояться, ни стыдиться его они не могли.

Давно уже тело Фёдора Сапрыкина смешалось с землёй на полях некогда знаменитой Курской дуги. Тут же неподалёку полёг под тевтонскими минами и весь тот обоз, что катился по тракту под рёв лихих песен. Семья Сапрыкина между тем жила и приумножалась. За десять лет, прожитых без мужа, Анна Сапрыкина не то чтобы постарела, но раздалась и осела как бы под грузом; черты лица её, крупные и нежные, утратили определённую форму, глаза стали меньше и покойнее, углы мягкого рта опустились. Тёмнорозовая кожа казалась молодой и немолодой.

День Анны Сапрыкиной начался, как всегда, до рассвета: из-под занавески высунулась её белая и полная нога, нащупала шаткую лесенку; в темноте Анна слезла с лежанки, отыскала в печурке спичечный коробок, прошлась, разминая сухие ороговелые пятки.

Толстыми пальцами она выбрала спичку, чиркнула — вверх взвилась струйка копоти, она подкрутила фитиль. Осветились стол, лавка, большая печь, стали видны старые фотографии, часы-ходики и сама Анна в рубашке, с тощей косицей, мягколицая, с большими, точно испуганными глазами. За ситцевой занавеской наверху спали её дети.

Она прошла за печку, прикрывая ладонью красноватый червячок коптилки. Жестяным блеском засветился в углу прадедовский, закоптело-маслянистый образ, под ним мерцал подлампадник. Огонёк осветил белые руки Анны, поднятые к затылку, рот со шпильками и в провалах глазниц блестящие заспанные глаза. «Мати пресвятая, — шептала она, и шпильки шевелились во рту, — Богородица ласковая...». Тут же, не спуская глаз с иконы, она совала голые ноги в валенки. Потом из-запестрядинного полога, закрывавшего кухню, слышно было тихое брэнчание умывальника.

Выйдя оттуда, она полезла на лесенку, натянула латаное одеяло на спящих. Старший лежал на спине с открытым ртом, сжав кулаки. Маленькие сопели, уткнувшись головами друг в друга. Анна встала коленками на край лежанки и достала с притолоки чулки. Задела что-то — посыпались старые валенки, пересохшие, сморщенные носки, портянки. Из-под лесенки стремглав вылетела перепуганная кошка. От ветоши шёл крепкий сухой дух, напоминавший запах поджаренных сухарей. Она сняла с гвоздя полушубок и вышла, хлопнув тяжёлой дверью, отчего на столе вздрогнул и заметался язычок коптилки, повевая кисточкой копоти. В сениях крошечная тьма, хозяйка уверенно нашла дверь, тут же возле крыльца справила малую нужду. В сиреневой мгле обвела сонными глазами свой двор, сарай, полуразрушенные ворота. За ночь прибавилось снегу. Изба стояла на краю деревни, за воротами начинался лес. Тишина и сон царили вокруг. Тишина и покой были в душе Анны.

Она воротилась, продрогшая, заткнув рубашку между ног. Оделась, подтянула гирьку часов и задула огонь.

Дети не проснулись, когда снова, со скрипом и пением захлопнулась за нею дверь. Анна ступала по узкой тропе между елями, погружаясь в серый, как простокваша, рассвет, опустив глаза, полная сдержанного, дремотного достоинства. В низко надвинутом платке, из-под которого выглядывал платочек, в изношенном полушубке, казавшая толстой оттого, что под полушубком была у неё ещё надета лагерная телогрейка, она была как все женщины этих мест, где молодухи казались старше своих лет, а пожилые выглядели молодаво. Так она шла, пока не расступился лес, и внизу откры-

лась широкая и топкая дорога, по которой полчаса назад, сойдя с железнодорожной насыпи, прошлёпала производственная колонна.

За колонной должны были следовать отдельные штыки. Собственно, штыков уже не было, а были немецкие трофейные автоматы, которыми вооружено было охранное войско, под отдельным штыком подразумевалась подсобная работа вне рабочего оцепления. Ждать не пришлось, наоборот, её ждали. «Стой, кто идёт!» — прокричал голос с восточным акцентом, раздался свист, и Анна Сапрыкина медленно вышла из-за деревьев. Внизу стояли два бушлатника, точно два коня, которым крикнули «тпру!» В руках у них были инструменты, на плечах висели мотки проволоки. (Один из них был Гривнин.) На десять шагов позади, как положено, стояли два конвоира. Свидание происходило на лесной опушке, там, где деревенская тропа выходила на большак.

«Чего раскричался, аль не видишь?» — она отвечала, стоя на пригорке, едва заметно откинувшись и выставя себя, и ровно и радостно сияя серыми глазами.

«А я забыл!»

«Вспомни». Их разговор напоминал диалог двух актёров.

«Хади ближе — поговорим!»

«Не об чем нам с тобой говорить, ступай своим путём».

«Погоди! Не спеши!»

«Погодить не устать, было б чего ждать. Вон, — сказала она, — начальник едет».

«За-ачем начальник? Какой начальник? Я сам начальник. А-а, хийлакар гадын, хитрий баба!» — закричал смуглый стрелец, пожирая Анну чёрными маслянистым глазами.

7

Такова была жизнь в невидимом, как град Китеж, таёжном государстве; бессмысленная с точки зрения его подданных, она была, тем не менее, частью всё той же, обнимавшей всех общенародной жизни. И здесь не менялся однажды заведённый размеренный порядок трудов и отдыха, и такими же будничными и необходимыми казались повседневные

дела людей, и погода была одна и та же, и время стояло на месте. Всё так же день за днём торопились смуглые провожатые за уходящими вдаль четвёрками серых спин по шпалам железной дороги. Всё так же везли по деревянной лежнёвке, проложенной в стороне через болото, брикеты прессованного сена для лошадей и мешки с крупной сечкой для лесорубов; в утренней мгле проплывали друг за другом, как призраки, костлявые кони, опустив крупные головы, покорно переставляя копыта и трясая грязными, как мочала, хвостами. Последний одёр, долговязый и костистый, с бесконвойным конюхом на продавленной спине, качался в конце колонны, и всё громадное шествие по шпалам и по лежнёвке медленно удалялось, тонуло в серо-молочных далях, лишь кромка леса отодвигалась с каждым месяцем от лагпункта.

Там тоже всё шло по-старому. Озябшие часовые на вышках топотали подшитыми валенками и пели тягучие песни. По утрам жгуты белого дыма поднимались из труб, по три пары над каждым баракком, и во всех шести секциях босые дневальные с подвёрнутыми штанами стучали швабрами, гнали по полу грязную воду. Почти все они были инвалиды, кто слишком старей, кто сухорукий, кто с одним глазом, что давало им завидную привилегию не ходить на общие работы. В этот ранний час помпобыт — бригадир дневальных — ещё спал в своей кабинке. Спали завкладом, каптёр, культорг. Бухгалтерия, слёзно зевая, в холодных комнатах конторы брякала костяшками счётов. Со скрипом отворились малые ворота обнесённого забором штрафного изолятора, надзиратели повели в камеры вереницу отказчиков от работы. Бухгалтерия, поднявшись из-за столов, смотрела на них из окон конторы.

Дневальные торопились. Запасливые выволакивали из тайных закутков самодельные сани. Заматывались в тряпки, опоясывались вервием, натягивали латаные рукавицы. В девять часов надлежало собраться у вахты, их выводили из зоны на заготовку дров.

В девять в главе пустой бочки въехал в зону одетый в ржавое рубище старик-ассенизатор. Вослед ему брёл в зелёном солдат, отвечавший за инвентарь, лопату, лом и черпак на длинной ручке. Экипаж поехал по лежнёвке к отхожему сараю. Вахтенный надзиратель хозяйственно закрыл за ним ворота.

Повсюду — в пекарне, в прачечной и на кухне — уже кипела работа; в столовой бодро носили воду в котлы — люди дорожили своим местом; в сушилке лагерный портной, семидесятилетний Лёва Жид, похожий на евангелиста, кроил зелёные галифе для важного придурка.

Как смерч, летела по зоне весть о грядущем Сивом. Капитан со свитой обходил владения, и перед призраком его долгополой шинели каждый ощущал себя одинокой козьявкой, каждый был точно путник в лучах, несущихся навстречу смертоносных фар — под безумным взглядом выпученных слезящихся глаз великого князя. Кто мог, спасался бегством, ещё не успев провиниться, но уже чувствуя свою вину. В чём? В том, что сидит в зоне, под крышей, а не марширует на общие работы; да и просто в том, что живёт. Украдкой из окон, из-за углов подсматривали, куда свернёт капитан. Капитан шествовал по центральному трапу, расчищенному, выметенному, справа и слева украшенному щитами с патриотическими лозунгами. Не дойдя до столовой, свернул, зашагал вдоль барачков, мимо тёмных безмолвных окон. Смерч сметал всё на его пути. Вдали случайный дневальный улёпётывал к себе в секцию.

Там, за печкой, в покое и на свободе возлежал Козодой, лагерный философ, писарь, хиромант и чернушник — род сказителя. Кругом на нарах, освобождённые в санчасти, отдыхали ещё двое-трое. Шёл неспешный разговор.

Козодой полсрока просидел в кондее, в остальное время ошивался в санчасти, часами тёр ладонь о ладонь — повысить температуру. За дешёвую плату писал жалобы и просьбы о помиловании, гадал на самодельных картах, читал судьбу на ладони, предсказывал будущее по полёту мух. Раскидывал чернуху о новом кодексе, об амнистии. Никто не верил, но слушали охотно.

Козодой повернулся на ветхом ложе, поскрёб пятернёй между тощими половинками зада. «Эх, вы, — вещал Козодой, — хренья моржовые, дармоеды-дерьмоеды... Да что б вы делали на воле — луну доили, пупья чесали? На воле работать надо, шевелиться. Пети-мити зарабатывать. На воле как? Пожрал — плати. И посрал — плати. За бабу — плати. За всё плати! А здесь тебе и хлеба пайка, и баланда, и очко в

сортире завсегда обеспечены. Лежи, не беспокойся. — Он сладко потянулся. — А баб нам не надоть! Нет, братцы, на херá мне сраная ваша воля...»

В секцию ввалился дневальный, задыхаясь, обрушил на пол вязанку дров.

«Сивый идёт!»

Больные на нарах вскочили, вперили в дверь ошеломлённые взгляды. В сенях уже гремели шаги...

8

Никто не знает, чем люди руководствуются в своих делах, считается, что каждый соблюдает свой интерес. Так и оценивают его поступки; если же непонятно, чего он хочет, значит, интерес где-то в глубине, И никто не догадывается, что для человека этого наступила единственная, божественная минута, когда он знает, что поступает бессмысленно. Тайный демон подзуживает его прыгнуть в пропасть, нашёптывает: не разобьёшься, а полетишь. Абсурд притягивает его, как магнит — железо.

Дорого стоит ему эта минута. Но в эту минуту он — бог.

Несколько недель подряд Стёпа Гривнин, о котором здесь снова пойдёт речь, ходил на работу в отдалённый заброшенный квартал. Час туда, да час обратно, и работа неспешная, не то что в бригаде, где свои же товарищи жмут из тебя сок ради лишних процентов, а чуть замешкаешься — помбригадира кулачищем между рог. Спасибо старшему лейтенанту!

Ветка к бывшему складу была давно разобрана, вчетвером брели по насыпи, увязая в снегу. Справа и слева от дороги виднелись полусгнившие остовы штабелей и клетки забытых почернелых дров. В буртах невывезенного реквизита ещё можно было откопать крепкие жерди, годные для опор высоковольтной передачи.

Дул свирепый ветер. Невдалеке, над поломанной, замётённой снегом куртиной отчаянно мотались голые и одинокие сосны. Над ними неслись сиреневые облака. Гривнин с напарником разгребали комья мёрзлого снега. Обухом и вагой выламывали из-под наледи оплывшие чёрные колья и жерди.

Они хоть шевелились. А конвоиры сидели, прижав к щеке самопалы. Мрачные и нахохленные, молча глядели на бесцветно бьющееся, бесцветное пламя костра, курили, цыкали слюной. Огонь едва выползал из-под сырых плах, на торцах пузырилась пена.

Невольники — что те, что эти; одной цепью скованы. Недобрая мысль шевелилась за опущенными лбами, под ушанками с железной звездой. В пустыне снега, на остервенелом ветру проклятье принудительного безделья было для них, как для тех двоих проклятье труда. «А-а, мать их всех, и с ихней работой». Опять-таки это были они — неопределённое начальство. Смуглый Мамед сплюнул в огонь

«Айда. Кончай базар».

Он первым поднялся. Оба поняли друг друга без слов. Автоматы — через плечо. Заключённым: «Съём!» А те и довольны.

Все четверо полезли вверх по глубокому снегу. Шли долго. Потом насыпь кончилась. Перебрались через овраг, поднялись по склону и побрели сквозь лес, четыре привидения, не соблюдая дистанции, автоматчики впереди безоружных, пока, наконец, не показались угластые крыши, окошки, словно из чёрной слюды, полузанесённые снегом. Откуда-то выкатилась с пронзительным лаем косматая собачонка, но тотчас умолкла и, подняв завитушкой хвост, затрусил боком прочь. Оглядевшись — деревня казалась вымершей, — они вошли в ворота крайнего дома, поднялись на крыльцо. Столбики, подпиравшие кровлю, были источены червяком, почернели и потрескались, точно старые кости. Друг за другом нырнули в полутёмные сени. Там была другая дверь, в лохмотьях войлока, с хлябающей скобой.

Со стоном поехала тяжёлая дверь, и, как весть из чужой страны, как два апостола, сдёрнув ушанки, обнажив сизые головы, два бушлата встали на пороге. Тотчас сильные руки толкнули их в горницу. Два стрельца, головой вперёд, красные и иззябшие, гремя сапогами и самопалами, ввалились в избу.

«Хазайка! Гостей принимай!»

Анна, словно во сне, поднялась навстречу... Сонно, затхло, тепло было в избе с низким потолком, с большой печью, от

которой шёл легкий сухарный запах пересохших портянок. Сухо щёлкали ходики. Сверху, с лежанки на прищельцев уставились три пары детских глаз.

Грохнули об пол кованые приклады. Мамед уселся на лавку, по-хозяйски вытянул из разлтых штанов жестяной портсигар. Второй солдат, белообрый, молоденький, видно, на первом году службы, поместился рядом. Заключённым — сесть на пол. На ходу стирая с губ шелуху семечек, точно проснувшись, женщина бросилась за занавеску. На столе воздвиглась бутылка тёмнозелёного стекла. В чистом белом платочке с горошком Анна Сапрыкина несла на двух тарелках угощение.

9

Напарник возле Гривнина, угревшись, посапывал, его наголо остриженная и лысеющая голова, свесилась на грудь. Под столом, наискосок от них, висели в домашних вязаных носках и бумажных чулках круглые хозяйкины ноги, с двух сторон от них расставились солдатские сапоги. За столом разливали уже по третьему разу. Довольно скоро, как-то сама собой явилась другая бутылка. Анна тоненьким голоском задумчиво пела песню, это была всё та же известная, жалостная песня о бродяге, бежавшем с Сахалина. Белообрый робко подтягивал, а Мамед, который не знал слов, хлопал в ладоши, притоптывал сапогами и радостно скалил свои белые сахарные зубы.

Он уже предвкушал момент, когда хозяйка полезет на лежанку. Ребятишек отошлют на кухню, парень останется сторожить внизу, ждать своей очереди, — а он поднимется к ней, и они задернут занавеску.

У Стёпы от долгого сидения на полу затекли ноги, он попытался пересест на корточки. Тотчас голос Мамеда приказал сидеть.

За столом пели:

«Жена найдёт себе другого, а мать сыночка никогда!»

Анна вышла на кухню. Там она сняла с себя исподнее, оправила юбку и явилась, сияя серыми спокойными глазами.

«Сидеть!» — вновь прогремел голос.

«Гр'ын начальник, на закорки... жопа болит!» Гривнин ворочался, пробуя так и сяк переменить положение. Лезгин за столом обнимал за талию разругавшуюся Анну. Белобрысый, изрядно захмелевший, тыкался вилкой в грязную тарелку, а с печки на них смотрели дети.

Стало совсем невтерпёж, захотелось встать неудержимо.

«Ку-у... да?» Волосатый кулак, как кувалда, поднявшись, грохнул об стол, зазвенела посуда.

«Я сейчас... — бормотал Гривнин, вертясь, словно жук на булавке, — мне на двор надо, поссать, гражданин начальник... Сбегаю и назад».

«Какой такой двор, — отвечал грозно начальник, — я тебе дам двор. Сидеть, твою мать, не слезать твоё место!»

Рука его по-прежнему гладила Анну.

«Х... с ним, Мамед, пушай сходит, никуда он не денется», — заговорил вяло белобрысый солдат.

Это неожиданно разгневало горца.

«Сказал сидеть! Вот я его, суку, за неподчинение законом-требованием, попытку побёгу!» — он двинулся было, оттолкнув товарища, к стоявшему в углу оружию, но не устоял и схватился за край стола. Задребезжали стаканы, пустая бутылка покатилась и полетела на пол. Мамед плюхнулся на скамью. Второй стрелок смеялся.

«Застрелю всех паскуд!» — заревел Мамед, сжав кулаки, и как будто не знал, на ком остановить желтоватые белки огненных своих глаз. Белобрысый парнишка по-прежнему давился от смеха. Хозяйка тоже хихикала, утирая глаза углом платочка.

Вот тогда и произошло неожиданное, необъяснимое — осенила идея, — отчего у мальчиков, глядевших с печки, округлились глаза и раскрылись рты. И то, что произошло, они потом помнили всю жизнь.

Жук сорвался с булавки.

Арестант вскочил на ноги, подхватил с полу бутылку, и дети видели, как побелели его пальцы, сжимавшие горлышко.

Он стоял, подавшись вперёд, растопырив руки, с гранатой в правой руке, и походил на обезьяну в человеческой одежде.

Смех оборвался. «Ты что, — неожиданно спокойно проговорил второй стрелок, — уху ел?.. — Он нахмурился. — Бутылку-то брось. И садись, не тыркайся. Сейчас все пойдём... Эй, Мамед!»

Но Мамед не отвечал, не издал ни звука, он начал медленно расти из-за стола, ручищи вдавились в стол. Под его чёрным, липким и обжигающим взглядом преступник сжался. Но мыслей уже не было: за Гривнина думал его спинной мозг.

Он ринулся в угол. Это случилось прежде, чем они успели сообразить, — он опередил белобрысого, который хотел забежать ему в тыл, — Гривнин пригвоздил его к лавке, наведя на него автомат. Он стоял один посреди избы, держа палец на спусковом крючке. Достаточно было шевельнуть пальцем, чтобы скосить напрочь мерзкую сволочь! Ха-ха! Гривнин ликовал. Теперь он был господином. Сейчас он заставит их языком лизать пол.

Гривнин облизал шершавые губы.

«Беги, земляк», — сказал он монотонно, не глядя на сидящего на полу напарника, но зная, что тот глядит на него. Напарник, действительно, не сводил с него глаз, полных ужаса.

«Беги! — раздался снова жёсткий, холодный голос. — Рви когти, пока не поздно, терять нечего! Думаешь, они тебя пожалеют? Пожалел волк кобылу».

Он медленно отступал. Напарник не шевелился.

Второй автомат висел на руке у Степана, сильно мешал ему; он пытался забросить его за плечо короткими судорожными движениями; наконец, это ему удалось; всё это время он целился то в одного конвоира, то в другого; наткнулся на брошенную бутылку, отшвырнул ногой. С порога правая стена не простреливалась, её загоразживала печь. Он подался влево, по-прежнему отходя осторожными шажками.

«Ты! — крикнул белобрысый. — Стой. Пожалеешь!»

Мамед прохрипел что-то невнятное.

Гривнин усмехнулся. «А ты, — сказал он с наслаждением, — поговори у меня, сука помойная, чернозадая падла...»

«Караул! — вдруг завизжала женщина. — Не пуцу! Стой, ирод! Не пойдёшь никуда! — И со сбившимся плат-

ком бросилась к нему. — Милок, — задыхаясь, заговорила она. — Окстись, куда ты побежишь... Кругом тайга... Тебя звери загрызут...»

Степан опешил. Пнул Анну ногой, но она с пылающим лицом упрямо лезла на него.

«Опомнись... Мы никому не скажем... А то хочешь, я тебе дам. — Она схватилась за грудь. — Никому не дам, тебе одному дам...»

Размахнувшись, Гривнин двинул тётку прикладом. Анна упала навзничь.

Гривнин встал на пороге, с силой лягнул дверь.

«Сидеть, суки! — проговорил он зловецце. — Если кто высунется, не отвечаю».

Хлопнув дверью, он выскочил на крыльцо.

В десяти шагах от дома стоял лес. Смеркалось. Свобода!

Раб и потомок рабов! Он был свободен.

10

Побег! Бежал заключённый. Ползучий гад, пёс смрадный, — это за всю заботу, за даровой хлеб, за то, что дали ему жить, искуплять вину перед родиной, едри её в калошу. А он?!.. От руководства лагпункта до высших учреждений, от исторгнутого из nirваны алкоголизма, обездоленного начальника спецчасти до угрюмого орла-главнокомандующего Управлением лагеря все ступени, все инстанции исполнились желчью и зажглись гневом, скрипнули зубами и задвигали жвалами, почувствовав необычайное присутствие духа. В ярости, в смятении, узнав, кто сбежал, появился оперативный уполномоченный, прилетел и повис когтями над обтянутым проволокой частоколом, ронял злобные слёзы, — снизу дежурный надзиратель почтительно отдал ему честь, и стрелец, дремавший на вышке вахты, подхватил на плечо аркебузу, вытянулся во фронт и тоже взял под козырёк, — впрочем, козырька на ушанке не бывает. В серо-голубой шинели, чётко и твёрдо впечатывая в мёрзлый трап каблуки зеркальных сапог, старший лейтенант шагал в контору, в кабинет, писать объяснение для высшего начальства.

Побег! С утра на вахте, перед воротами — всё руководство. Великий князь мрачен, как грозовая туча. Надзиратели шупают выходящих. Но не так, как всегда, не томным взмахом ленивых рук, проходкой по рёбрам пальцами баяниста, привычно, для виду и кое-как. Тут трещат завязки, брови насулены, и стальные персты чуть не срывают одежду. Как волка ни корми, он всё в лес смотрит. Каждый из этих безмолвно-покорных, в расстёгнутых бушлатах, с беспомощно поднятыми руками, словно разбитая армия сдаётся на милость победителя, — каждый! — возможный беглец.

Внимание, колонна! — Навязшие в зубах стихи вновь полны смысла и обещают смерть. — За неподчинение законным требованиям конвоя, попытку к побегу... в-вашу мать. Следуй — и не растягивайся.

И вот начинается... Стой! Ложись! Начальнику конвоя привиделось нарушение. Через сто шагов снова. Впереди, в розовом дыме зари, видно, как опускается на шпалы головная колонна. За ней остальные. Но нет худа без добра, и все бригады начинают работу с опозданием на час.

Тем временем в зоне шмон — тотальный обыск. Жаль, невозможно разобрать бараки по брёвнышкам. Из распоротых постельников летят на пол жалкие их потроха. Добыча — колода захватанных карт, нож из черенка старой ложки и пахнущая мышами, растрёпанная Библия в валенке у сушильщика-баптиста. Не позабыли и кондей: надзор лазает по камерам, шурует в парашах, народ раздет догола и жмётся от холода, переступает босыми ногами.

Побег! Звонят телефоны... Что такое Стёпа Гривнин, вчера ещё никому не известный, по сравнению с сонмом мертвого сидящих в лагере и другими десятками, сотнями тысяч, которые ещё сядут? Микроб, пылинка. Что значит одна обритая голова, ходячий позвоночник, посреди этой громадной массы голов, людского фарша, длинными лентами вытекающего из ворот на всех подразделениях? Насрать на неё! Но нет. Придёт в движение весь аппарат, вся многоголовая рать начальников, подчинённых и подчинённых подчинённым, выступит в боевой поход дружина стрелков, командиров, проводников служебно-разыскных собак и возвратится домой лишь после того, как убедится, что беглец слинял, вы-

скользнул из пределов княжества, и тогда зарабатывает гигантская машина всесоюзного розыска и будет лязгать до тех пор, пока преступник не будет опознан в каком-нибудь тухлом городишке, с чужим паспортом, в какой-нибудь полумёртвой деревне, у бабы под юбкой.

...Ревёт, бушует непогода. Далёк, далёк бродяги путь. Всё ненадёжно, всё коварно кругом на его пути. За каждым кустиком ловушка, любой прохожий, заметив, побежит доносить. За ним крадутся, его поджидают на станциях, блокпостах, на перекрёстках дорог, патрули караулят на разъездах, обходят товарные вагоны, пока состав стоит перед закрытым семафором. Вся страна ему враг.

И вся страна друг. Она огромная, эта страна. Тёмной ночью непролазная чаща схоронит его, снег засыплет ямки следов. В глухом селении сморщенная старуха пустит в избу переночевать, накормит кашей и даст краюху хлеба на дорогу. Звери его не тронут, а люди отвернутся, скажут, что не видали.

Укрой тайга его глухая...

11

Тогда говорит: возвращусь в дом мой.

Мф. 12:44

Зимней ночью в глубине леса мерцал огонь; у костра сидел человек и готовил себе ужин в старом солдатском котелке. Котелок был без дужки, чёрный и погнутый во многих местах, а ужин состоял из растопленного снега.

Когда вода закипела, он подвинул к себе кастрюлю и стал хлебать, зачерпывая куском бересты, согнувшись над котелком, чтобы не капало мимо.

В это время явился из темноты и подошёл к нему некий странник.

Шатаясь, он приблизился к костру, бросил наземь два автомата АК-47 и протянул свои обмороженные руки.

Хозяин костра, казалось, не обратил на него внимания. Добавил снега в котелок, поставил в пляшущее пламя. Потом взглянул на пришельца и покачал головой.

«Эк, непутёвый. Чай, с лагпункта?»

Треск отсырелых сучьев был ему ответом. Полумёртвые ладони Гривнина висели над огнём.

«На-ко вот, попей кипяточку. Небось в бегах?»

Гость сидел на мокрой коряге, освещённый багровым снегом и, придерживая рукавами кастрюлю, от которой валил пар, дул на неё своим белыми, неживыми губами. Хозяин костра поглядел на стальные игрушки, валявшиеся на снегу.

«Охрану-то, того?»

Странник покачал головой.

«Что ж, — хозяин вздохнул, — к лучшему. Расстрелять не расстреляют, а срок — он и без того срок!»

Он занялся костром, посапывая волосатыми ноздрями. К небу поднялся столб искр.

Сквозь треск горящих веток послышался голос Степана Гривнина — он говорил, едва шевеля губами, преодолевая дремоту и всё усиливающуюся боль в кончиках пальцев.

«Знаем, — бормотал Гривнин, — нас не обманешь... Всё враньё. Никого нет... привидение, сон гадский... Маленько погреюсь и пойду дальше».

Он тянул руки к огню.

«Тепло... Ташкент... Вот погреюсь чуток, и...»

«Куды ж ты пойдёшь?»

«А вот пойду, — лепетал Гривнин. — Куды пойду, туды и пойду. В древню, к бабам... Нет, — он покачал головой. — Стороной надо. К железной дороге».

«Дак ведь оцепление там. Кто ж тебя пустит».

«Ночью уеду. На тормозной площадке. Зайду сзади, и... До Котласа доберусь...»

«И, значит, опять в лагерь. Дурень ты, прости Господи».

На это пришелец ничего не ответил. Голова его опустилась на грудь, котелок стыл на коленях Костёр угасал, и косматая фигура смутно темнела по ту сторону алых огней.

Спокойный голос говорил, точно у него в мозгу.

«Отдыхай, не торопись. Куды уж теперь торопиться...»

Нет, подумал Степан, уйду всё равно. На карачках уползу.

«Эка заладил, — сказал хозяин, точно слышал его мысли. — Уйду да уйду. Да куды ты денешься... Дальше лагеря не уйдёшь».

Гривнин выпрямился, тряхнул головой, сидел неподвижно, выставив сведённые судорогой руки. Нечего мне мозги засирать, думал он, вот возьму и... Но прежде надо было переспорить того, сидевшего напротив.

«Уйду совсем из России. Пропади она пропадом».

Ответа не последовало, хозяин ворошил угли, мычал старую острожную песню. Но оборвался, закашлялся и сплюнул в огонь.

«Нехорошо это, — сказал он наконец. — Пустое брешешь, и ни к чему. Никуды ты не скроешься — и здесь неволя, и там неволя. Здесь лагерь, и там. И где нет лагеря, всё равно лагерь. Только себя истомишь напрасно».

Он продолжал что-то говорить, ворошил палкой, весь осыпанный искрами.

«...нашего-то русского хлебушка сытней нигде не найдёшь».

«Да уж! — странник скрипнул зубами. — Наелись мы этого хлеба. Сыты! По самую маковку! Нет, врёшь, падло, — заговорил он, обращаясь к кому-то, — кабы ты был на самом деле, небось не сидел бы тут... Суки, гады ползучие... — он забормотал, дрожа и озираясь, — как для дру-гих, так...»

И он дёрнулся встать, как тогда в избе, но тело не слушалось, и он остался сидеть на обледенелой коряге. Лес раскачивался над ним и осыпал его снегом. Костёр потух. С ужасом почувствовал Гривнин, что в мозгу у него нет больше воли. Старик, почти невидимый, вразумлял его ровно, настойчиво, словно читал над усопшим.

«Не юродствуй. Сколь с человека не взыщется, того богаче останется. Десять шкур сдерут — последняя крепче будет. Ты, парень, лутче не рыпайся. Это я тебе точно говорю. Тебе на больничку надо, коли не помрёшь. Куды бежать? Чего задумал... Куды спастись?.. А ты в себе самом спасайся, тут до тебя ни один начальник не доберётся, ни одна сволочь не дотянется».

Он продолжал:

«Ружьё брось. С ружьём толку не будет. Ты вот один сбежал, а там за тебя десятерых посодют. Да сотню накажут, на тысяче отыграются... А ты ничего не делай, так-то поспокойней будет... Никого ты не трогай, и тебя не тронут. Сиди себе и жди. Они сами придут. Они, брат, везде. Побежишь — собаками разорвут, а то, гляди, пулю схлопочешь. Сидеть будешь — не тронут».

Беглец собрал силы, поднялся. Надо было этого старика кончать, другого выхода нет.

Он потянулся было за автоматом. Но потерял равновесие и упал.

Отшельник твердил своё:

«Сказано: злой дух вышел, да вернулся, и с собой ещё семерых привёл. И бывает для человека того последнее хуже первого. И куды вас всех носит. Тюрьма, что ль, надоела? Да ить за ней другая, ещё хуже. Всё жизнь наша, парень, одна тюрьма, кем родился, тем и помрешь».

В темноте раздался кашель, старческое кряхтенье. Гривнин, наконец, поднялся на ноги. Погавкаешь у меня, падло, сказал он или, вернее, подумал. Он стоял, пошатываясь, и целился в старика.

Старик мычал песню.

Гром автоматной очереди разорвал тишину и слитным эхом отозвался в чащах. Беглец стоял и нажимал окоченевшими пальцами на спуск, самопал гремел и гремел, эхо потрясало тайгу. Затем смолкло. С веток сыпался лиловый снег. Старик исчез.

Старика не было, но на том месте, где он сидел, остался вытоптаный след, и котелок чернел на снегу. Бессмысленная погремушка, умокнув, осталась в руках у Степана, он нажал снизу, пустой магазин выпал на снег. Беглец посмотрел на него, гнев его стих, он испытывал странное успокоение. Где-то в глубинах слуха, во тьме мозга родился и нарастал высокий, как струна, зов овчарок.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ КАРНАУХОВА

Поэма

Подобие пролога. Дровокол и Сатурн. Снег

В декабрьскую ночь, которую вспоминаю, прежде чем начать эту страницу, я получил производственную травму, случай не такой уж редкий в наших местах. Я работал на электростанции, это имело свои преимущества и свои недостатки.

Мне не нужно было вставать до рассвета, наоборот, в это время я заканчивал смену и брёл домой, предвкушая сладкий сон в дневной тишине. Вечером, когда возвращались бригады и секция наполнялась усталыми и возбуждёнными людьми, я приступал к сборам, влезал в стёганные ватные штаны и всаживал ноги в валенки, голову повязывал платком, чтобы не дуло в уши и затылок, нахлобучивал шапку, надевал ватный бушлат и запасался латаными мешковинными рукавицами. В синих густеющих сумерках перед вахтой собиралось человек восемь таких же, как я. Рабочий день в это время года у бригадников выходил короче, так как съём с работы по режимным соображениям производился засветло, — у бесконвойных же, напротив, длиннее.

Высокие, украшенные патриотическим лозунгом и выцветшими флажками ворота ради нас не отворялись. Гремел засов на вахте, мы выходили один за другим, предъявляя пропуск, через проходную. Кто шёл на дежурство в пожарку, кто сторожем на дальний склад. По тропке в снегу я шагал до угла, оттуда сворачивал на дорогу, ведущую к станции. Слева от дороги, напротив посёлка вольнонаёмных, среди снежных холмов находилась утоптанная площадка, усыпанная щепками и корьём, стояли козлы и вагонетка, высились штабеля дров, темнел большой дощатый сарай, похожий на пароход, с железной мачтой-трубой на проволочных растяжках. Ночью эта труба плыла среди звёзд, дымя плотным белым дымом, а из сарая доносился глухой рокот.

Всю ночь в зоне горел свет на столбах и в бараках, ток подавался в посёлок, в казарму, в пожарное депо, но всё это

составляло ничтожный расход по сравнению с энергией, подаваемой на заграждения из колючей проволоки и наружное кольцо. Всё могло выйти из строя, но сияющий, словно иллюминация, венец огней вокруг зоны и белые струи прожекторов, бьющие с вышек, не должны были померкнуть ни при какой погоде.

Первым делом расчистить рельсы, стрести снег со штабелей. Обухом наотмашь — по смёрзшимся торцам, чтобы развалить штабель. Сквозь ртутное мерцание звёзд, в белёсом дыме, без усталости грохоча, шёл вперёд без флагов и огней опушённый снегом двускатный корабль. Ежедневно его утроба пожирала восемь кубометров берёзовых дров. На столбе под чёрной тарелкой качалась на ветру хилая лампочка, колыхалась на площадке, махая колуном, тень в ватном бушлате. Мне становилось жарко, я сбрасывал бушлат, разматывал бабий платок.

Толкая по рельсам нагруженную тележку, я довёз её до входа в сарай, отворил дверь, и оттуда вырвался оглушительный ляг. В топке выло пламя. Облитый оранжевым светом, глянцево-голый до пояса кочегар, вися грудью на длинной, как у сталевара, кочерге, ворочал дрова в печи. Кочегар что-то кричал. На часах, висевших между стропилами над огромной, потной и сотрясающейся машиной, было два часа ночи. Механик спал в углу на топчане, накрыв голову телогрейкой.

Кочегар крикнул, что звонят с вахты, дежурный ругается. Блистающее кольцо вокруг зоны тускнело, когда топку загружали сырыми дровами. Дровокол...

...или тот, другой, кто был мною в те нескончаемые годы. В тот единственный год, как год на Сатурне, где Солнце — лиловой звездой. В те дни и в те ночи, когда в смутных известиях, переносившихся, словно радиоволны, из одного таёжного княжества в другое, в толковищах вполголоса на скрипучих нарах, в лапидарном мате — крепла уверенность людей, которых считали несуществующими, в том, что только они и существуют и других не осталось, что повсеместно паспорта заменены формулярами, одежда — бушлатом и вислыми ватными штанами, человеческая речь — доисторическим рыком, время — сроком, которому нет конца, и

что даже на Спасской башне стрелки заменены чугунным обрубком, который показывает один-единственный, бесконечный год;

когда рассказывали, повествовали о том, как старичок председатель Верховного Совета, в очках и в бородке клинышком, едва только доложат, что пришёл состав, канает на Курский вокзал, идёт, стучит палочкой по перрону вдоль товарных вагонов, гружёных просьбами о помиловании, а сзади ему подают мел. И старичок-козлик, мелом, наискосок, на каждом вагоне — резолюцию: отказать, — после чего состав катит обратно;

когда рассказывали, повествовали, как маршал со звёздами на широких погонах, с животом горой, в пенсне на мясистом рубильнике, входит ежевечерне доложить, сколько кубов напилили за день по всем лагерям, и Великий Ус, погуляв туда-сюда по просторному кабинету, подымив трубочкой, подходит к стоячим счётам вроде тех, что стоят в первом классе, перебрасывает костяшки и говорит, щурясь от дыма: «Мало! Пуцай сидят»;

когда рассказывали, клялись, что знают доподлинно, как один мужик, забравшись ночью в кабинет оперуполномоченного, спросил: правда ли, что вся Россия сидит? И что будто бы портрет над столом, ухмыльнувшись половинкой усов, ответил ему загадочной фразой: «Благо всех вместе выше, чем благо каждого по отдельности». Не поняв, любопытствующий, повторил вопрос: правду ли болтают, что никого на воле уже не осталось? И портрет ему будто бы ответил: «Ща как в рыло въеду, не выеду».

Дровокол вывез пустую вагонетку из сарая, в конце концов за работу электростанции отвечал механик. Волоча кабель, поплёлся к штабелю с ёлкой, она будет посуше, выкатил несколько баланов, разрезал, электрическая пила стрекотала, как пулемёт, рукоятка билась под рукавицей. Дул пронзительный ветер, колыхался жёлтый круг света, лампочка раскачивалась на столбе под чёрной тарелкой. Как вдруг свет погас. Пила замолкла. Открылся сумеречный, сиреневый простор под усыпанным алмазными звёздами небом. Но машина по-прежнему рокотала в сарае, из железной трубы валил дым и летели искры.

В темноте дровокол расхаживал вдоль расставленных шеренгой полтораметровых поленьев. Ель — не берёза, литые берёзовые плахи на морозе звенят и разлетаются, как орех, а ёлка пружинит. Это стоило бы запомнить каждому. Колун завяз в полене, дровокол плохо видел и наклонился над обухом. Колун словно ждал этого мгновения и вырвался, саданув дровокола обухом в лицо.

Милость судьбы: наклонись я чуть ниже, я был бы убит. Вообще стоило бы поразмыслить над тем, что, собственно, мы называем случаем.

Мы в России привыкли жить сегодняшним днём. Мудрое правило. А потому прошу не считать меня отставшим от жизни, не думать, что мои рассуждения — прошлогодний снег. Пускай он нынче растаял, завтра — выпадет снова. Из снега всё вышло, в снег и уйдёт. И вода, что мы пьём, тот же снег; и не зря сказано: кто однажды отведал тюремной баланды, будет лакать её снова.

Говорят, Ус не умер, а скрывается где-то; да хотя бы и умер. Говорят, все лагеря разогнали. Чушь. Не верю. Лагерное существование есть законный и нормальный образ жизни русского человека, лагерь — это судьба, а слово «судьба» ничего другого, как обыкновенную жизнь, не обозначает. Иные, так просто страшились конца срока, с тяжёлым сердцем ожидали освобождения. Человек тоскует по лагерю, потому что лагерь у него в душе. Как кромка леса на горизонте, лагерь маячит и никуда не денется. Не заметишь, как придвинется и сомкнётся вокруг тебя этот лес, и друг обернётся предателем, и вода станет снегом, и дом — бараком.

В сумерках я сидел на снегу, выплёвывал зубы, красные горячие сопли свисали у меня изо рта и носа. Кочегар заметил, что перегорела лампочка на площадке, и выглянул в темноту. Я доплёлся до зоны, утром получил в санчасти освобождение. Четырёх дней, однако, не хватило, пришлось с замотанной физиономией топать на станцию под конвоем, следом за подводой, в которой везли трёх совсем уже немощных. На станции дожидалась теплушка, так назывался поезд, на котором за десять часов надо было пересечь по лагерной ветке всё княжество, чтобы добраться до больницы.

Лагпункт: вид сверху. Любовь и смерть

Положи меня, как печать,
на сердце твоё, как перстень,
на руку твою: ибо крепка, как
смерть, любовь.

Песнь песней Соломона: 8, 6.

«Живо, живо, поворачивайся, твою мать!» Народ вышел из тьмы на свет. Никто не ведал, в каком краю они очутились, знали только — где-то на северо-востоке. Люди выпрыгивали из тёмных, вонючих вагонов, не товарных и не пассажирских, с редкими зарешечёнными окошками, скатывались по откосу, строились, брели по щиколотку в снегу под сиреневым небом. Не было дорожных указателей, и никто не смел спрашивать. Если бы заблудившийся лётчик очутился в этих пространствах, он увидел бы под собой зеленовато-бурый ковёр лесов, тёмный пунктир узких таёжных рек, различил бы прочерк железнодорожной насыпи. Если бы ангел, медленно взмахивая белоснежными крыльями, огибая созвездия, пролетел над нашим краем, то заметил бы огоньки костров и чёрные проплешины вырубок. Тёмной ночью он пронёсся бы над спящим посёлком вольнонаёмных, казармой охранного воинства, над кольцом огней вокруг зоны и скорей угадал, чем увидел, тонкие струи прожекторов с игрушечных вышек.

Всем известно, что времена года сменяют друг друга по-разному на различных широтах нашего отечества. Время течёт неодинаково; у времени бывает мало времени, а бывает много. Пока где-то там неслись, опережая друг друга, годы и десятилетия, в наших местах, как на Сатурне, тянулся один и тот же год. Там отсчитывали время нетерпеливые нервные стрелки, здесь — толстые неповоротливые обрубки. Сколько лет прошло с тех пор, как совершились события, о коих пойдёт речь? Существует ли ещё княжество? По-разному на этот вопрос отвечают учёные люди. Предлагаются разные теории. Мы же по простоте полагаем, что да, существует, ибо лагерь бессмертен. Итак, начнём эту песнь по преданиям сего времени, а не по чьим-то измышлениям, постараемся соблюсти справедливость, никому не вреда, никого не поучая.

Не поддадимся сладострастнейшему соблазну, соблазну ненависти. Никто не в силах объяснить, отчего ненависть так похожа на любовь и сильна, как смерть.

Как сперма любви, семя ненависти зреет и копится, чтобы излиться в чьё-нибудь лоно. Не так уж важно, на кого обрушится влюблённая ненависть, лишь бы извергнуться. Лишь бы отомстить, — кому и за что? За то, что так непролазны болота, безбрежны снега, лес без конца; за то, что тебя родили на свет, не спрося у тебя, хочешь ли ты жить, да ещё где? — в этой стране. Отомстить жизни, — не значит ли в конце концов свести счёты с самим собою.

Семя ненависти живёт в гробах.

Утренние известия. Капитан на вахте. Шествие капитана по лагпункту

О случившемся доложили начальнику лагпункта капитану Ничволоде в шестом часу утра 22 апреля, — как назло, это был день рождения Ленина. Капитан считал своим долгом присутствовать на разводе по особо торжественным дням. Он стоял на крыльце вахты, в долгополой шинели, в шапке-ушанке из поддельного меха, со звездой, ввинченной в поднятый козырёк, и опущенными ушами; стоял, обозревая дружину, словно удельный князь, кем он и был, — красный от выпитого, наблюдая за всем, что происходило, величественно-безумным и восторженным взглядом. В сумерках перед распахнутыми воротами, над которыми красовался лозунг и висели выцветшие флаги, дудел оркестр заключённых, нарядчик выкликал номера бригад, когорта стояла, дожидаясь команды, двинулась по четыре в ряд, на ходу расстёгивая бушлаты, вахтёр махал пальцем, отсчитывая каждую четвёрку. С деревянной вышки над крышей вахты площадку за воротами озарял прожектор, охранял пулемёт. Два надзирателя обнимали и обхлопывали каждого, конвой ждал, полукругом сидели овчарки на поджарых задах. Оркестр смолк, и ворота закрылись. Нарядчик отправился собирать отказчиков по баракам. Капитан Ничволода вошёл в помещение вахты.

Капитан уселся на табуретку с лицом мрачнее тучи. Он еще раз спросил, когда исчез старший дежурный вахтёр. Князь недавно получил четвёртую звёздочку на погоны, был переведён на крайний северный ОЛП и еще не запомнил фамилии подчинённых. Пропавшего дежурного звали Карнаухов. Второй вахтёр не мог добавить ничего к тому, что уже было доложено, дежурным разрешалось коротать ночь лёжа по очереди на лавке, он не решился сказать, что спал, когда Карнаухов покинул помещение вахты. Когда покинул? Вахтёр сказал: часа в три. Когда точно? — огрызнулся капитан. В 3.00, отпрапоровал второй дежурный. Куда? Не могу знать, отвечал надзиратель. Что же ты, едрёна вошь, громыхнул начальник лагпункта, испытывая злое сострадание к дураку дежурному; пожалуй, и к самому себе. Он двинулся в жилую зону, где, обгоняя его, как раскаты грома, неслась по воздуху весть о том, что капитан обходит бараки с нарядчиком и помпобытом.

Шествие Анны Никодимовой и марш оперативного уполномоченного

Со скрипом, неохотно, словно кому-то в вышних надоело каждый день рассветать, забрезжил день. Прошла через вахту и поспешила по центральному трапу в контору секретарша начальника. Событие, которое повторялось ежеутренне изо дня в день. Дневальные в опустевших секциях, перестав елозить резиновой шваброй по полу, прилипли к окнам барачков; бесконвойные хозвозчики, конь и бочка золотаря, ожидавшие, когда их выпустят за ворота, все повернулись в одну сторону, хлебрез, высокопоставленная особа, на пороге хлебрезки следил за явлением женщины; сам Вася Вересов, гоминид с жирными плечами, покрытый густым волосом, украшенный лиловыми наколками спереди и сзади, изрыгнул сочный мат, оборвал гудящий звон своей гитары в культурно-воспитательной избе, где он репетировал патриотические куплеты для концерта художественной самодеятельности, вещкаптёр, завстоловой, завпекарней, академик-фельдшер, выдававший справки об освобождении от работы, и лагерный портной Лёва Жид,

всё живое, остававшееся в зоне, всё мужское превратилось в зрение и слух, млело от ожидания, — все знали о сошествии в мир секретарши Анны Никодимовой.

Не та отчаянно-робкая, жидковолосая, с рябоватым простодушным лицом, нет, бери выше — баба, Женщина, недосыгаемое женское тело, вот кем она была; торопливый стук её сношенных ботишков по расчищенному дощатому трапу ангельской трубой отзывался в душах, достигал дальних закоулков, но нельзя сказать, чтобы сама она об этом не знала, не чувствовала. Едва только брякнул за ней засов проходной, тревожный холодок пронизал Анюту Никодимову, она очутилась в поле высокого напряжения — окружённая таинственным свечением, шла, точно голая, и в самом деле была голой под своей шубкой, кофтой, юбкой и толстыми вязаными чулками, и... и что там было ещё на ней; шла под взглядами мужчин, охваченная страхом и вожделием, мелко шагая, боясь поскользнуться, неся грудь, подрагивая бёдрами, шла, как по тонкому льду.

Была оттепель.

Вслед за Никодимовой, немного погодя явился другой балладный персонаж: вышел из проходной и зашагал по трапу оперуполномоченный, иначе кум, Василий Сидорович Щаюк. И это тоже было каждодневным событием в жизни лагерных обитателей; но знаки переменялись; высоковольтное электрическое поле уполномоченного искрило; лица в окнах исчезли, всё свернулось и спряталось.

Опер, в фуражке с синим околышем, в такой же, как у капитана, как у высших оперативных чинов в Главном управлении лагеря, как у самого Железного Феликса, длинной, путающейся в ногах шинели, маршировал, стуча подковками сапог, и, как всегда при входе в жилую зону, старался приноровиться к своему образу, для которого одиночество, тайна, стук и поскрипывание блестящих сапог, прищуренный взгляд и загадочное посвистывание были так же необходимы, как покачивание бёдрами и особый трусящий шаг для Анюты Никодимовой. Кум Щаюк происходил из Белгородской области, его дед, отец и остальная родня были раскулачены, вывезены и никогда больше не возвращались. Щаюк спасся, ночевал на вокзалах, подворывал, подался в ремесленное учи-

лице, но сбегал и оттуда, поступил на милицейские мотоциклетные курсы, а оттуда был направлен на двухгодичные курсы оперативных работников. И уже после курсов попал в почтовый ящик, на головную станцию, единственную обозначенную на географических картах, в таёжных дебрях и верховьях северо-восточных рек.

Сей ящик, невидимый, как дредноут в игре «морской бой», состоял из Главного управления, комендантского лагпункта, собственной железной дороги, трех лаготделений и полусотни лагпунктов и подкомандировок, где тянуло срок семьдесят или восемьдесят тысяч обитателей; а также из лесов, болот, заброшенных лесоскладов, ледяных речек и забытых в тайге деревенок, умирающих вот уже которое столетие; размеры его владений были в точности неизвестны, ящик медленно расползлся по раскольничьей тайге, оставляя насыпи заброшенных узкоколеек, гниющие штабеля невывезенного леса, полуповаленные куртины, кладбища пней и поля черного праха. Постепенно Василий Сидорович Щаюк пообтёрся. Он был глуп и туп, но развил в себе нюх и за шесть лет работы дослужился от младшего лейтенанта до лейтенанта. На северный лагпункт попал почти в одно время с капитаном. По натуре был мягкий человек и считал, что никому не желает зла.

Уполномоченный сидел за столом в своём кабинете с двойной дверью и вторым выходом, посвистывал, вполголоса напевал «За Сибіром сонце всходити», сладко зевал, не мог заставить себя приняться за дело; тут поскреблись в дверь, кум поднял голову. Вошла Анна Никодимова в голубом, по-весеннему, платье с цветочками и даже каким-то бантиком на груди, с бумагой для подписи и подачи князю. Кум, не вставая, потянулся к бантику, она отвернулась отцепить булавку; несколько времени продолжалась балетная сцена, Анюта отбежала к окну; тихонько хрустнул ключ в замочной скважине; кум моргал Анюте, простирал к ней руки, тишину нарушал смешок, «ну уж нет», — мяукнула женщина, с видимой неохотой водрузилась на колени к Василию Сидоровичу; этого, однако, было недостаточно; она стала сползать, оперлась локтями о стол, накренилась, расставила ноги; кум поднялся; тут, между прочим, оказалось — как и ожидалось, — что под голубым платьем ничего нет.

Баба Листратиха, северная Астарта

Примерно в такой же час пробудилась гражданка Елистратова, которой настоящее и вошедшее в историю имя было Листратиха. Баба Листратиха проживала в деревне, на землях лагерного княжества: полтора десятка изб скособо-ченных, почернелых, с острыми углами крыш; когда и кто их срубил, забылось. Так как никакого княжества официально не существовало, то и деревни вроде бы не должно было быть, — это с одной стороны. С другой, были, как и везде в нашем отечестве, район, райком, райсовет, сельсовет, был колхоз, всё это существовало, по крайней мере, в бумагах областного начальства, сидевшего где-то далеко за лесами. Выходила областная газета, где говорилось об успехах сельского хозяйства, но о почтовом ящике ничего не говорилось: для местного начальства это был некий фантом. Для лагерного же начальства область, в свою очередь, представляла собой нечто формальное и нереальное. Огромное княжество под завесой тайны и неизвестности распространяло вокруг себя дух небытия, и не будет преувеличением предположить, что мы имели дело с единым и неделимым царством теней. Баба Листратиха, однако, не была призраком. Думаю, что я, продолжая этот рассказ, не был неправ, уподобив Листратиху древневосточной богине любви и зачатия.

Сейчас уже не припомнишь, сколько было ей лет или веков, она, как положено небожителям, обреталась в мифическом времени; но в земной действительности успела перешагнуть возраст, именуемый в народе бабьим веком и о котором говорят: баба ягодка опять; не молодая, но и не старая, широкобёдрая, с большой мягкой грудью и мягким животом, с тёмным румянцем на добром круглом лице, пахнущая молоком, лесом, влажным влагалищем. У неё были дети, неизвестно от кого, иные выросли и пропали куда-то, и была старая сморщенная бабуся, мастерица вязать на спицах, при случае помогавшая избавиться от беременности.

Вместе с другими Елистратова ходила на подсочку в лес-промхоз, на вырученные деньги закупала в сельпо по пять, по десять бутылок. Ближе к вечеру по лесной тропе, в платке и зипуне, неумоимо, неспешно, короткими мерными шага-

ми в рыжих лагерных валенках брела с кошёлкой к посёлку вольнонаёмных, усаживалась отдохнуть на крылечко магазина. Разопревшая от долгой ходьбы, расстёгивалась, сбрасывала на спину платок, причёсывалась гнутым гребнем. За день весь одеколон, поступавший в магазин вольнонаёмных в виду сухого закона, раскупался; и уже совсем в темноте, когда на дверях висела железная перекладина с замком, подходили по одиночке солдаты дивизиона. Баба Листратиха промышляла зелёным змием, услужала ещё кое-чем.

Услужала не из корысти, а скорее ради наслаждения, более же всего по доброте и щедрости, из жалости к молодым, стриженным наголо ребятам срочной службы, которым так же, как заключённым, приходилось вставать ни свет ни заря, хлебать баланду в солдатской столовой, под дождём и снегом, с автоматами поперёк груди, спешить по шпалам узкоколейки следом за колонной работяг, мёрзнуть на вышках оцепления, греться у костров. Бывало и так, что воины, по двое, по трое, глубокой ночью, с риском, налетев на патруль, загреметь на губу-гауптвахту, шагали в деревню к Листратихе, в её тёмную избу, в тёплую материнскую глубь. Десять вёрст туда, десять обратно.

Бегство на юг. Начало следствия

Такова — в общем и целом — была экспозиция. Рабочий день начался, но день-то был необычный. Около десяти часов местного времени в кабинет к оперуполномоченному постучался дневальный и позвал к начальнику лагпункта. Кум одёрнул гимнастёрку, прошагал по коридору конторы, вошёл в комнатку секретарши и, не взглянув на Аниюту, скрылся за дверь капитанского кабинета.

Оперативный уполномоченный согласился с предложением князя-начальника пока что не поднимать шума. Для лейтенанта Щаяюка лучившееся на вахте было, с одной стороны, как и для капитана Ничволоды, неизвестно чем грозящей неприятностью, а с другой — шансом. Заметим, что следствию очень бы помогло, если бы капитан и Щаяюк были знакомы с восточной мифологией, а также с Писанием — мы имеем в виду Песнь Песней. Но они, конечно, ничего такого не знали.

Дознание было начато, как положено, с допроса свидетелей. К лейтенанту в зону потащились один за другим отсыпавшийся после дежурства второй вахтёр и солдат-азербайджанец, простоявший в тулупе всю ночь на вышке над вахтой.

Первой мыслью и рабочим предположением был побег, точней, дезертирство. Странноватая мысль: побег, больше принадлежавшие лагерному фольклору, чем действительности, подобали заключённым, а не надзорсоставу; но, положив руку на сердце, у кого в наших краях не нашлось бы основания рвать когти куда подальше? Сколь богат язык, доставшийся нам от отцов! Сколь обширен ассортимент речений, синонимичных глаголу бежать. От вахтёра уполномоченный узнал и занёс в протокол то же или почти то, что услышал утром князь. Выяснилось, однако, что факт отсутствия Карнаухова был установлен вторым дежурным, лишь когда он встал и вышел наружу, по его выражению, «поссать»; следовательно, дрыхнул и не слышал, когда напарник покинул свой пост. Слышал ли свидетель от первого дежурного высказывания антисоветского характера, в смысле того, что-де надоело и пора кончать, и что хорошо бы куда-нибудь податься, к примеру, на юг? Нет, не слышал, хотя... Хотя что? Кому неохота в тёплые края, пояснил допрашиваемый. Не было ли у Карнаухова бабы в деревне, из тех, что шляются вокруг лагпункта, промышляют водкой и трахаются с солдатами? Ты-то сам, небрежно спросил уполномоченный, небось тоже?.. И неизвестно было, шутит он или всерьёз. Не могу знать, испуганно сказал надзиратель. Уполномоченный по-свистывал, скрипел пером. Можете идти, промолвил он, не поднимая головы.

От попки, то есть стрелка на вышке, вовсе ничего прибавить к дознанию не удалось, черножопый по-русски еле ворочал языком. К тому же он, видимо, испугался, поняв, что кто-то сбежал из зоны и придётся отвечать. Видел ли он, как сержант Карнаухов вышел из помещения? Солдат помотал головой. Куда направился Карнаухов? Солдат понял, что его берут на пушку. Потом оказалось, что он всё-таки видел, как надзиратель с крыльца справлял нужду. Кто именно, который из двух? Тут свидетель совершенно потерялся и, даже если понял вопрос, притворился, что не понимает.

**Прошёл один день. Продолжение.
Письма заочной любви**

Назавтра (пропавший так и не объявился) вахтёра вновь потянули к оперу: для проверки вчерашних показаний. Был задан тот же вопрос, выходил ли он сам ночью из помещения. Надзиратель, почуяв ловушку, признался снова, что выходил. С какой целью? Ни с какой; поссать. В котором часу? Не успел он ответить, как кум спросил, словно ударил под дых: кому Карнаухов звонил по телефону? Кум не спрашивал, звонил ли вообще старший дежурный кому-нибудь по телефону: был применён профессиональный приём разведчика — задавать следующий вопрос, не задав предыдущего, с целью огорошить свидетеля догадкой, что следствию всё известно и хотят лишь прощупать. Как будто опер уже знал, что старший дежурный с кем-то там договаривался. На самом деле кум ничего не знал, но вахтёр не знал, что кум не знает. С ужасом вахтёр почувствовал, что подозревают его самого. В чём? Уж не в сговоре ли со сбежавшим?

Звонил, пролепетал вахтёр, на электростанцию.

Ага, крикнул Щаюк, о чём же они говорили?

Свидетель показал, что Карнаухов ругался. Кольцо то и дело тускнело. Кольцом называлось (как мы уже знаем) наружное освещение зоны: цепь лампочек над тремя рядами колючей проволоки поверх высокого тына, фонари через каждые десять метров. С угловых вышек вдоль забора бьют прожектора.

Почему тускнело?

Свидетелю было велено ждать (закуток рядом с кабинетом, дверь выходит на заднее крыльцо), дневального послали за механиком. Личный дневальный оперуполномоченного, аккуратный ладный мужичок лет пятидесяти, исполнял различные обязанности, среди которых уборка и мытьё пола в кабинете — не самые главные. Поганенький старик, само собой, но нельзя отрицать, что есть разница между вульгарным стукачом, каких немало, и доверенным осведомителем. Дневальный много знал, всё видел и умел держать язык за зубами; мрачное мистическое сияние, окружавшее оперуполномоченного, отражалось на нём, как безжизненная планета отражает свет Солнца.

Таинственная тень кума взошла на крыльцо барака, из холодного тамбура свернула в секцию АТП, то есть административно-технического персонала, — койки вместо вагонных нар, — и велела тамошнему дневалюге растолкать механика, спавшего после ночной смены. И тотчас, едва только оба вышли из барака, понеслось по зоне: механика потянули в хитрый домик. Ибо явление мужичка-дневального никогда не бывало случайным.

В кабинете уполномоченный сидел над бумагами. Перелистывание дел в папках с грифом ХВ, что, как известно, значит «хранить вечно», или «Христос воскрес», было главной частью его работы, а на допросах — особым следовательским приёмом. Подследственный должен был понять, что листают его грозящее бог знает чем дело. Под бумагами, однако, лежало письмо. От той, с которой Василий Сидорович романтически переписывался. В письмах он выдавал себя за инженера на большой стройке, вероятно, оборонной, отсюда следовало, что он не может сообщать подробности. Он надорвал конверт и погрузился в разглядыванье фотокарточки: милое курносое лицо. Она была в летнем платье с короткими рукавчиками-фонариками и глубоким вырезом, из которого выглядывала складка груди. Самое привлекательное в ней было то, что она жила на юге, а он всегда мечтал уехать на юг. Она даже намекала, что могла бы, раз он так занят, приехать повидаться. Из прежних писем Щаюк узнал, что она окончила педагогический техникум и «не занята». Это выражение означало, что у неё нет ни мужа, ни ухажёра. Он собирался ответить, что у него тоже никого нет, но приехать к нему пока что невозможно; хотел написать, что по вечерам, усталый после руководящей работы на стройке, курит и думает о ней.

Сзади на обороте фото была дарственная надпись и стихотворение поэта Эдуарда Асадова: «Пусть ты песня в чужой судьбе, и не встречу тебя, наверно. Все равно эти строки тебе от той, которая любит верно». Василий Сидорович перевернул снимок, снова увидел круглое лицо и серёжки в ушах, привлекательную складку в вырезе платья и попробовал представить, как она выглядит вся.

Перекрёстный допрос

Уполномоченный поднял голову. Шапка в руке, телогрейка в лоснящихся пятнах, сумрачный темно-серый лик византийского святителя, — механик весь пропитался машинным маслом.

Механик был изменником Родины, в самом начале войны, под Оршей, дивизия в полном составе попала в окружение. В числе немногих он выжил, вернулся из немецкого лагеря военнопленных, работал по специальности на заводе, в августе 45-го, по примеру других, подделал документы, чтобы не подпасть под репатриацию; был разоблачён и отправлен на приемопередаточный пункт Бебра-Эйзенах, а оттуда этапом на родину.

Первый вопрос кума был: все работают, а механик спит в зоне, это как надо понимать? После смены, мрачно сказал механик. Он соображал, что вопрос задан с понтом, чтобы ослабить бдительность, а заодно намекнуть, какое у него тёпленькое местечко. Такого места можно враз и лишиться, и вообще, бесконвойный со статьёй 58-1, пункт «б», — нарушение режима. Механик знал, что все слова кума — ложь, все вопросы задаются с единственной целью заманить в ловушку, что этому зверью нельзя протягивать мизинец — откусит всю руку. Кроме того, знал, что он незаменимый специалист и чинил проводку в квартире самого князя; и кум это знал.

Так, сказал Щаюк, значит, был в ночной смене, почему плохо работаете?

Работаем, возразил механик.

А вот есть сигнал, что кольцо тухнет. Это что, саботаж?

Какой такой саботаж; ничего не тухнет.

А это мы сейчас проверим, молвил Василий Сидорович и слегка присвистнул. Из каморки, как пёс на зов хозяина, появился свидетель для перекрестного допроса. Подтверждает ли он своё показание о том, что... Вахтёр испуганно закивал. Кум вперил взгляд в механика. Правильно, сказал механик, звонил надзиратель с вахты.

Который из двух, этот?

Нет, сказал механик, другой. Голос не такой. Ругался.

Ага; значит, действительно потухло.

Да не потухло, сказал с досадой механик, если бы потухло, тут такой бы хипеш поднялся. Просто дрова сырые, одна ёлка. Кочегар подтвердит.

Таким образом, было установлено, первое, что старший дежурный покинул вахту после разговора по телефону с электростанцией, и второе, вёл разговор по телефону в присутствии младшего надзирателя с целью замаскировать истинную причину. Лейтенант Щаюк велел подписаться под протоколом, механик побрёл назад в секцию, а кум отправился к капитану.

Он застал у князя секретаршу. Слово «секретарь» одного корня со словом «секретный». Никодимова была не так глупа, как могло показаться, у неё была своя версия пропажи Карнаухова: запил с какой-нибудь бабой из местных, понял, что совершил дезертирство, и теперь скрывается. Капитан Ничволода ничего не сказал. Капитан, как всегда, был нетрезв, но и не пьян. Кум Щаюк вошёл в кабинет в тот момент, когда Анюта, прижимая для виду к груди пустую картонную папку, стояла рядом со стулом начальника. Повела плечиком и не торопясь покинула кабинет.

Капитан Ничволода, с одной стороны, побаивался кума, да и согласно субординации уполномоченный не подчиняется начальнику лагпункта. Отвечать в общем-то придётся капитану, и многое зависит от того, что доложит оперуполномоченный в Оперотдел Главного управления. Но, с другой стороны, ни куму, ни князю не хотелось портить отношений; случалось, и выпивали вместе; подозревалось, что оба мнут секретаршу. Щаюк хотел обсудить с капитаном дело по-свойски, прежде чем давать делу ход. Главное, избежать осложнений свыше. Чего доброго, нагрянет комиссия из управления.

Скрывается, но не здесь, не в округе: вполне можно было себе представить, что, выбрав удобный момент, всё обдумав заранее, надзиратель, которому всё остоёбло, пешком, никем не замеченный, двинул на станцию лагерной железной дороги. До комендантского километров двести, там какая-нибудь баба приготовила штатскую одежду, и сиганули вдвоём на юг. Как математик предпочитает наиболее простое решение задачи, так и уполномоченный принял наименее хлопотное и самое правдоподобное решение.

Загадка прояснилась. Как показало следствие, сержант Карнаухов дезертировал и в настоящее время находится в бегах; подать рапорт в Главное управление, там объявят всесоюзный розыск.

Добре, сказал капитан.

Оракул. Запахло мистикой

Между тем у него имелся на крайний случай собственный метод расследования. Наутро, это был уже третий день, князь дал команду, на разводе выдернули из бригады учётчика, грека из Балаклавы, тянувшего срок за национальное происхождение.

Приведённый нарядчиком, экзотический и огненноглазый, продолговатый и тощий мужик в бушлате самого большого размера и вислосадых ватных штанах сдёрнул со стриженной под ноль головы то, что когда-то было шапкой.

«М-да», — пробормотал капитан Ничволода, оглядев длинного мужика сверху вниз, от лилового черепа до косматых, раструбом книзу валенок «б/у», то бишь бывших в употреблении. Он и сам был, если можно так выразиться, б/у.

«Зачем позвали, знаешь?»

Грек моргал чёрными, как антрацит, глазами, помотал головой.

«А?» — громыхнул капитан.

«Там ошибка, — сказал мужик, показывая на формуляр, лежавший на столе перед князем. — Мы не греки».

«А кто ж вы такие?»

«Мы вавилонцы».

«Чего?» — сощурился князь.

«Вавилон. Было такое царство».

«Угу. И куды ж оно делось?»

Айсор развёл руками, возвёл очи горé.

«Ладно, один хер. Говорю, слышали о тебе, о твоих талантах».

Тощий мужик безмолвствовал.

«Чего молчишь».

«Гр'ын начальник... я что, я ничего...»

«А вот надо, чтобы было чего!»

Халдей решил, что готовится расправа за его искусство; но почуял и другое: в нём нуждаются; проглотил воздух, переступил валенками.

«Вот так», — сказал наставительно капитан.

На всякий случай мужик проговорил:

«Если надо...»

«Надо! — громыхнул капитан. — Едрить твою».

Халдей приободрился:

«Можем попробовать».

Капитан сменил гнев на милость.

«Добре. А ты (нарядчику) иди, работай...»

Нарядчик и так знал, в чём дело. Капитан вызвал Никодимову.

«Сочини ему расписку о неразглашении, пуцай подпишет...» Анюта удалилась.

Было дано лаконичное разъяснение: дескать, то-то и то-то. Халдей ел глазами начальство.

«Пропал, едри его, — добавил капитан. — Ушёл, и с концами. Задача ясна? Куды он делся. Давай: одна нога здесь, другая там».

Учётчик отправился в барак, но не в секцию, а в сушилку, где было тепло и стоял запах как бы поджаренных чёрных сухарей. Сушильщик, обитавший в отдельной каморке, был его соотечественник, по-лагерному «земеля». Поговорили оба на своём наречии.

Халдей стоял перед капитаном, ожидая дальнейших распоряжений; капитан кивнул. Айсор извлёк нечто из глубокого кармана в подкладке бушлата. Это что ж такое, спросил начальник. Айсор объяснил, что карты не игральные. Древние карты, сказал гадатель. Освободили место на столе, капитан Ничволода с любопытством разглядывал солнце с лицом старика, бабу с грудями и рыбьим хвостом, месяц с крючковатым носом, двух сросшихся пацанов, змею с крыльями, похожими на плавники. Гадатель объяснил: вот это зелёные жезлы, это голубые мечи, и так далее. Бог Набу, сын Мардука, сочинитель таблицы судеб, просветил прорицателя. Зашептал что-то, поцеловал карты.

«Ну что там, чего-нибудь видишь?»

Айсор не то кивнул, не то покачал головой, хранил безмолвие.

«Давай, рожай».

«Вот, — сказал айсор и указал на красную масть. — Огонь».

«Чего?»

«Вижу. Огонь вижу», — повторил айсор.

«И всё?»

«Всё», — ответил гадатель, как будто хотел сказать: разве этого недостаточно?

«И больше ничего?»

Гадатель устремил загадочный взгляд в пустоту, развёл руками.

«Та-ак», — грозно сказал князь и уселся, предварительно согнав мужика со стула. Айсор поспешно собирал карты. — «Вот муذاк, так уж муذاк, — задумчиво проговорил капитан. — Предсказатель сраный... Вали отсюда!»

Он вызвал Анюту:

«Гони этого армяшку».

И опять-таки поступил опрометчиво.

**Жизнь как судьба. Обмен мнениями
между мнимым беглецом и механиком.
Семязвержение ненависти. И снова снег.**

Как объяснить, почему люди жили так, а не по-другому, и всё делали для того, чтобы навредить самим себе? Существовало нечто мудро-безрассудное, нечто всемогущее превыше начальств и властей, и это безымянное нечто, против которого не попрёшь, с которым ничего не поделаешь, называлось коротким словом: жизнь. Такая, стало быть, жизнь. Отдав должное пронизательности оперуполномоченного, следует всё же заметить, что не стоило особо напрягать ум, подзревать сложный проект дезертирства, бегства на тёплый юг или что-нибудь такое, а нужно было взять за жопу (без этих речений здесь, увы, не обойтись) секретаршу. Любопытно, что женский нос Анны Никодимовой, в какой-то мере почувял, откуда дует ветер.

«Бригада аля-улю, — рявкнул, входя в сарай, сержант Карнаухов. — В бур захотели?»

Аля-улю означало всё кроме ударной бригады, а бур, то есть барак усиленного режима, — подсобную тюрьму в зоне.

Механик, с гаечным ключом в руке для виду, — дескать, работаем, стараемся, — показался из-за потного лязгающего агрегата, загрозившего высокий сарай электростанции.

«Дрова завезли совсем сырые, гр'ын начальник!» — кричал, стараясь перекрыть грохот, механик.

Перед открытой топкой полуголый, оранжевый, лоснящийся потом кочегар в тряпичных рукавицах висел на длинной кочерге, ворочал полутораметровые чурки, рассыпая искры. На часах под двускатным потолком было без пяти три, время, приблизительно совпавшее с показаниями второго дежурного на вахте.

Сержант заглянул за агрегат.

«Так, — сказал удовлетворённо. — Ага-а! А это кто такая?»

Женщина на топчане, — для двоих мало места, разве только друг на друге, — восседала, расставив ноги, без платка, без телогрейки, в старой вязаной кофте, юбке и валенках; от сидения живот у бабы Листратихи выступил вперёд, и широкие бёдра под юбкой казались ещё просторней. Открыв рот, круглыми блестящими глазами она уставилась на дежурного.

Кочегар захлопнул круглую дверцу топки, стоял, опираясь на кочергу. В это время раскрылись низкие воротца, дровокол вкатил по рельсам тележку, груженую дровами.

Сзади машина-Молох не так шумит.

«Ну чего ругаешься, начальник, — сказал механик. — Погреться зашла».

Карнаухов рычал, что завтра же подаст рапорт.

Усмехнувшись, механик спросил:

«Может, самому охота? Мы отойдём».

Сержант стоял, приняв величественный вид, в форменной шапке, в тряпичных погонах на травянисто-зелёном бушлате. Жизнь его, «такая жизнь», с недавних пор обрела, наконец, устойчивость. Его отец был убит на войне. Четырнадцать лет, в школе-семилетке, в городке, где мать работа-

ла в конторе «Заготзерно», Карнаухов будто бы участвовал в коллективном изнасиловании девочки из параллельного класса. Суд установил, что он сам ничего не сделал, его отпустили на поруки, но едва лишь он вышел из помещения райсуда, как был жестоко избит компанией во главе с братом девочки, месяц провалялся в больнице, жизнь в городишке стала невыносимой, переехали на Алтай; и дальше его носило с места на место, покуда, отбыв службу в армии, в звании сержанта, Карнаухов не очутился в наших краях, где и сделался сам властью, постиг сладость власти.

Предложение попользоваться женщиной, по-видимому, особенно задело сержанта. «А ну, повтори, — сказал он, прищурившись, — повтори, что ты сказал, блядина. Самому охота... Я тебе покажу охоту, сволочь недорезанная, фашист...» Ничего не ответил темноликий, как икона, механик, лишь устремил влюблённый взгляд на сержанта.

«Завтра будете разговаривать в другом месте...» — пригрозил Карнаухов, не подозревая о том, что никакого завтра для него уже не существовало. По-прежнему величественный, он оглядел свысока всех, шагнул было к выходу. «Погодь, начальник... — ласково сказал механик. — Мы тебя любим, может, мы, того, по-хорошему?..»

«Ты это брось!» — строго сказал Карнаухов, и сперва было непонятно, имел ли он в виду раболепный тон механика или инструмент в его руке. «Ты чего это, ты чего. Да я пошутил...» — бормотал сержант, пятясь, и почти произвольно схватился сзади за кобуру.

«Ничего, — проскрипел механик. — Пошутил, да?..»

Бывают такие мгновения, начиная с которых люди уже не распоряжаются собой, всем правит и за всё отвечает жизнь. Скажут: судьба! Ибо судьба, античная Ананке, не правда ли, — синоним жизни. Сержант Карнаухов лежал на цементном полу с изумлёнными стеклянными глазами, шапка со звёздочкой валялась рядом, из проломленного виска толчками лилась кровь. Баба Елистратова всё так же сидела на топчане, оцепенелая, зажав ладонью отверстие рта. Механик швырнул на пол тяжёлый гаечный ключ. Кочегар стоял, как каменный, держа, словно копьё, кочергу. Ночь приблизилась к половине, снаружи начался снегопад.

В пещи огненной. Вознесение Карнаухова

Тихий, покойный снег кружился в чёрном небе, опускался на посёлок, пожарное депо, магазин, казарму, на огни и вышки зоны, на электростанцию, откуда доносился глухой непрерывный рокот, снег покрыл леса, круглолежневые дороги, кладбища пней и весь лагерный край, о котором никто точно не знал, где его границы.

«Чего стоишь, е-ёна мать. Давай шуруй!» — сказал, точно рыгнул, механик, и кочегар отвернул засов железной дверцы, принялся заталкивать в топку дрова.

Женщине: «А ты вали отсюда. Только чтобы ни-ни! А то самой придётся отвечать. Тебя здесь не было, поняла? Ничего не видела, ничего не знаешь. Поняла?»

Листратиха усердно кивала, не отнимая руки от рта.

«Вот так здóрово, не было печали, — задумчиво промолвил механик. — Чего ж мы с ним делать-то будем?»

Воцарилось безмолвие. Дровокол сосредоточенно моргал, стоял перед своей тележкой. Кочегар, жилистый мужик с длинными ручищами и военно-морскими наколками на плечах, ждал перед закрытой топкой.

«Чего сидишь-то, — продолжал механик. — Подотри. И чтоб духу твоего здесь не было...»

Баба Листратиха сползла, наконец, с топчана. Что-то промелькнуло в её глазах. «Туды его», — произнесла она неожиданно спокойно. И показала глазами.

Ответом всё ещё было молчание, лишь один механик вопросительно взглянул на неё. Спohватившись, Листратиха подоткнула юбку, нашла масляную тряпку. Опустившись на колени, оперлась ладонью о цементный пол, где уже засыхала лужа. Тем временем механик зачерпывал короткой кистью из ведра солидол, размазывал по лицу и одежде трупа. Вдвоём с дровоколом подтащили сержанта к бушующему агрегату. Дровокол предложил распилить. Так войдёт, отвечал механик. «Длинный, ети-его...» — с сомнением проговорил механик.

Он обернулся снова на Листратиху, подавшую совет, по-прежнему невозмутимо елозившую тряпкой.

«А это куда?»

«Пригодится». Механик взвесил пистолет на ладони и сунул в карман. Пустую кобуру вместе с жирной тряпкой — в топку.

Кочегар надавил кочергой, длинные полуобгорелые дрова выставились из топки, поехали на пол.

«Легче, ты!» — загремел механик. Кашляя от дыма, кочегар вытягивал руками в рукавицах обугленные чурки. Голова и плечи Карнаухова исчезли в огненной гробнице. «Шапка!» — крикнул механик. Туда же и шапку. Уже пылал зелёный бушлат. Механик, отворачиваясь от жара, швырял в огонь пригоршни мазута, поглядывал на манометр. «Твой рот — едал! Тухнет! Кольцо! — вскричал он. — Сейчас прибегут!»

Вперёд, вперёд, туда, сюда, — ничего не получалось; кочегар пытался вытянуть кочергу, застрявшую в топке. В пламенном чреве Карнаухов горел и превращался в чёрный светящийся остов, длинные ноги в кирзовых сапогах торчали наружу.

«Чего делать будем?»

«Чего... ничего».

«Отпилить их», — подал голос дровокол.

«Яйца себе отпили. Давай!» В багровых отблесках, кряхтя, с благоговейным матом, нажали. Наконец, удалось захлопнуть дверцу, кочегар лягнул задвижкой. Лицо его скосоротилось, сморщилось от тяжкого смрада, казалось, кочегара сейчас вырвет. Механик пробормотал, тяжело дыша:

«Теперь светлее будет...»

Оба имели в виду кольцо вокруг зоны. Снаружи над сараем, где помещалась электростанция, высокая железная труба на проволочных растяжках изрыгнула густой белый дым, на столбе горела тусклая лампочка. Площадку, усыпанную опилками, запорошило снегом, стояли козлы, валялся длинный, как алебарда, колун. Дровокол прыскал из канистры с бензином механику на измазанные солидолом ладони. В чёрном небе, куда вознёсся сержант Карнаухов, не видно было звёзд; стояла, как уже говорилось, оттепель.

Дровокол развалил колуном мёрзлый штабель, взвалил баланы на козлы, волоча кабель, подтащил электропилу «Вакоп». Дрова были плохие, еловые, придавил их ногой. Пила застрекотала, как пулемёт.

Куда струится время? Эпилог

Куда? Вопрос, на который так же непросто ответить, как решить, глядя на гладь реки, в какую сторону влекутся воды, текут ли они вообще куда-нибудь. Никуда оно не струится.

Сколько лет прошло с тех пор? Что стало со всеми?

Кочегар подпал под амнистию пятьдесят пятого года и умер на воле. С дровоколом приключился несчастный случай, о котором уже шла речь, он стался беззубым, спустя некоторое время был вызван как малосрочник на комиссию по условно-досрочному освобождению, произошло это через два года после того, как до наших мест дошло известие о том, что окошел Великий Ус. Дровоколу выдали справку об освобождении с грифом «Видом на жительство не является», за-прещением прописки в областных городах и разными сведениями для будущего волчьего билета. Дровокол несколько лет подряд, чуть ли не каждую ночь, видел сны, один из которых — предлагаемая поэма.

Но на самом деле, куда девался Ус, неизвестно никому. Первое время кантовался в мавзолее; потом выгнали: выяснилось, что не умер, а усоп на время летаргическим сном. Говорят, живёт где-то.

Листратиха, таёжная Астарта, скончалась после того, как была обработана, в который раз, бабусей, и всю долгую дорогу, сорок вёрст, истекала кровью; привезена в больницу бездыханной. Князь, начальник лагпункта, допился до белой горячки, однажды увидел у себя в кабинете, на полу и подоконнике, мелких зверей, не то мышей, не то насекомых; нечисть лезла из углов, из-под двери, царапалась в окно и соскальзывала со стёкол; капитан стащил с ног сапоги, хотел гнать вон, сидел на столе, стуча зубами от озноба, в комнату вбежала Анята Никодимова. Что произошло дальше, не ведаем.

Судьба айсора-гадателя была удивительной: удалось узнать, что, отбыв срок, он вернулся в Балаклаву, нанялся под чужим именем на торговое судно матросом, добрался до Ашшура, пал ниц перед каменным идолом своего бога, благодаря чудесному дару пошёл в гору, к концу жизни был придворным звездчётом царя Ашшурбанипала.

Кум Щаюк получил третью звёздочку на погоны. Дело о неразысканном сержанте, однако, продолжало тлеть, из Оперотдела сыпались запросы, приезжала комиссия. Щаюк подал на увольнение и двинул на юг. Там ждала заочная невеста, но, кажется, не склеилось. Года через два кто-то встретил Василия Сидоровича в рабочем посёлке на Урале; бывший уполномоченный работал завклубом. Ему удалось списаться с известным поэтом, инвалидом Отечественной войны Эдуардом Асадовым, поэт выступал в клубе на обратном пути из Челябинска, было много народу.

О механике известно, что на том свете он вернулся в лагерь, встретил там старого знакомого, сержанта Карнаухова. Бывший сержант схватил червонец за самовольное оставление поста и дезертирство из мест заключения. Ночью на нарах резались стирками, то есть самодельными картами, в стос, Карнаухову не везло: проиграл френчик, шкары, валенки б/у, свою прожжённую у костров телогрейку и пайку на десять дней вперёд. И уже ничего не было жалко, игра пошла по-крупному, проиграл место на нарах, потом секцию, барак со всеми обитателями, под утро, перед самым разводом, проиграл всю потустороннюю зону с вахтой, конторой, столовой, хлеборезкой, с бараками и буром, с попками на вышках, с нарядчиком, с помпомбытом, с кумом, секретаршей и покойным начальником лагпункта капитаном Ничволодой.

Князем слава и дружине! Аминь.

СЕРА И ОГОНЬ

Я помню щебет птиц, пятна света на полу; оттого, что был конец апреля и лес стоял в зелёном дыму, оттого, что я всё ещё был молод, оттого, что мои невзгоды, как мне казалось, были позади, этот утренний день остался в памяти как далёкое видение счастья. Через два часа мне пришлось увидеть то, что и глазам врача предстаёт не каждый день.

Заскрипела лестница от быстрых шагов, — в это время я сидел за завтраком, — молоденькая сестра, запыхавшаяся, пышногрудая, вся в белом, стояла, не решаясь переступить по-

рог. Звонили из Полотняного Завода. Значение некоторых географических имён остаётся загадкой, как если бы они принадлежали языку вымершего народа. Название села сохранилось с баснословных времён, и никто уже не мог сказать, что оно, собственно, означало. Здесь никто ничего не производил. Ещё были живы люди, помнившие коллективизацию, раскулачивание, «зелёных братьев» — отчаявшихся мужиков, которые ушли с бабами и детьми в лес, подпалив свои избы. Ещё жили те, кто видел, как обоз с трупами этих мужиков тянулся по мощённому тракту в город. Дальше этих воспоминаний история не простиралась. Так как происшествие, о котором я собираюсь рассказать, в свою очередь отодвинулось в прошлое, то теперь, я думаю, и от них ничего не осталось. Нынешней молодёжи приходится объяснять, что такое колхоз; недалеко время, когда нужно будет справляться в словарях, что значит слово «деревня».

Звонил председатель из Полотняного Завода, мы стали приятелями с тех пор, как я вылечил его от одной не слишком серьёзной болезни. Он, однако, считал, что был опасно болен, перед выпиской из больницы отозвал меня в сторонку и спросил, сколько я возьму за лечение. Я сказал: а вот ты лучше подключи меня к сети. На другой день явились рабочие, вырыли ямы, поставили столбы, протянули линию. С тех пор в моей больничке сияло электричество до утра, а село после одиннадцати сидело с керосиновыми лампами.

Мы с ним виделись иногда, я оказывал ему мелкие услуги, он, случалось, выручал меня; через него я вошёл в привилегированный круг местного микроскопического начальства. Тот, кто владеет знанием непоправимости, кто понял, что ничего в этой стране не изменишь, хоть ты тут разбейся в лепёшку, — тому, ей-Богу, легче жить. И, что самое замечательное, жизнь оказывается вполне сносной. Но я полагаю, что нет надобности подробно описывать мои обстоятельства, в конце концов не я герой этого происшествия. Я приехал на работу не совсем зелёным юнцом, как обычно приезжают выпускники медицинских институтов. Разместился в просторном доме чеховских времён, под железной кровлей, с высокими окнами и крашеными полами. Одна моя пациентка, молодуха из дальней деревни, вызвалась топить печи и убирать комнаты в моих хорамах. Довольно скоро я сошёлся с ней, ни для кого это не было секретом, напротив, люди одобряли, что я живу с одной

вместо того, чтобы таскаться по бабам; бывший муж приезжал ко мне то за тем, то за этим, а чаще за выпивкой; так оно и шло. И довольно обо мне.

Не было необходимости тащиться за двадцать вёрст, но председатель был другого мнения. У меня был старый санитарный фургон военного образца, председатель колхоза разъезжал в джипе. Председатель поджидал меня на крыльце правления. Наши места — теперь я уже мог называть их нашими — принадлежат к коренной России, лесистой, мшистой, болотистой, десять столетий ничего здесь не изменили. Первые километры ехали по узкому тракту, затем свернули, началась обычная, непоправимая, где топкая, где ухабистая дорога с непросыхающими лужами, с разливами грязи на открытых местах, с тенистыми, усыпанными хвоей, в полосах света, просёлками посреди сказочных лесов. И когда, наконец, расступился строй серо-золотистых сосен и в кустарнике, в камышах заблестело спокойное, бело-зеркальное озеро, увидели на другом берегу синюю милицейскую машину из райцентра. Кучка людей стояла перед сараем.

Это было то, что когда-то называлось заимкой; недалеко за лесом пряталась деревня, а здесь, над отлогим лугом, стояла убогая, в два окна, хижина. Поодаль сарай, за полуобвалившимся плетнём остатки огорода и отхожее место. Подняв морду, время от времени завывала и скулила осиротевшая собака. Следовательно из района уже успел поговорить с дочерью, ждали председателя. Один за другим вступили в сарай — следовательно, судмедэксперт, председатель колхоза; вошёл и я.

Пёс умолк. Пёс сидел на задних лапах, моргал тоскливыми жёлтыми глазами и, очевидно, спрашивал себя, как могло всё это случиться. Свет бил сквозь два окошка в двускатной крыше. В тёмном углу, так что не сразу можно было разглядеть, сидел, раскинув длинные ноги, на земляном полу, человек, у которого от головы осталась нижняя часть лица. Вокруг по стенам был разбрызган и висел ошмётками полузасохший белый мозг. Постояв некоторое время, мы вышли. И, собственно, на этом можно закончить предварительную часть моего рассказа; вопрос в том, надо ли продолжать.

Как я и предполагал, мне тут делать было нечего. Случай подлежал оформлению на районном уровне. Какие-то подвернувшиеся мужики вынесли труп, вынесли дробовик, всё было завёрнуто в брезент, погружено в машину, следовательно сунул в карман паспорт самоубийцы, и все уехали — председательский джип следом за начальством. Я остался стоять перед своим фур-

гоном. Стало совсем тихо. И был, как уже сказано, великолепный сияющий день. Желтоглазый лохматый пёс, понунив голову, поплёлся к хижине.

Следом за ним двинулись и мы — я имею в виду дочь хозяина. Она подошла ко мне, когда всё кончилось, и спросила: помню ли я, как она приезжала в больницу с ребёнком? Мне показалось, что я узнал её. Там был огромный, с кулак, карбункул в области затылка, пришлось сделать большой крестообразный разрез и оставить мальчика в стационаре. «А где сейчас ваш сын?» Она ответила: в городе.

Хибарка оказалась благоустроенной и даже более просторной, чем выглядела снаружи, из сеней мы вошли в довольно опрятную горницу, и не сразу можно было догадаться, что здесь обитал нездешний человек. Над лавкой, между двумя низкими окошками, по русскому обычаю, в общей раме фотографии: пожилая чета, младенец с вытаращенными глазами, парень в гимнастёрке и совсем уже антикварный, жёлтый картонный портрет лихого унтера царских времён, в косо надвинутой фуражке, с чубчиком. Нашёл в сарае, сказала дочка, и это тоже, — и показала на стоявшую в углу прялку с колесом. Кроме стола и печки, в комнате находилась широкая железная кровать, аккуратно застеленная белым пикейным покрывалом, и поставец, служивший хозяйину книжным шкафом. Она собрала на стол, внесла самовар. Присев на корточки, растворила нижние дверцы буфета — там стоял строй бутылок.

Теперь я мог её рассмотреть: дочь хозяина была женщина лет тридцати, невысокая, то, что называется пикнический тип: с короткими крепкими ногами, широкобёдрая, круглолицая, я бы сказал, довольно миловидная. Очень спокойные серые глаза, губы пухлые, бледные, никакой косметики, ни серёжек, ни бус. Прямые и тонкие, тускло-блестящие волосы цвета калёного ореха сколоты на затылке. Одета незаметно: светлое сатиновое платье, синяя вязаная кофта не сходитя на груди.

В деревне привыкаешь к молчанию, но здесь было так тихо, что, кажется, можно было услышать шелесты камыша на озере; до меня донёсся её голос, она говорила вполголоса с кем-то в сенях, и как-то сразу в комнату проник свет пожара. За окном ярко-зелёный луг отсвечивал металлом, и озеро, и опушка леса пылали зловещим оранжевым огнём, солнце било из-под полога густых серолиловых туч. Хозяйка, оставив собаку в сенях, вошла в горницу. Вдруг стало совсем темно, засвистел и пронёсся ураган-

ный ветер, со страшной силой треснул гром, как будто кто-то чиркнул по небу гигантской спичкой, и жилище осветилось нездешним серным блеском. Несколько времени мы сидели за столом и ничего не слышали, кроме нарастающего, похожего на шум пожара, обложного дождя.

Водка была разлита по стаканчикам, я предложил, как водится, помянуть. Она отпила глоток, я было принялся за утешение. Она ничего не ела. Глядя на неё, и я положил свою вилку. Так мы сидели молча и неподвижно друг перед другом, и постепенно ливень стал утихать. Оловянный свет проник в горницу, это был нескончаемый день. Дождь змеился по стёклам низких окон. Я спросил осторожно о чём-то хозяйку, она смотрела на дверь, странное выражение изменило её лицо, она как будто прислушивалась. Пёс встревожился в сенях, было слышно, как он цокает когтями по полу туда-сюда. Я повторил свой вопрос. Она загадочно взглянула на меня, встала. Прежде я не заметил — рядом с буфетом в углу висело на стене поцарапанное зеркало.

Она приникла к стеклу, посплюнув палец, провела по бровям, оглядела себя справа, слева, слегка одёрнула платье и стремительно обернулась. Медленно закрипела низкая дверь. Нога в заляпанном грязью сапоге переступила порог. Вошёл, нагнувшись, самоубийца собственной персоной, с забинтованной головой.

Вошёл отец; дочь смотрела на него, закрыв рот рукой, спохватившись, бросилась к нему, стала стаскивать с него мокрую куртку, откуда-то взялось полотенце, она вытирала ему лицо, осушила кожу на висках, над бровями, вокруг намокшего бинта. Хозяин сидел на табуретке посреди комнаты. Она внесла лохань с водой, перелила из самовара горячую воду в большой жестяной чайник. «Давай, давай, — бормотала она, — небось измок весь...». Стащила с него кирзовые сапоги, в которых хлопала вода, и размотала потемневшие от влаги портянки.

«А это доктор, нечего стесняться...»

Человек проворчал: «Не нужно мне никакого доктора...»

«Может, перевязку сделать...»

«Не нужно никаких перевязок». Он стоял, высокий и тощий, в лохани, дочь поливала его из ковшика. «Постой, чего ж это я», — пробормотала она, сбегала за мочалкой и мылом, тёрла спину, плечи, впалый живот, прошлась вокруг длинного, бессильно отвисшего члена. Весь пол вокруг был залит водой. Несколько вре-

мени спустя мы занялись уборкой, я выплеснул в огород лохань с мыльной водой, она подтёрла пол, и понемногу, по мере того, как вещам был возвращён привычный порядок, улеглись суета и тревога. Я не пытался подыскивать объяснение происходящему; молчаливо было уговорено, что никто не будет упоминать о том, что он наложил на себя руки. Игорь Петрович, укутанный во что-то, пил чай с малиной. Хлопоты сблизили нас, мы дружно выпили, а тем временем дождь снаружи перестал, луг заискрился цветами радуги, солнце слабо играло на поверхности озера.

«Кстати, а как... — заговорил я, — как же следовательно?»

«Он в кабине сидел. Не заметил...»

«Не дай Бог, вернётся», — сказала дочь.

«Пускай возвращается. Ну-с, — глядя на меня, произнёс Игорь Петрович и поднял гранёный стакан, — со свиданьем!»

Он выпил, поморщился и потрогал голову.

«Болит?» — спросила она.

«Теперь не болит. Теперь уже не так болит. Всё позади!» — сказал он, усмехнувшись.

Я не удержался и всё-таки задал ему вопрос: почему он это сделал, в чём дело?

Дочь взглянула на меня с немым упреком. Игорь Петрович прищурился и сказал:

«В чём дело? А это не твоё собачье дело. Ты сиди и пей».

Мы молчали. Он добавил:

«Ты врач, ты и соображай. Может, мне жизнь надоела. Может, я психически больной. В чём дело... Всё ему надо знать».

«Отец, — проговорила она, — ты бы лёг...»

В эту минуту мы услышали рокот мотора, громко залаяла собака.

«А! — вскричал самоубийца, — лёгок на помине!»

Следователь из района придвинул к столу табуретку, сел и поставил портфель рядом, прислонив к табуретке. Портфель не хотел стоять. Следователь снова поставил портфель, и опять портфель съехал на пол. Следователь махнул рукой, крикнул, приосанился.

«Как же это так, — начал он, — Игорь Петрович... Нехорошо себя ведёте. Сбежать хотели?»

Дочь молча, поджав губы, принесла чистую тарелку, поставила перед приезжим древнюю гранёную рюмку на высокой ножке.

Следователь задумчиво поглядывал на дочь, скользнул взглядом по её стану, она придвинула к нему миску с маринованными грибами и блюдо с остывшей картошкой.

«От нас не убежишь», — промолвил он.

«Да ладно тебе», — сказал равнодушно самоубийца и налил гостю.

«Вот и доктор тебе то же самое скажет... Что ж, — вздохнул следователь, — за здоровье, что ль... или уж за здоровье поздно пить?»

«Поздно», — сказал Игорь Петрович.

«Тогда давай за хозяйку...»

Она пригубила свой стаканчик, мы все присоединились, следователь взглянул на часы-ходики, взглянул на часы у себя на руке, покачал головой, наклонился к портфелю.

«Хорошо тут у вас на озере, караси, наверно, водятся, щучки...»

Игорь Петрович возразил, что он рыбу ловить не умеет. Да и мелкое озеро, чуть не до середины можно дойти.

Следователь из района извлёк паспорт из внутреннего кармана и добыл из портфеля служебный бланк.

«Хотел у себя там заполнить, да уж ладно. Коли такое дело... Коли вы, можно сказать, с того света явились... Так, — сказал он, — а чернил у вас не найдётся? Забыл, понимаешь, заправить самописку...»

Она принесла пузырёк с чернилами.

«Сего числа... какое у нас число-то сегодня? Господи, как время бежит. Составлен настоящий протокол в том, что мною... в присутствии дочери потерпевшего, понятых, председателя колхоза имени... Как он там у них называется?»

Я подсказал.

«...и главврача участковой больницы обнаружен труп гражданина, тэ-эк-с, какого такого гражданина?» — бормотал он, разворачивая новый и незаношенный, видимо, недавно выданный паспорт.

«Ну-ка покажи, — сказал самоубийца. — Да не паспорт, на кой хер он мне... Протокол покажи».

«А мы ещё не кончили... Вот у меня тут кстати к вам один вопросик».

«Покажи, говорю...»

«Игорь Петрович, всему своё время. Всё увидите, подписывать, конечно, не надо... Раз уж с вами такая приключилась

история... А то скажут: как же так, он себя порешил, и он же подписался. Кстати: насчёт хозяйки. Это, если не ошибаюсь, ваша дочь?».

«Не ошибаетесь», — сказал мрачно Игорь Петрович.

Следователь вынул ещё одну бумагу, тетрадный листок, исписанный с обеих сторон.

«Нам с вами, ежели помните, уже приходилось встречаться. По поводу вот этого письма. Сами понимаете, сигнал довольно тревожный. Вот мне и хотелось бы узнать, как вы теперь, в свете, так сказать, последних событий, к нему относитесь?».

«Как отношусь?» — спросил Игорь Петрович и вдруг с необыкновенным проворством выхватил у следователя протокол и письмо и порвал всё в клочки.

«Меня нет, — сказал он жёстко. — Нет и не было. Ясно? Вали отсюда, пока цел. Поезжай в морг. Там меня и найдёшь. Я там лежу... без головы. И чтобы духу твоего здесь не было, понял?»

Запомнился мне и другой день — сухой, бессолнечный и холодный, листья, усеявшие лужайку перед домом, успели пожухнуть, давно пора было выпасть снегу. День начался, как обычно, с утренней пятиминутки, после чего я обошёл свои отделения — общее, детское, родильное, сделал назначения, заглянул во флигелек, род приюта, где лежали потерявшие память, безродные и бездомные старухи. Ненадолго вернулся к себе. Мои аппараты были прибраны, натоплены, на плите горячий обед. На столе лежало письмо — единственная новость. Письмо могло подождать. Приём больных был с двух, амбулатория находилась против больничных зданий, через дорогу; войдя в тамбур, я, как всегда, услышал сдержанный говор, плач детей и кашель стариков. Часа два ушло на приём, на разговоры с завхозом о разных предметах. Потом явился шабашник, который подрядился с женой и тещей перестлать полы в родильном, он стоял на пороге, с шапкой в руке, и следил восторженно-испытанным взором, как я наливаю в стакан воду из графина. «После, — пролепетал он, — не сейчас...», — очевидно, думая, что у меня как у медицинского начальника спирт всегда под рукой и я собираюсь угостить его с места в карьер.

Словом, обычные дела. Я вернулся. «Ну что, Маша...», — сказал я. Моя сожительница, в переднике и платочке, тоже покончила с делами и сидела перед обеденным столом, сложив под грудью большие красные руки.

«Там письмо вам...»

«А», — сказал я, побрёл в другую комнату и плюхнулся на своё ложе. Несколько времени спустя я услышал её шаги, скрипнула дверь и вернулась в пазы — я остался один. Начиная смеркаться. Письмо — пухлый конверт без обратного адреса — терпеливо дожидалось меня вместе с ворохом инструкций и приказов из района, я сунул их в нижний ящик стола; я никогда не читаю официальных бумаг.

«Здравствуйте, дорогой доктор, возможно, вы меня помните...»

Я пересчитал странички, ого. Это была целая рукопись. Почерк прилежной ученицы, без помарок, так что, например, слово, которое надо зачеркнуть, заключалось в скобки. Рука спокойной, круглолицей и наклонной к полноте женщины с низким тазом, с крепкими короткими ногами. Я уверен, что существует связь между почерком и телосложением.

Помнил ли я хибарку на берегу озера, странные импровизированные поминки, и как она успокаивала обезумевшего от горя пса, ходила по комнате, собирала на стол, присела перед буфетом? Она была в лёгком платье, в синей вязаной кофте, ей можно было дать тридцать с небольшим, на самом деле она была моложе, у неё были тонкие и негустые, обычные у женщин в северо-западных областях, светлые ореховые волосы, серые выпуклые глаза с жемчужным отливом, полные губы, короткая белая шея и, вероятно, такие же белые и круглые груди. Вопреки всему дикому и невероятному, она излучала покой. Всё это в один миг воскресло перед глазами.

Прошло уже столько времени, писала дочь самоубийцы, она не знает, кто теперь там живёт, сама она не бывает в наших местах, да и прежде наезжала только ради отца; писала, что в Ленинграде больше не живёт, нашла, слава Богу, хорошего человека и уехала с ним, и только одного хочет — забыть все что было. Письмо, однако, не свидетельствовало о том, что ей это удалось.

«Как вы знаете, дело было закрыто, собственно говоря, никакого дела не было, нас с мамой оставили в покое, а в поликлинике подтвердили, что он страдал склонностью к депрессивным состояниям. И вот я вдруг решила вам написать, сама не знаю, почему, может быть, вам как медику будет интересно. Но только с условием — что всё останется между нами».

«Не знаю, — писала она, — известно ли вам, что отец почти двадцать лет отсутствовал, мама вернула себе девичью фамилию, мама никогда ничего не рассказывала, вы знаете, что о таких вещах не очень-то поговоришь. Но я не хочу сказать, что он был

для меня совершенно чужим человеком, когда вдруг, без предупреждения, не написав, не позвонив, вернулся — рано утром стукнул в окно. В первый момент мы испугались. Мама ахнула, словно вошёл призрак. И действительно, первая мысль была, что он явился с того света, пришёл разрушить нашу тихую и спокойную жизнь. Мне было восемь лет, когда его увели, а теперь я была взрослой женщиной. Я его помнила могучим, красивым, широкоплечим мужчиной, а тут вошёл, в зимней шапке, в валенках, с деревянным самодельным чемоданом, небритый, с тусклыми глазами, колючий и одновременно заискивающий, с таким выражением, как будто он что-то ищет или хочет что-то спросить, и когда он стащил с головы свой треух, то волосы у него были редкие и выцветшие, вытертые на висках, и едва успели отрасти. Пришлось привыкать. Места у нас было мало: я незадолго до этого развелась с мужем и переехала с сыночком к маме».

«Так что неудивительно, что начались очень скоро трения, уж очень мы были разные люди. Всё время получалось так, что он и делает всё не так, и думает не так. Мать досаждала ему разными мелкими замечаниями, он огрызался, порой из-за какого-нибудь пустяка по целым дням не разговаривали друг с другом. Он как будто разучился жить нормальной жизнью, словно пролежал эти двадцать лет в ледяном гробу. Работать тоже не рвался, да и неизвестно было, что ему делать, устроиться на работу можно только с пропиской, а прописаться, только если человек работает. Тут, между прочим, выяснилось, что у моего отца паспорт с особой отметкой. Причём выдан не в Ленинграде, а в каком-то городишке, где он пробыл недели две, прежде чем к нам приехать. Что означала эта пометка, никто толком не знал, да и спрашивать не очень-то хотелось. Написано только: “Согласно Положению о паспортах”, а что это за Положение? Маме удалось успокоить соседей, чтобы они помалкивали насчёт того, что человек живёт на птичьих правах, хотя сами знаете: всё это сочувствие, понимающие вздохи — до первой ссоры; само собой, они догадались, что за птица мой отец.. В нашей квартире было ещё три семьи, одна комната почти всегда была заперта, в другой проживала одинокая мать с ребёнком, в третьей муж с женой — пенсионеры, а вы знаете, что от пенсионеров ничего хорошего ждать не приходится: снимет трубку и позвонит в милицию, чего проще. Мать зазвала в гости участкового, выставили угощение, отец сидел тут же, мрачный, насушленный, чокнулся раза два с милиционером. Но что можно было сделать, если он не имел права жить в больших городах. Неизвестно было, где он вообще имел право жить».

Давно уже стемнело, я сидел за своим столом перед электрической лампой, благодетельным даром колхозного председателя.

Она писала:

«Надо было что-то придумывать, жизнь стала невыносимой: днём ссоры, а по ночам вечный страх, что придут проверять документы. И вот тут очень кстати распространилась мода — покупать дома. Якобы можно было без особых формальностей, за бесценок купить развалюху в заброшенной деревне. Мы с отцом стали ездить по субботам, наводить справки, забирались в глубинку, раза два вымокли до нитки под дождём; я заметила, что эти поездки подействовали на него благотворно, он как-то стал понемногу отгаивать. Однажды, когда мы дожидались поезда на безлюдном полустанке, он сказал: “Вот найду себе берлогу и лягу”. Я спросила, что это значит. “А вот то и значит, и ни одна сволочь меня выковырять не сможет”. — “Так и будешь лежать?” — спросила я смеясь. “Ну, не всё время. Гулять буду. Может, ты ко мне когда-нибудь приедешь”. Из этих слов я поняла, что он намерен поселиться там насовсем. “Приеду, — сказала я. — А что ты будешь там делать? В колхозе работать или как?” Он прищурился и переспросил: “Где?..” Я сказала: “В конце концов, ты ведь многое умеешь делать”. — “Да, — сказал он, — я много чего умею”. Мы сидели на платформе, он строгал прутик перочинным ножом. Потом сказал: “Я работать не собираюсь. Палец о палец не ударю. И никто меня не заставит. С голоду подохну, а работать не буду”. — “Ну, а всё-таки: на что ты будешь жить?” — “Э, — он махнул рукой. — Как-нибудь проживу”».

«Долго не могли подыскать ничего подходящего, приезжали и видели одни печные трубы, всё сгорело во время войны, заросло травой; а там, где что-то осталось, наследники разобрали и вывезли срубы. Как-то раз мы ехали на попутном грузовике, отец сидел в кузове, я в кабине, шофёр стал заигрывать со мной, я отмахивалась, это кто же будет, спросил он и ткнул назад большим пальцем, дед твой, что ли? Подъехали к районному центру, и оказалось, что улица вся состоит из домов, перевезённых из деревни. Отец не хотел искать в окрестностях, хотел куда-нибудь подальше от начальства. Всё же мы зашли в один дом, чтобы разузнать что и как. Вот так всё и получилось. Если бы не зашли, если бы проехали, может, ничего бы и не было, не случилось бы того, что вам известно. Да ведь судьбу, как говорится, конём не объедешь».

«Нам назвали одну женщину, родственницу хозяев, — самих давно след проглы, — и мы с ней довольно быстро сговорились.

Спрашиваем: далеко ли? “Да нет, быстро доедете, дорога сейчас хорошая”. Тащились битых два часа. Но он был только рад: чем дальше, тем лучше. Изба оказалась хорошая, крепкая, деревенька тихая, одни старухи, — что ещё надо? Но тут выяснилось, что есть ещё домишко на берегу озера. Наняли кого-то из местных, перевезли кое-какие вещи. Собственно говоря, у отца не было никакого имущества. Я хотела дать ему денег. Он сказал, что у него есть немного».

«И он зажил — не знаю, можно ли сказать: в своё удовольствие. Думаю всё-таки, что да. По крайней мере, никто ему теперь не мешал жить. Ему нужно было только одно — чтобы не мешали ему жить. Так он мне и ответил, когда я приехала его навестить и спросила, доволен ли он, что забрался в такую глушь. Конечно, доволен. А если что-нибудь случится? Он усмехнулся и сказал, что случиться что-нибудь может только когда вокруг люди. “Кто тебе мешает? мы?” Он пожал плечами, его обычное движение, — и я, конечно, понимала, что он хочет сказать: с матерью они бы как-нибудь нашли общий язык, обо мне и говорить нечего; не давало жить начальство. Это слово мой отец употреблял очень широко. Подразумевались, конечно, прежде всего Органы и милиция, я сама видела, как менялось его лицо, стоило ему заметить издали синюю фуражку. Это за мной, говорил он. — Да ведь он идёт в другую сторону. — Мало ли что, бережёного Бог бережёт, отвечал мой отец, и мы поскорей сворачивали за угол. Он говорил: они специально для этого существуют. Напрасно я твердила ему, что времена теперь уже не те, он только усмехался и кивал головой: дескать, знаем мы... Для него ничего не изменилось».

«Всех людей он делил на пьяниц, милиционеров и стукачей. Я засмеялась: “Так уж и всех?” — “В общем, да”. — “А я? К кому я отношусь?” — “Ты пьяница”. — “Да ведь я не пью”. — “Ты потенциальная пьяница. И можешь, — добавил он, — этим гордиться. Пьяницы — это единственные порядочные люди”. Может, он не так уж был неправ, как вы считаете?»

«Что касается милиционеров, то подразумевалась не только милиция, но и вообще любое начальство. Иногда он говорил просто: “они”. Они замышляют то-то, сделали то-то. Они — это секретари, директора, заместители, председатели, заведующие всё равно чем, или какая-нибудь, с выщипанными бровями ведьма в отделе кадров, какой-нибудь начальник станции или вагонный контролёр; все были заодно, и все против таких, как он. От всех надо было ждать, что они обязательно к чему-нибудь придерутся. Начнут проверять анкету, звонить, выяснять, водить носом. “У

них, — говорил он, — знаешь, какой нюх?» Спасайся кто может. Они — как небо над нами, тяжёлое, всё в тучах. И в конце концов действительно получалось так, что все, от самых высших руководителей до мелкой сошки, были представителями какого-то вездесущего таинственного начальства, а самым зловещим, самым коварным и беспощадным начальником для моего отца был, наверное, Бог. Именно он «мешал жить». Конечно, если бы у отца спросили, верит ли он в Бога, он бы только усмехнулся. Да и кто верит-то? Но на самом деле получалось, что как раз он-то больше всех и верил».

«Когда он поселился, мы условились, что он сам меня пригласит, он хотел осмотреться, хотел, чтобы люди в деревне привыкли к нему, а главное, привыкли к мысли, что он живёт на законных основаниях. В колхоз его, конечно, никто не гнал. Он умудрился кое с кем познакомиться. К моему удивлению, оказалось, что он звонит из сельсовета. Он договорился с председателем, за мной прислали машину на станцию. Я приехала к нему с полными сумками, но было видно, что он не голодает, в избушке тепло, перед домом поленница, он завёл себе собаку. Я устроила генеральную уборку, на другой день мы гуляли — чудная природа, и я благословляла судьбу, что он, наконец, нашел себе пристанище. С тех пор я навещала его, иногда с мальчиком; один раз, если помните, пришлось ехать к вам в больницу с нарывом на затылке. Мой отец был очень ласков с внуком, насколько он вообще был способен относиться к кому-нибудь ласково и без обычной своей подозрительности; ходил с ним по грибы, ловил рыбу — правда, ничего не поймали, — даже отправился с ним как-то раз на охоту с двустволкой, которую выменял у какого-то пьяницы. Всё напрасно: мальчишка так и не привык к нему, дичился; тут, я думаю, было сильное влияние бабушки. Моя мама была недовольна тем, что я поддерживаю отношения с отцом. А тут и зима подступила; я стала приезжать одна».

«Как она догадалась о том, что там назревало и должно было в конце концов случиться, ума не приложу, хотя, конечно, у баб на эти дела всегда тонкий нюх. Меня она всегда встречала недоброй улыбкой. Никогда не называла его своим мужем, и никогда не говорила: твой отец. “Ну как там твой?” И больше никаких вопросов не задавалось».

Дойдя до этого места, я почувствовал, что вот-вот произойдёт нечто важное — или уже происходит. Без шапки, в наспех наброшенном пальто я сбежал вниз и вышел на крыльцо. В дымно-

чёрном небе кружились снежинки, всё чаще и гуще. Сиреневый снег медленно падал, первый снег, как в детстве, летел на ладонь и ресницы, снег лежал на земле, на ветвях, укутал крыши, тишина и покой простёрлись над всей округой, и сквозь мглу слабо светились огоньки больничных корпусов. И каким-то мороком показалась мне история, в которую я оказался втянут, хотя не имел к ней ни малейшего отношения. Далёкое апрельское утро, поездка с председателем, озеро в камышах, и сарай, и следователь, и закутанная в чёрный платок дочь, и каздивший себя, неизвестный человек, — всё как будто приснилось. Я поднялся к себе, лампа горела на столе, никакого письма не было. В растерянности, и в то же время чувствуя тайное облегчение, даже с каким-то злорадством, я озирался вокруг, заглянул под стол, чтобы убедиться, что там его нет. И в самом деле, ничего не увидел. Дьявол играл в прятки. Письмо лежало у меня в кармане.

«Однажды я приехала, как бывало нередко, на попутной машине, шла от деревни пешком, вхожу, он лежит на кровати. Я разулась, развязала платок, распаковала сумки. Он сказал: “Отдохни, приляг”. Я легла рядом с ним. Стала что-то рассказывать, он прервал меня. “Тут такая история, — сказал он. — Меня вызывали”. — “Кто вызывал?” Оказалось, мальчишка принёс повестку из военкомата. А до военкомата в район ехать и ехать. Мой отец пришёл в сельсовет, чтобы позвонить по телефону, спросить, в чём дело. Нет, сказали, это не военкомат, а вот вы тут подождите. Через два часа приехал какой-то начальник. Я уже объяснила вам, что для отца все были начальниками».

«Я спросила, о чём же его допрашивали. Нет, это не был формальный допрос, никакого протокола не составляли. С ним хотели побеседовать. “Ну, уж я-то знаю, что это значит, когда они говорят — побеседовать. Это даже ещё хуже, чем допрос”. Я спросила, почему. “Да потому, что они потом могут написать всё что хотят”. — “Но ведь и в протоколе можно понаписать что угодно”. — “Ну да... но можно всё-таки сопротивляться... не подписывать. А тут и подписи не надо. Побеседовали, и всё». Я продолжала его расспрашивать, но он что-то скрывал. Так о чём же всё-таки беседовали? Кто это был? “Следователь, кто же ещё. Из района”».

«Я знала его мнительность, стала его успокаивать, говорила, что это ровно ничего не означает. Живёт посторонний человек, ползут разные слухи, надо проверить, что за личность, вот и всё. Знают ли они, что он вернулся из заключения? Спрашивали о паспорте, о прописке? Нет, не спрашивали, да и какая в этом

медвежьем углу может быть прописка. О том, что он сидел, знают. Но это их не интересует. А что же их интересует? Их интересует, посещают ли его родственники. Он ответил, что у него родственников нет. Но кто-нибудь всё-таки приезжает? Да, приезжает. Дочь. И всё? И всё. Я чувствовала, что он чего-то не договаривает».

«Дорогой доктор, вы, конечно, спросите: было или не было? Да, было. Не тогда, а позже. Я не могу сказать, что он меня изнасиловал или что-нибудь такое, всё произошло, как вообще всё происходит в жизни: помимо нашей воли. Но я забегая вперёд».

«Я долго не приезжала, мальчик снова болел, потом какие-то дела; он тоже не звонил; я забеспокоилась и позвонила сама в сельсовет. Мне ответили, что отец давно не показывался. Я приехала и спросила, в чём дело. Куда он пропал? Никуда не пропал. Просто не хотел меня видеть. Чем же я его прогневила? Ничем; у тебя, сказал он, своя жизнь. Мы немного прошлись, осень была в самом начале, он сидел на замшелом пне и строгал прутик. Вечером мы поужинали, выпили водки, я спросила в шутку: наверное, он кого-нибудь себе нашёл в деревне? Давно пора».

«Кажется, к нему действительно какая-то подкатывалась. Мужчин вокруг почти не осталось, что тут удивительного. И я от всего сердца желала ему, чтобы жизнь его как-то устроилась. Но вдруг представила себе, как я приезжаю, а тут чужая тётка хозяйничает, — была бы я рада?»

«Он всегда уступал мне место на кровати, а сам укладывался на раскладушке. Было уже поздно, я вышла ненадолго, серебряная луна висела в пустом светлом небе, озеро блестело, всё как будто умерло вокруг, — ведь это и было то, о чём он мечтал? — вернулась в избу и в темноте наткнулась на пустую раскладушку. Я подумала, что он спит, может быть, прилёт и заснул ненароком, и стала раздеваться. Он окликнул меня. “Спи, — сказала я. — Я здесь лягу”. Немного спустя он снова меня окликнул, я уже лежала. Он спросил: “Ты спишь?” — “Сплю”. — “Я тебе кое-что хочу сказать. Я знаю, кто это написал”. Я молчала, потому что меня охватил страх».

«Я-то думала, что он давно забыл об этой беседе. Я и сама забыла. Но я не только сразу поняла, о чём он говорит, но и догадалась, кого он имеет в виду. Странное дело, я даже не очень была этим удивлена».

«Он сказал: “Она бросила меня во второй раз, и за это она меня ненавидит”».

«Тогда я спросила, откуда он знает, что это был донос. “Знаю”. Почему он думает, что это она написала? “А кто же?” Потом добавил: “Она сюда приезжала — на разведку”. — “Мать? приезжала?” — “Да”. — “Кто это сказал, её кто-нибудь видел?” — “Не знаю, может, и видели”. — “Откуда же это известно?” — “Никто. Можешь мне поверить. Она думает, что ты заняла её место, и ревнует. К своей же дочери ревнует бывшего мужа».

«Между прочим, я в это поверила. Каким-то чутьём поверила, что так оно и есть, и даже не удивилась».

«Ты что, — сказала я холодно, — рехнулся? Ты это всерьёз?» Он ничего не ответил. Молча мы лежали в темноте, я на раскладушке, он на кровати, мне даже показалось, что он задремал. Вдруг он сказал: “Может, она права?” И добавил — как будто даже не ко мне обращаясь, а к самому себе: “А что же мне ещё остаётся».

«Я спросила: “Что ты хочешь этим сказать?” — “То самое и хочу сказать. Подойди ко мне”. — “Можно говорить и отсюда”. — “Нет, ты подойди поближе”. Мой страх не проходил, наоборот, и я подумала, не уйти ли мне сейчас же. Мёртвый лес, луна. Я встала, собрала в охапку свою одежду. Он лежал на спине, глаза блестя в полутьме. “Ты куда?” — спросил он тяжёлым, хриплым голосом. Я забормотала, что мне надо ехать, срочные дела, совсем забыла... “Ты мне дочь? — спросил он. — Дочь должна слушаться отца. Подойди ко мне, ничего с тобой не будет...” Я подошла, с платьем, с чулками, со всем, что было у меня в руках. “Никуда ты не поедешь”. Я пролепетала: “Ты мне хотел что-то сказать?..” — “Сядь”. Я села на край кровати. Дорогой доктор, пожалуйста, очень прошу. Мы никогда больше не увидимся. Сама не знаю, зачем я это пишу. Порвите моё письмо, когда прочтёте».

«Он взял мою руку, положил к себе, и я почувствовала, как всё это чудовищно налилось и отвердело. Как я уже говорила, никакого насилия на самом деле не было; я ведь не девочка. Если бы не его смерть, если бы в самом деле дознались, притянули его к суду, я бы первая встала на его защиту. Когда он схватил меня своими руками, словно клещами, — он был сильный, жилистый, твёрдый, как железо, — и потянул на себя, я не сопротивлялась, сама я ничего не делала, но и сопротивления не оказала; я как будто ооченела. Он тяжело дышал, я даже спросила: “Тебе плохо?”, он не ответил, и потом это снова повторилось, и я совершенно обессилела — от разговора перед тем, как идти к нему, от внезапной бури, от всего. Мы оба были измучены и уснули, как мёртвые».

«А наутро... что же было наутро? Странно сказать — ничего особенного. То есть просто ничего: сели завтракать, он бро-

дил где-то с собакой, потом обедали, потом я стала собираться... Я приезжала к нему, как прежде, и жизнь шла совершенно так, как и раньше, с одной только разницей — мы стали мужем и женой. И всякий раз, когда я собиралась к нему, он ждал меня, как муж жену, и я ехала к нему, как жена к мужу. Раньше я даже представить себе не могла, что можно любить мужчину двойной любовью».

«Выходило, что моя мать просто накликала эту историю; и если так — я благодарна ей. Но после этого, когда всё произошло на самом деле, его больше никуда не вызывали. Кто-нибудь, может, и догадывался, — хотя в деревнях, к таким вещам, по-моему, относятся довольно равнодушно. После этого прошло сколько-то времени, никто нас не тревожил, мы даже осмелели, ходили вместе в деревню, ездили в Полотняный Завод. А однажды чуть не поссорились — до сих пор не пойму, из-за чего. Полили дожди, озеро вышло из берегов; слава Богу, избышка на пригорке, а то бы и нас затопило. Темно было, как вечером. Отец сидел перед печкой, отблески играли на его лице, и глаза светились жутким каким-то, тускло-жёлтым огнём, — или мне сейчас так кажется? Я позвала обедать. Он ни с места. Я подошла к нему, обняла, прижалась сзади грудью. Он сказал: “Я, конечно, понимаю”. Помолчал и добавил: “Понимаю, почему ты со мной”. — “Почему?” — спросила я. Он поднялся, мы стояли, не выпуская друг друга из объятий, не отрывая губ от губ, потом рухнули в постель — среди бела дня, так бывало уже не раз. Потом долго лежали, не говоря ни слова. Наконец, он сказал: “Это из жалости, да?..” Я ответила: “Печка сейчас потухнет”. Он встал, я посмотрела ему вслед и увидела, какой он длинный и тощий, с выступающим позвоночником. Он подбросил дров, закрыл дверцу, вернулся. “Ну что, — сказал он, — насмотрелась?”. Улёгся, и мы снова лежали рядом и молчали. “Дескать, вот он какой несчастный, дай-ка я его пожалею... Из жалости, да?” Я кивнула. “Вот, — сказал он, — я так и знал. Любить меня нельзя”. — “Нельзя”, — сказала я. Он ответил со злобой — и злоба эта вспыхнула так же внезапно, как перед этим желание: “На х... мне твоя жалость! Пошла ты со своей жалостью знаешь куда?” Мне не хотелось его раздражать, да и время шло, я собиралась ехать после обеда. “Всё остыло, — сказала я, — ты немного полежи, я подогрею”. Мне было приятно, что он на меня смотрит, я чувствовала, что его взгляд скользит по моему телу; позови он меня, я бы снова легла. Я подошла — он лежал, подложив под голову жилистые руки, — и сказала: “Да, ты прав.

Ничего не поделаешь. Все мы такие. Жалость — это ведь и есть любовь. Сильнее любви не бывает, ты что, этого не понял?» «. Он посмотрел на меня и сказал: “Катись ты, знаешь куда? С твоей любовью...”»

«В следующий раз — я теперь ездила к нему каждую неделю, и мне уже было всё равно, что подумает мама: догадалась, так догадалась, — в следующий раз застаю его спокойным, даже почти весёлым. Как вдруг он мне говорит: “Мне надо валить отсюда”. Я уставилась на него. “Уезжать, говорю, надо отсюда”. — “Куда?” — “Откуда приехал”. То есть как это, спросила я, что он там собирается делать? Он усмехнулся и сказал: “Надо возвращаться в родные места. А мои родные места — там”».

«Я встревожилась, но на мои расспросы — что случилось, снова написали, кто-нибудь вызывал его? — он только молча покачивал головой. Он взял мою руку в свои ладони. “Здесь не жизнь. А там... что ж, — он вздохнул, — там всё своё, всё знакомо. Кто там долго жил, тому расхочется выйти на волю, он попросту боится. Я тоже боялся. Мне предлагали остаться вольноёмным. Куда, дескать, ты поедешь. Кому ты там нужен...”»

«Я сказала: Мне».

«Тебе? Может быть... Знаешь что? — проговорил он. — Я всё обдумал. Поедем со мной”. — “ С тобой?” — “Ну да. И пацана возьмём. Никто там тебя не знает, заживём спокойно. Поженимся: у тебя ведь материна фамилия. Не могу я здесь жить”, — сказал мой отец и вышел. Больше мы к этому разговору не возвращались, я так и уехала, вероятно, он ждал, что я сама заговорю, сама ему отвечу, — а что я могла ответить? Я его любила так, как никого не любила. Вам как медику могу сказать: он меня во всём устраивал. И даже если бы не устраивал, если бы не удовлетворял мои бабьи прихоти, я всё равно бы его любила. Но не могла же я с ним ехать Бог знает куда».

«Кроме того, мне казалось, что это у него такое настроение: нахлынуло и пройдёт. Я даже хотела предложить ему начать снова хлопотать, чтобы разрешили прописку в городе, написать заявление, сама бы занялась этим. И теперь думаю: какая прописка? Не в прописке дело. Я сама была виновата...»

Тут я услышал знакомый скрип ступенек, был первый час ночи. Меня вызывали. Привезли женщину с кровотечением; криминальный аборт. Слава Богу, думал я, шагая в темноте и то и дело проваливаясь в сугробы. Перед задним крыльцом общего отделения стояла подвода, лошадь была вся белая. Снег сыпал и сыпал. Слава Богу: в запасе у меня есть две ампулы универсального донора; по всей вероятности, понадобится перелить кровь.

ЧАСТЬ IV. ДАЛЕКОЕ ЗРЕЛИЩЕ ЛЕСОВ

Патриотический роман

Не так уж далеко пришлось ехать, но, когда свернули с шоссе, стало ясно, что и к обеду не удастся добраться до места. К четырем стихиям классической древности следовало бы добавить пятую — грязь. Чтобы облегчить экипаж, пассажир вылез и хлюпал рядом по топкому лугу, между тем как водитель, плохо различимый за мутным стеклом, героически вращал баранку, качаясь и сотрясаясь в ревущей машине, и как-то даже не прямо, а косо продвигался по чудовищному проселку.

Прибыли в пятом часу. В кепке и брезентовом армяке, в резиновых сапогах путешественник напоминал сельского бухгалтера, заготовителя или агронома. Как свидетельствует исторический опыт, администрация долговечней тех, кто является объектом администрирования, и в принципе нетрудно представить себе колхоз без колхозников.

Путешественник взошел на крыльцо, попробовал оторвать от двери приколоченную наискось доску. Дом был куплен за бесценок у родственницы бывших хозяев. Без формальностей: я тебе деньги, ты мне ключ. Дом, в сущности, не принадлежал никому. Водитель вытащил из багажника ломик, отодрали доску, отомкнули скрежещущий замок. В полутемных сенях справа находились чулан и вход в сарай. Слева низкая разбухшая дверь вела в избу. Глазам приезжего предстала отгороженная печью от жилой половины кухня, в углу на табуретке стояла бочка с зацветшей водой, плавал ковш; висела полка с посудой; на плите под закопченным печным сводом стояли чугуны, жестяной чайник; из печурки торчал ухват. Здесь было все необходимое для жизни, лишь сама жизнь исчезла. Низкое окошко, затянутое паутиной, смотрело в огород.

Что касается собственно жилья, то оно представляло собой сумрачную, довольно просторную комнату, лавок не бы-

ло, дощатый стол был придвинут к одному из двух окон, деревянная кровать завалена тряпьем, в углу полка, где когда-то стояли иконы, к потолку привинчены крюки. На стене обрывки плакатов и часы-ходики. Приезжий толкнул маятник. Маятник покачался и стал. Он попробовал подтянуть гири, цепочка с гирей оборвалась, упали на пол ржавые стрелки. Он приладил их кое-как. Тем временем шофер сорвал доски, прибитые снаружи к наличникам, распахнул ветхие ставни, в горнице стало светлей. На численнике, как называли здесь отрывной календарь, стояла старинная дата: возможно, день смерти.

И, собственно, больше ничего не было известно о хозяйке; родственница, давно жившая в городе, позабыла степень родства и не знала, сколько лет было старухе, которая дожила здесь свои дни, да, кажется, здесь и родилась. Или пришла из заречной деревни, робкая, круглолицая, восемнадцати лет переступила впервые этот порог. Приезжий, как был, в армяке и заляпаных сапогах, уселся на табуретку. В окна ненадолго заглянуло выбравшееся из-за туч солнце. Он оглянулся: часы стучали как ни в чем не бывало, под окном журчал дождь, сыпал снег, река вздувалась, поднялись над почернелыми лугами ледяные, желтые от навоза дороги, земля расступилась, вода сошла, земля подсохла и оделась травой. Одна беременность следовала за другой, с крюков свисали на веревках люльки. Снова лил дождь. Воды вышли из берегов.

Сидя посреди избы, как на камне, приезжий окунал ноги в холодный поток; он не старался вообразить, кто здесь жил, зачинал детей, что происходило, а скорее созерцал свое изображение, которое включилось как бы само собой, — и вспоминал то, чему никогда не был свидетелем. Река несла прочь обломки жизни, предметы, лица. Все плыло и уносилось, и постепенно воды очистились и засверкали на солнце, это была чистая и свободная от воспоминаний стихия памяти.

Снаружи урчал мотор. Новосёл вышел. Водитель хлопнул капотом машины. Водитель был двоюродный брат приезжего и номинальный владелец дома. Куда ты торопишься, перекусим, сказал приезжий. Может, останешься на ночь? Нет, отвечал брат, я поеду через Ольховку; дальше, зато по грунтовой дороге. Он внес в избу корзину с провиантом. Приезжий из

города тащил следом свой чемодан и плетеную бутылку с керосином. Они обнялись, словно капитан корабля и моряк, которому предстояло жить на необитаемом острове.

II

С тех пор, как бессмысленность моего образа жизни стала для меня очевидной, я понял, что не могу продолжать свое существование, не исполнив того, что предстало передо мной сначала издали и в тумане, затем все ближе и все настойчивей.

Если я упоминаю о моих прежних занятиях, то лишь для того, чтобы подчеркнуть, что с прошлым покончено. Прошлое — и в этом, быть может, состояло его единственное оправдание — было не чем иным, как бессознательным приурочением к труду, ради которого мне понадобилось сломать привычную жизнь. Я вправе назвать этот труд моим *magisterium magnum*. Нижеследующее докажет, что я не зря изъясняюсь столь высокопарно, недаром употребляю этот алхимический термин: да, мне предстоял особого рода подвиг наподобие тех, к которым готовились, среди перегонных аппаратов, плавильных печей и реторт, изнурая себя постом и укрепляясь молитвой. У меня, разумеется, не было реторт, у меня была чернильница. Дабы совершить задуманное, я должен был погрузиться в одиночество и тишину, короче говоря, я должен был уехать.

В сумерках я вышел на крыльцо, погода разведрилась, надо мной блистало огромное синее и серебряное небо. Дом стоял на краю деревни или того, что от нее осталось. Соседняя завалившаяся изба, очевидно, была давно уже брошена, дальше вдоль улицы, если можно было назвать ее улицей, темнело несколько строений. Справа за околицей дорога, по которой мы прибыли, спускалась с бугра, и низко над ним сияла Венера. Стояла тишина, какой я в жизни не слышал.

Впереди за дорогой расстилалась пустошь. Я знал, что дальше за пустошью должна быть речка, но не мог в полутьме отличить прибрежные заросли от далеких лесов на темном горизонте. Внезапно что-то пронеслось с легким присвистом, метнулось вровень со мной в темно-блестящих, как слюда, ок-

нах моего жилья, что-то вздохнуло и слабо вскрикнуло вдали. Не могу сказать, сколько времени просидел я на ветхих ступеньках моей хижины, очарованный тишью померкших небес. В комнате было так темно, что я вошел, простирая руки, как слепой, затем во мраке проступили окна, на стене белел календарь, и чье-то тело покоилось на кровати. Ибо на самом деле я уже лежал, словно умерший, накрытый ватным одеялом, умерший для самого себя — того, прежнего, в моей бывшей жизни. И, повернувшись на бок, я закутался в ветхое тряпье и уснул.

Прошло совсем немного времени — с этим ощущением я пробудился. Но было уже светло. День стоял в низких окнах сумрачного жилища. Жилец, ныне пишущий эти строки, с трудом себя узнающий, как змея, сбросившая кожу, — я и не совсем я, — прошлепал босиком в сени, мучительно зевая, вышел на крыльцо — солнце пылало за домом, на клочковатой траве перед избой, на изрытой, подсыхающей дороге лежала угластая тень. В майке, с полотенцем через плечо, словно дачник, в башмаках на босу ногу новосел пробирался по влажной тропинке среди путаницы побегов: пустошь, затянута ползучим сорняком, в синих искрах росы, была колхозным огородом. Поле было обширнее, чем казалось, глядя с крыльца, как будто тени удлиннили его, кое-где глинистая почва обнажилась, попадались кустики свеклы, под конец тропинка пропала в густой траве. И когда, стуча зубами от холода, шурша мокрыми брюками, я выбрался из зарослей и увидел внизу нечто вспыхивающее огнями, зыбкое и ослепительное, то засмеялся от счастья.

Окунувшись в ледяную воду, я тотчас потерял дно под ногами; речка была неширокая, мутная, течение сносило пловца. С некоторым усилием я приблизился к противоположному берегу, почувствовал под ногами топкое дно и, размахивая руками, в темной медленной воде между ветвями ивы добрался до подмытого рекой берега. За деревьями расстился солнечный луг. Я дрожал от озноба, мне было необыкновенно весело, голый, как дикарь, я прыгал и бегал взад-вперед по лугу, хлопал себя по бокам, испуская нечленораздельные звуки. Я шел вдоль обрывистого берега, высматривая свою одежду на другой стороне; течение отнесло меня довольно далеко. Река

сделалась уже, темней, я давно прошел место, где бросился в воду. Солнце согрело меня. Я приблизился к роще. Первопроходец вошел в лес. Поток перегородило упавшее дерево, снизу за него уцепились растения, и блестящая вода неустанно расчесывала зеленые пряди.

Я вернулся и вскоре увидел на другом берегу, на песке свое полотенце. Надо было поторапливаться; немного спустя я шагнул по огородному полю; отсюда была видна вся деревня.

III

Следовало немного убраться в избе, я отложил это скучное занятие на другое время. Я и так уже потерял много времени. Вместе с тем я заметил, что день еле движется. Было все еще раннее утро.

Обыкновенно я начинаю работу с того, что пишу, не заботясь о стиле, как Бог на душу положит; стараюсь лишь следовать ходу своих мыслей, хотя, по правде говоря, неизвестно, что от чего зависит. Некоторые представляют себе дело так, что сперва в голове у писателя рождается что-то такое, сюжет или «замысел», а потом он садится за стол, но я-то знаю, что никакого сюжета у меня в голове нет, а просто я надеюсь, что процесс писания разбудит мысль. Старомодно-выспреннее выражение «взяться за перо» в моем случае означает то же, что рвануть пусковую рукоятку, потому что сам собой мотор не заводится. Я чувствую отвращение и страх, чуть ли не ужас перед чистым листом бумаги, похожий на ужас, который испытываешь на краю глубокой ямы, мне кажется, что я забыл все слова, мною владеет суеверие, я думаю лишь о том, чтобы заполнить эту пустоту, забросать яму — не важно чем.

Я заранее знаю, что почти все, что я нацарапаю на этом листе — я пишу только пером, — никуда не годится и будет порвано в клочки, вышвырнуто в корзину, словно в помойное ведро, с бранью и улюлюканьем; да, мне случалось и топтать ногами мое детище, и осыпать сочинителя вслух непристойнейшими ругательствами; и все же я знаю, эти мелкие строчки (как все близорукие люди, я пишу бисерным почерком) будут для меня утешением, доказательством, что я что-то сделал; ибо я ненавижу приниматься за дело.

Из сказанного видно, что было время, когда я относился к своей литературе всерьез. Мною написано несколько повестей и три романа, из которых, правда, ни один не удостоился быть напечатанным. Обычная история: редакции либо ничего не отвечают, либо ссылаются на переполненный портфель; если же я набирался отваги навестить самому этих господ, то обыкновенно выслушивал кислые комплименты, человек листал рукопись, говорил, что он в общем-то «за», из чего следовало, что кто-то другой был против. Если бы вы согласились, говорил он, кое-что сократить, я, например, нахожу вступительную часть излишней.

Потеряв терпение, я как-то раз возразил, что Флоберу один приятель предлагал выкинуть всю первую часть его романа, вплоть до свадьбы Эммы с доктором Бовари; редактор скучно поглядел на меня и спросил: в самом деле?

Любопытно, что в этих переговорах никогда не вставал вопрос об идеологической неполноценности моих творений. Редакционные чины делали вид — возможно, старались убедить самих себя, — что действуют исключительно из эстетических соображений или, как выразился кто-то из них, «в ваших же интересах». Находили ли они в моем творчестве явный идейный изъян, оставалось неясным; впрочем, это малоинтересная тема.

Итак... я уселся за стол, тень перед домом приблизилась к завалинке. И часы, несмотря на то что маятник по-прежнему висел неподвижно, обнаружили косвенные следы жизни: лишь теперь я заметил, что стрелки за ночь каким-то образом передвинулись. Ненамного, но все же.

Я ждал — можно было бы сказать: ждал вдохновения. Но по крайней мере в моем случае — а теперь в особенности — этот термин неуместен. То, о чем идет речь, не имело ничего общего с литературными упражнениями. Полный решимости взяться за труд, в торжественном ожидании я сидел над девственно-белым листом бумаги. Мысли переполняли меня, и оттого, быть может, я не знал, с чего начать. Я встал — лучше сказать, мое тело поднялось и вышло через сени в огород. Там рос бурьян, и, собственно, никакого огорода давно уже не было. У задней стены дома под куском толя сложена была поленница, серые и обросшие мхом, от-

личные дрова, — я мог готовить себе пищу на плите. Сколько времени я собирался прожить в деревне? Это, как говорится, зависело. Но, как я уже имел случай отметить, время текло здесь иначе. Мы говорим «течет», другими словами, обладает известной скоростью, однако время само по себе — детерминант скорости; отсюда приходится заключить, что скорость движения времени есть не что иное, как отношение времени к какому-то другому времени. К какому же? К моему собственному.

Существуют, следовательно, два времени. Существует всеобщее, неподвижно-пльвущее, подобное мертвой зыби, одно и то же для человека и камня и, в сущности, нереальное: время вообще. И другое, тайное, подлинное, присущее только мне. Надо было поселиться в заброшенном доме и увидеть на стене часы с умершим маятником, чтобы осознать мнимость внешнего времени. Вслушаться, уловить в тишине, как струится другое время... Такие соображения показались мне очень оригинальными, я подумал: почему бы с этого не начать? Как вдруг что-то донеслось с улицы, смешав мои мысли. Внешний мир вторгся в мое одиночество. Робинзон услышал плеск пиратских весел, рокот сторожевого катера.

Из-за плетня я наблюдал за тем, как через бугор перевалило страшилище. Огромный облепленный грязью механизм на платформе с восемью парами колес с мучительным ревом, выбрасывая облака ядовитого дыма из двух выхлопных труб, двигался по разбитой дороге — куда? зачем?

Машина остановилась. Водитель в засаленной кепке, с лицом, почернелым от грязного пота, что-то кричал со своего сиденья, может быть, спрашивал дорогу; ничего не было слышно из-за тарахтенья мотора. На всякий случай я помотал головой. Он крикнул что-то, я развел руками. Водитель сплюнул, покрутил пальцем около лба и схватился за руль.

Грохот постепенно слабел, заблудившийся монстр ехал по деревне. Вернувшись к себе, приезжий окунул перо в чернильницу и начертал на первой странице в правом верхнем углу эпитафию. Прекрасные старые стихи умершего добрых сто пятьдесят лет тому назад немецкого классика. Эпитафия заключал в себе двойной умысел: тонко намекал на мой замысел и вместе с тем обязывал пишущего волей-неволей под-

страиваться к своему торжественно-мерному ладу. После чего я проставил, как в дневнике, число и месяц. Дата вынуждала к продолжению.

С пером наготове я вперил взор в пространство, и понемногу во тьме моего мозга проступило мое собственное изображение: так смотрит из омута сквозь толщу воды призрачно-белый лик утопленника.

Я подумал о том, что задача моя ни в коей мере не сводится к тому, чтобы сгрести в кучу щебень воспоминаний, к описи старого хлама; это был бы лишь первый шаг. Автобиография — почтенный жанр, есть заслуживающие внимания образцы, но то, что я должен был совершить, никогда и никем, быть может, не предпринималось. Пишущий историю своей жизни, как и вообще человеческую историю, обыкновенно старается не думать, что было потом; ему кажется, что подлинность минувшего от этого пострадает. Мне же предстояло прошагать заново весь мой путь, но уже не вслепую; я знал, куда он ведет; весь путь был известен заранее, словно передо мной лежала географическая карта моей жизни, я видел каждый изгиб дороги и каждый перекресток, видел земли, через которые она пролегла, и должен был продумать все упущенные возможности, подвести итоги, свести счета. И хотя я вовсе не собирался возвращаться к «литературе», еще менее предназначал мое сочинение для читателей, мысль о том, что я создам парадигму человеческой жизни, так сказать, Автобиографию Человечества на примере одной-единственной жизни, не ускользнула от меня, — мысль эта маячила на горизонте сознания. Я убеждал себя, что не это главное.

Главное было понять, в чем состоял смысл моей жизни, понять, что это значит: «смысл жизни». Обозреть хаотическое прошлое — не значило ли обнаружить в нем скрытую логику, тайную принудительность, о которой мы не догадываемся, пока живем? План, которому мы следуем, но о котором нам ничего не известно. Другими словами, я должен был сам внести в мою жизнь смысл — и, может быть, на этом ее и закончить. Я понимал, что имею дело с процедурой, напоминающей обмывание и одевание покойника перед тем, как уложить его в гроб.

IV

Может статься, что и живем-то мы в конце концов ради того, чтобы отдать себе отчет в прожитой жизни, увидеть ее во всем ее стыде и позоре, — и тогда, быть может, честное разбирательство покажет, что она была все-таки не такой уж постыдной, дрянной и никчемной. Это была работа на долгие месяцы, если не на годы. Я не собирался приукрашивать свое прошлое — вот уж нет! Я должен был тщательно припомнить обстоятельства моего детства, прежде чем взяться за юность, должен был прочесать юность, прежде чем перейти к дальнейшему. Не говорю — к зрелым годам, ибо юность сменилась деградацией. Да, я был обязан прощупать за самим собой во всех закоулках и темных углах, проследить во всех подробностях, как рождалось, и металось, и постепенно гнуснело мое «ненавистное Я», *le Moi haïssable*, как говорит Паскаль. Это была долгая работа, но, как уже сказано, с одним чрезвычайно выигрышным условием: я знал, что будет дальше, чем все кончится, и мог перелистать свою жизнь от начала до конца и с конца до начала. И это знание давало мне в руки изумительный инструмент прозрения. Не есть ли это высший закон писательства?

Я смотрел на дверь, постепенно до моего сознания дошло, что кто-то пытается ко мне войти. Положительно день был неудачный для работы. Только было начал я разбираться в своих мыслях, ловить, как рыбу в воде, мелькавшую передо мной первую фразу, как меня вновь отвлекли.

Произошло это в ту минуту, когда, уже готовый приняться за писание, я вдруг передумал, мне пришло в голову, что предварительно следовало бы изложить то, что известно о моем происхождении. Тут исходная информация была крайне скудной; я мог кое-что рассказать о моих родителях, но уже предыдущее поколение было погружено в тень. Простая мысль подсказала мне решение: не зная ничего или почти ничего о прародителях, я мог бы реконструировать их из материала, который был в моем распоряжении. Проследить постоянные черты моего характера, те, что обнаружились с раннего детства и остались на всю мою жизнь. Это и было бы то, что подарили мне мои предки, это были бы их черты. Предки толпятся за нашими плечами; мы — их совокупный портрет.

Я попытался представить себя четырехлетним, трехлетним; попробовал увидеть себя со стороны. И тут опять едва слышный звук заставил меня поднять глаза от тетради. Кто-то шарил и дергал в сених дверную скобу. Дверь толкали вперед, что было совершенно бесполезно, так как она открывалась наружу. Я встал и отворил. Снизу вверх на меня глядел карлик. Точнее, ребенок лет четырех.

Моя фантазия реализовалась так неожиданно и буквально, что в первую минуту я принял его за себя самого. Почему бы и нет — в этой заколдованной деревне все было возможно. На мне — ибо это был я! — была рубашонка, из которой я успел вырасти, на голом животе штаны, доходившие до колен, мои загорелые, детские, исцарапанные ноги были в башмаках без шнурков; это был я, хоть и не совсем такой, каким я мог себя вспомнить. Я вернулся к столу. Мы устали друг на друга, мы были одно и то же лицо, о нас можно было сказать, как гласит известная эпитафия: *tu eram ego egis* — я был тобой, ты будешь мною.

Наконец, я спросил: «Ты откуда взялся?» Ребенок все так же молча стоял у порога, открыв рот. «Тебя как зовут?» Он молчал, пялил на меня глаза, и я снова спросил, как он здесь очутился. «Мамка послала», — сказал он. Мы сошли с крыльца, мальчик вел меня мимо заколоченных изб и заросших бурьяном участков, печных труб, торчавших кое-где на месте бывших домов. Чье-то морщинистое лицо следило за нами из уцелевшей хибары. Так прошли мы почти всю деревню и оказались перед домом под железной свежеевыкрашенной крышей, с крепкими воротами под навесом, с деревянным кружевом вдоль скатов, с узорными, веселенькими, как голубой ситец, наличниками вокруг окон. Крылечко с резными столбиками, железная скоба для ног.

«Ты здесь живешь?»

«Не», — покачал головой мальчик-посланец, который при своем маленьком росте был все же старше, чем показалось.

На крыльцо вышла опрятно одетая женщина.

«Это и есть твоя мамка?»

«Да нет, это он меня так зовет, — промолвила хозяйка, и мальчик побежал прочь. — Он вон там живет, с бабкой. Да вы заходите...»

Я взмошел в некоторой нерешительности на крыльцо.

«Милости просим. Заходите. Надолго к нам?»

На кухне стояли крынки, пол устлан половиками. Мы познакомились, я назвал себя. «А меня Мавра Глебовна», — сказала хозяйка. Она подняла крышку в полу на кухне и полезла в погреб...

Я возвратился домой, неся холодную крынку с молоком. Она держала корову, муж работал в городе, под городом здесь подразумевался районный центр. Итак, у меня оказались соседи, и я не знал, надо ли этому радоваться.

После обеда я собрал на своем ложе ветхое тряпье, засунул в мешок и вынес в сарай. Теперь у меня была приличная кровать, белье, которое я привез с собой. Я подумывал о том, чтобы повесить занавески на окна.

В полудреме я видел сверкающую речку, прибрежные кусты и, как это бывает, когда засыпаешь, время от времени ловил себя на том, что мои мысли принимают причудливый оборот; я следил за ними, как бы отделившись от самого себя. Мне хотелось захватить их, как хватают за руку непослушного ребенка, в тот самый миг, когда они начинают ускользать от моего контроля, и тотчас же я подумал: причем тут ребенок? Мальш, стоявший на пороге, припомнился мне... Может быть, это был уже сон. Медленно, с наслаждением я повернулся на бок, подоткнул под себя одеяло, но довольно скоро мне стало жарко, я лежал на спине, усталости как не бывало; минутное забвение словно заменило мне ночь спокойного сна. В комнате было совсем светло, я снова подумал о занавесках. Одевшись, я вышел и сел на крыльцо; над рекой стояла туманная луна, значит, время было уже близко к полуночи. Оглушительно трещали кузнечики. Луна лишила меня сна. Ну и что? Завтра буду спать до полудня. Какая мне разница, я вольная птица, мне не надо смотреть на часы. Я мог превратить ночь в день, а день в ночь. Эта мысль привела меня в восхищение. Наконец-то я был свободен — от обязанностей, от рутины дня, от телефонных звонков, от женщин, приятелей, добрых знакомых, свободен от необходимости куда-то идти, что-то оформлять, где-то числиться, свободен от государства и мертвого времени народов. Робинзон! Робинзон на клочке земли посреди океана! Мне даже не пришлось пускаться в

дальнее плавание. Не так уж далеко пришлось ехать, стоило просто свернуть с шоссе. Достаточно было, набрав побольше воздуха в легкие, нырнуть на дно заводи. Я почувствовал — так мне по крайней мере казалось, — что подбираюсь к какой-то важной истине.

Некоторое время погода я шел среди черных трав под дымной луной к реке, где мерцал желтый огонь. Ноги цеплялись за сорняки, я потерял тропинку, огонек исчезал и появлялся, моргал мне навстречу, деревья расступились, тусклая река, как ртуть, блестела внизу, за излучиной стояло слабое зарево, свет дрожал на воде, костер горел на другом берегу. Вокруг ходили черные фигуры людей. Не было слышно голосов. Можно было разглядеть смутно озаренные лица, темная фигура приблизилась с охапкой валежника, и костер угас, но через минуту взвился к небу, полетели снопы искр, лица людей, кузов грузовика — все озарилось красным светом. Женщина, сидя на разостланной телогрейке, с младенцем на коленях, вынула грудь из расстегнутой кофты. Мужик сгребал угли, готовились ужинать; сидели кружком, перебрасывали на ладонях картофелины. Люди, которых никто не видел и не увидит, неизвестные, неопознанные граждане, бежавшие откуда-то, куда-то переселявшиеся. В кузове помещался зеркальный шкаф, в котором играл огонь. Два человека развязывали узлы, сваленные у колес, должно быть, устраивались на ночлег.

Грузовик стоял с потушенными фарами. Костер едва тлел, люди лежали, сбившись в темную массу, высоко в пустынном небе, окруженная влажным венцом, стояла маленькая луна, окрестность потонула в тумане. Стало сыро, зябко, должно быть, оставалось недолго до рассвета. Отворилась дверца грузовика, кто-то спрыгнул на землю. Голоногая женщина шла к воде. Она сошла, высоко подняв юбку, на узкую полосу песка, сбросила кофту, вышла из одежды, как бледный призрак с темным лицом, с сужающейся тенью в круглой чаше бедер, медленно водила ногой по воде, присела и со слабым плеском бросилась в реку. Течение отнесло ее в сторону. Она приближалась к берегу, взмахивая белыми руками, и вышла шагах в десяти от места, где я стоял. Вода стекала с ее плеч и бедер, как чешуя. Она собирала волосы на затылке. «Ах!» — сказала она вдруг и остановилась как вкопанная. Я

думаю, это был не столько страх нагой женщины, застигнутой врасплох, сколько страх за людей, которых выследил чужой и опасный человек. Она пятилась к воде. Я постарался скрыться. Потом прислушался: на другом берегу плакал ребенок. Заурчал мотор. Впереди за деревней занималась заря.

V

Маленькие приключения здесь превращались в события. Зевая во весь рот, приезжий стоял в потоке света на крыльце своего дома. Каждому, кто приезжает в русскую деревню, кажется поначалу, что жизнь прекратилась. Но жизнь идет. Неясные звуки доносятся с другого конца деревни, слабая музыка: радио. Курится дымок из трубы. Ковыляет старуха. Жизнь продолжается, пробивается, словно проточная вода, чтобы снова уйти под землю; жизнь не умерла, а заглохла, как старый сад, и затянулась вьюном; солнце в небе, такое же лучезарное, как вчера, высоко стояло над деревней, пустошью и рекой и так же восстанет и будет стоять, истекая светом, завтра. Чего доброго, думал пришелец, придется ставить палочки карандашом на притолоке или делать зарубки по примеру островитянина, чтобы не потерять счет дней.

Некий Аркаша обитал по соседству в жилище, которому трудно было бы подыскать название: хибара, логово, развалюха? Осевшая дверь с трудом открывалась прямо в избу, внутри ничего, кроме щелястых бревенчатых стен, печь обрушилась, завалив пол черными раскрошившимися кирпичами, в углах свалена рухлядь. Хозяин, в лоснящейся телогрейке, в старой шапке-ушанке, лежал на ложе из трех ящиков, застланных безобразным бесформенным тряпьем, и смотрел телевизор, который стоял на полу, к потолку тянулась проволока. Приезжий явился с дарами. Хозяин перевел взгляд с бормочущего экрана на посетителя, тот несмело осведомился, не может ли Аркаша соорудить ему душ.

«Чего?» — спросил Аркаша.

«Душ».

«А чего это?»

Местоимение «чего», как известно, может означать и что, и почему; из вопроса Аркаши невозможно было понять, спрашивает ли он, что это такое, или хочет узнать, зачем это понадобилось.

«А, — проговорил он, — так бы сразу и сказал». На другой день он притащил бак, трубы, доски, добыл железную печурку. Подъехала телега с тяжелой ржавой ванной. В огороде был воздвигнут сарайчик. На полу лежала деревянная решетка. Над ванной — два крана и длинная трубка с лейкой, которую можно было поворачивать, поднимать и опускать.

К делу! За стол... Попытки взяться за труд, созревший, как плод в чреве, и просившийся наружу, — оставалось только дать ему выход, — попытки эти натолкнулись на неожиданное препятствие; мне нелегко объяснить, в чем оно, собственно, состояло. Язык может быть помехой для речи, как ноги, по пословице, мешают танцевать. Я сидел у окна, перед глазами расстилалась зеленая пустошь. Я писал и зачеркивал начатое, не успевал закончить фразу, как она увядала и падала, словно высохшее растение. К полудню я сидел перед страницей, покрытой сверху донизу начатыми и брошенными строчками. Зачеркивание приняло какой-то извращенный характер, превратилось в постыдно-увлекательное занятие: не довольствуясь вымарыванием строк, я покрывал их густой сеткой линий; кончилось тем, что я обвел рамкой и старательно заштриховал всю страницу.

Расхаживая взад и вперед по избе, я разглядывал стены и вещи до тех пор, пока меня не осенило: ведь мой мозг продолжал работать, из строя вышел лишь механизм, который превращал поток мыслей в письменную речь; я подумал: а что если пренебречь этим механизмом, забыть о правилах последовательного рассказа, о логике изложения, вообще забыть о том, что я должен что-то «излагать», — одним словом: сбросить вериги словесности!

Раз навсегда избавиться от надзирателя, приставленного к нам, от контролирующего «я». Пораженный своим открытием, я остановился. Я попробовал исподтишка следить за собственной мыслью: предоставленная самой себе, она, как ручеек, устремлялась в каждую выбоину, то и дело меняя направление; она перескакивала с одного на другое и откликалась буквально на все; я взглянул на кровать и вскользь подумал о моей жене, перевел глаза на часы, на старый численник — и тотчас моя мысль устремилась вслед за словом «времяисчисление», я стал думать о календаре, мне представился

Египет, от Египта я перескочил на почтовые марки, вспомнил детскую коллекцию, мебель в нашей комнате, переулочек и латвийское посольство, мимо которого я ходил в школу. Тут я спохватился, что думаю о постороннем, и стал сворачивать ленту с конца: посольство — квартира моего детства — марки — календарь... Одновременно я думал и о другом, и о третьем, мысль моя цеплялась за все, что попадалось по дороге, и вместе с тем вопреки хаосу и кажущемуся разброду. В ней самой, без моего вмешательства, было внутреннее упорядочивающее начало. Отнюдь не логика, нет. Я уловил этот принцип, это организующее начало, когда попробовал вспомнить, о чем я думал только что, о чем думал перед этим и перед тем, как думал перед этим: моя мысль не была клочковатой, не рассыпалась, но каким-то образом сохраняла цельность; организатором было не что иное, как время, не имевшее, однако, ничего общего с тем, что обычно называют временем, — время моей мысли или, лучше сказать, время, которое и было моей мыслью.

Но я должен был оставаться начеку. Неусыпный страж — мое «я» — уже погромыхивал ключами от камеры, и стало ясно: то, что я пытался сейчас осознать, мои старания сформулировать фундаментальное свойство моей мысли были сами по себе не чем иным, как вмешательством контрольной инстанции. Это было как наваждение, я бегал по комнате, точно в карцере моего сознания, и за мной неотступно следовал, находил меня во всех углах взгляд надзирателя, наблюдавшего за мной сквозь тюремный глазок. И все же моя победа была в том, что я отдал себе отчет в существовании контроля, я сам следил за своим соглядатаем!

Вывод был следующий: существовало и постоянно присутствовало контрольное «я», назовем его оковами языка, назовем его письменной речью; но существовало и нечто другое — непрерывно ткущая себя мысль, эту мысль я должен был поймать на лету. Я уселся и торопливо стал писать о чем попало, едва успевая заносить на бумагу то, что приходило в голову, не заботясь ни о «стиле», ни даже о том, чтобы заканчивать предложения; надзиратель сердился и напоминал мне о синтаксисе; чтобы легче было писать, я выдрал из тетради десяток листов, я спешил, и чем быстрее двигалась моя рука,

тем стремительней неслась вперед моя мысль. Это напоминало погоню за тенью. Я остановился. За полчаса я испещрил ворох двойных листов своими каракулями, я написал столько, сколько не удавалось мне сочинить за неделю.

Я избобрел велосипед. Должно быть, каждый изобретает его в свое время. И я подозреваю, что истинный резон автоматического письма в духе какого-нибудь Бретона не в том, что оно будто бы наступает некое первичное состояние нашего сознания. Нет, причина — страх перед пустыней чистого листа. Я собрал ворох исписанной бумаги, с удовлетворением глядя на свою работу. Это продолжалось недолго. Как всякий, кто занимается литературой, я обзавелся корзиной. И вот я сидел и поглядывал на корзину, где, свернутые в трубку, покоились призраки моего мозга. Меня переполняло отвлечение к самому себе.

Словно кого-то вырвало в корзину этой словесной кашей. Вместе с тем (как и бывает после рвоты) я испытывал облегчение. Сидя на ступеньках крыльца, я грелся на солнышке. День сиял невыносимой красотой и полнотой жизни, которая безмолвствует, погруженная в созерцание самой себя. Меня тянуло в луга. Душа моя жаждала покоя и ясности, жаждала языка и стиля, адекватного этой ясности. Как можно было об этом забыть? Всякое небрежение языком есть покушение на достоинство личности.

Нет! Ясность и простота. Сдержанность. Лаконизм. Сидя на крыльце, с тетрадью на коленях, я начертил:

«Я родился в понедельник 16 января 19... года в городе, который носит имя вождя революции. Я имел неосторожность родиться в день и час, когда Венера жестоко повреждена соседством Сатурна, в год, когда над старым континентом уже клубились облака войны...»

VI

Неплохое начало; и все же я задумался, не лучше ли мне начать с обстоятельств, предшествовавших моему рождению. Впрочем, и это был вопрос второстепенный. Я понял, что мои упражнения отвлекли меня от главной задачи.

Отчитаться перед самим собой, как если бы я предстал перед высшим судилищем, которому все известно. Стать од-

новременно судьей и подсудимым, злодеем и мстителем, да, отомстить себе и отомстить жизни, разведать все ее темные углы, где прячутся мерзкие ползучие существа. Пусть разбегутся во все стороны! Звучит эффектно. Можно сформулировать иначе. Я должен был вновь обрести себя. У меня было чувство, что я растерял, растратил свою личность.

Вот о чем следовало поразмыслить... Мое духовное существо было расчленено, ядро моей личности было в трещинах. Семейная жизнь моя не удалась. Попросту говоря, у меня не было семьи. Во всяком случае, моя бывшая супруга сделала все от нее зависящее, чтобы наш ребенок, прелестная белокурая девочка, забыла обо мне. Женщины, с которыми я поочередно был связан, разочаровались во мне одна за другой, и если случалось, что я первым прерывал отношения, то лишь потому, что чувствовал — ничего путного не получится, я не смогу ее удержать, лучше уйти первым. О моей «профессии» здесь уже говорилось. Религия никогда не была моим убежищем. Общественные идеалы, патриотизм? Я слышать не могу эти слова!

Считается, что в нашей стране человек прикован за руки и за ноги к государству: прописка, работа, военкомат, личное дело там, личное дело здесь, все эти цепи и цепици; надо где-то числиться, надо жить на одном месте и так далее. Всевозможные спецотделы, управления и целые министерства заняты учетом, сравнением, наблюдением, а между тем мне известно множество людей, которые успешно вегетируют в щелях нашего огромного государства, нигде не работают и непонятно на что живут. Людей, которых следует с точки зрения законов и инструкций считать правонарушителями и с которыми ничего не происходит, оттого ли, что нарушителей слишком много, или оттого, что так много инструкций. Да, считается, что человеку некуда бежать, а между тем не так уж далеко пришлось ехать, чтобы очутиться там, где я теперь жил или, лучше сказать, затаился, и деревня казалась мне именно такой щелью, и тяжелый каток государства, который разъезжал взад-вперед и утюжил все подряд, прокатывался над ней и, в сущности, ничего не мог с ней поделывать.

В моей жизни был даже случай, когда я поступил в какой-то институт народного хозяйства, а именно в очно-

заочную аспирантуру — так это называлось, и начал корпеть над диссертацией, но скоро понял, что моя работа не стоит выеденного яйца. Я не стал ничего предпринимать, просто перестал появляться в институте, перестал звонить моему научному руководителю, и меня оставили в покое. Из этого незначительного эпизода я сделал важный практический вывод: назойливость государства пропорциональна назойливости просителя; имея дело с официальными инстанциями, разумней по возможности ничего не предпринимать; не надо увольняться, вас и так уволят, не надо «сниматься с учета», пройдет сколько-то времени, и это произойдет автоматически, ваше имя завянет, и его вырвут из грядки; можно выбыть и никуда не прибыть, и вообще следует всюду, где только можно, считаться выбывшим.

Так обстояло дело с моей карьерой... Но не в том суть, что, оставив позади молодость, я никем не стал, а в том, что я больше не видел смысла своего существования; все прочее было следствием этого порой мигающего, как страшная догадка, порой ясного, как холодный свет, сознания. Отрешиться от всех побочных соображений, от тщеславия, от самолюбования, от мысли о читателе — отстраниться от самого себя — было для меня так же необходимо, как уехать, ни с кем не прощаясь. Теперь предстояло вести разговор с глазу на глаз с единственным собеседником — самим собой. Или, если угодно, вызвать его на поединок и хладнокровно смотреть, как ведет себя под дулом пистолета тот, другой...

Думая об этом, я решительно зачеркнул написанное и принялся писать заново, говоря о себе в третьем лице. Я начертил свое имя и проставил дату рождения, опустил астрологические сведения, которые показались мне смешными. В кратких выражениях мною были очерчены жилищные и социальные условия моих родителей. Простой грамматический прием, местоимение «он» вместо «я» разрешило все трудности. «Так началась его жизнь...» — написал я и остановился.

Проклятие литературного языка, коварство повествовательного процесса тотчас дали о себе знать, как будто меня поймали с поличным. Глаголы рассказывали, прилагательные описывали, существительные называли. Сам того не замечая, я раздвоился на повествователя и литературный пер-

сонаж, но ни тот, ни другой уже не были мною. Я описывал воображаемого себя, следуя правилам игры, которая, как всякая игра, помещала меня в условное пространство. В мир, называемый словесностью. Простая и обескураживающая истина: сама грамматика безличного повествования превращала меня в «автора», чья объективность была все тем же старым, банальным, давным-давно разоблаченным трюком. Персонаж, о котором я наивно думал, что это и есть я, был подобен фантому, который вышел из зеркала, чтобы, склонившись над моим плечом, диктовать мне свои привычки, свои условия: якобы правду жизни. Какая там правда, это были правила литературы.

Нет, я ничего не выдумывал, мой герой в самом деле родился в указанный срок у моих родителей; но и родители, в свою очередь, едва только я упомянул о них, стали «действующими лицами», марионетками кукольного театра литературы. Я ощутил чудовищный деспотизм беллетристики, не жизнь, а литература диктовала моим персонажам свои правила и условности, управляла моим сознанием, как дворцовый этикет управляет придворными и самим монархом.

«Повествование», — сказал я; а кто же повествователь? Во всяком случае, не тот, кто сидел на табуретке за столом и уныло поглядывал на деревенскую улицу. Ибо я уже не чувствовал себя самим собой. Другими словами, я был дальше от своей задачи и цели, чем до того, как раскрыл тетрадь; я стал «писателем», то есть перестал жить собственной жизнью, погрузился в топкое месиво текста и бродил там безликой тенью — слышалось только чавканье ног, которые я выдираю из трясины, чтобы снова увязнуть. Я стал условной фигурой, как бы несуществующей, но на самом деле моя анонимность, мое всезнание были не более чем роль; в лучшем случае я был режиссером этого кукольного спектакля.

Солнце перевалило на другую сторону неба и светило в избу; давно пора было подумать о еде. Мне не оставалось ничего другого, как изложить на бумаге все эти соображения, проблематику моего писания. Увы! Она тоже превращалась в литературу, в пресловутую рефлексию, которая так же неизбежна в современном романе, как описания природы в романах девятнадцатого века.

VII

Собака скулила в избе. Спящий проснулся и сел. Собака стояла перед кроватью и смотрела на него, виляя хвостом. Он видел ее блестящие глаза. Путешественнику хотелось спать, он погладил ее и улегся, собака тянулась к нему, он лежал на спине, свесив руку, собака вспрыгнула на кровать и положила обе лапы ему на грудь. Очевидно, она была исполнена самых добрых чувств, но ему было жарко, душно, он старался ускользнуть от ее языка, крутил головой; кончилось тем, что спящий протрезвел окончательно. Всем известны эти промежуточные состояния, когда сон, отличаясь от действительности своей причудливой логикой, несколько не уступает ей в других отношениях или когда действительность все еще принимают за сон. В избе горел свет.

Некто в рубахе и портках сидел перед керосиновой лампой, поджав босые ноги под табуреткой. Перед ним на столе были разложены бумаги, он листал приходо-расходную книгу, время от времени его рука перебрасывала костяшки на счетах. У порога стояли его сапоги, портянки висели на голенищах. На гвозде у притолоки — брезентовый армяк и старая шляпа.

Услыхав вопрос приезжего, мужик обернулся, он был лысый, лет под пятьдесят, в никелевых очках, черты лица трудно разобрать, он загоразивал лампу. «Это я тебя хочу спросить, — сказал он, — что ты тут делаешь!»

«Живу», — сказал постоялец.

«Живешь. А по какому такому праву?»

«Да ни по какому». Приезжий объяснил, что дом принадлежит брату.

«Вот именно что ни по какому. Какой еще брат?»

Приезжий пожал плечами.

«Документ есть?» — спросил человек с ударением на «у».

«Какой документ?»

«Документ, говорю, на право-жительство».

Путешественник сказал, что он может показать паспорт.

«На кой ляд мне твой паспорт? Интересно получается, — сказал мужик, потирая колени, — законы у вас такие, что ль?»

Приезжают в чужой дом, живут. А ты у меня спросил, прежде чем вламываться-то? Разрешения спросил?»

«Двоюродный брат, — сказал жилец, — купил избу у прежних владельцев».

«Купил! Ишь покупатель нашелся. У каких это таких владельцев? Вот сейчас вышибу тебя отседа к едреней матери со всем твоим барахлом. У владельцев... Я владелец!»

Приезжий попросил не рыться в его бумагах.

«Не твое песье дело! — проворчал мужик, не оборачиваясь. — Еще приказывать мне будет... Нет тут твоих бумаг... Вот, оно самое, вот тебе и акт, пожалста: мною, уполномоченным... Чего? — спросил он. Сидящий на кровати ничего не ответил, мужик продолжал читать: — В присутствии представителя сельсовета и понятых... Знаем этих гавриков. Вечно тут крутились, ети их... Мною, уполномоченным. Сего числа проведено обследование хозяйства гражданина деревни... района... Обследование гражданина. Меня, стало быть. Обнаружено... Чего тут обнаружено? Дом в двух избах под одной крышей, одна изба восемь на восемь средней сохранности, вторая один на восемь ветхая. Какая ж ветхая, чего они тут пишут? Еще сто лет простоит. Двор 20x12, средний...» — читал он.

Приезжий хотел спросить, где же тут вторая изба, или имеется в виду сарай? Пламя коптило, мужик подкрутил фитиль, пододвинул к себе лампу, поправил за ушами оглобли очков.

«Из скота: лошадь мерин гнедой масти, 20 лет, плохая, жеребенок подросток 2 года, коров — одна 6 лет, вторая во дворе принадлежит гражданке Воиновой за отсутствием своего двора... Телка полтора года, поросенок весом 3 пуда... тэ-эк-с. Инвентарь... Косилка средняя двухконная, плуг деревянный однолемешный, телега на деревянном ходу с колесами. Одни часы с боем... Они тут висели; куды часы дел?»

«Никуда не дел, — сказал приезжий, — вон они висят».

«Два самовара. Один из них плохой. Семья состоит из следующих лиц... Вот, — сказал он. — Черным по белому прописано, а они что творят? Хозяйство было обложено в текущем налоговом году по сельхозналогу в инди... ви-дуальном порядке на сумму 129 руб. 15 коп., за вымочку озимого посева сложено 15 руб.».

Путешественник спросил: «Что это значит?»

«За вымочку, дожди шли два месяца. Все озимые вымокли. Вот черным по белому. Настоящая комиссия относит хозяйство Громовых к группе середняцких. Ясно? Иль неясно?.. Средняцких! — Он стукнул кулаком по столу. — А они чего делают? Я спрашиваю. Куды хозяйку мою дели? Детей куды развезли?»

Снаружи послышался чей-то голос. Мужик растворил окно.

«Ну чего тебе?»

Голос из темноты что-то ответил.

«Подождешь».

Там снова что-то сказали.

«Подождешь, говорю; сейчас поедем... Вот так, — пробормотал ночной человек, наворачнул на босые ступни портянки и сунул ноги в заляпаные глиной сапоги. — Ты вот что, — сказал он. — Пока живи. Я разрешаю... Все лучше, чем домуто пустовать. А то последнее добро растащут. Я, может, еще вернусь. Вот тогда поговорим. Я им еще покажу, кто тут хозяин! Нет такого закона, чтоб у человека дом отнимать».

«Вернусь... — думал приезжий. — Что за чертовщина?»

VIII

Как и в первый раз, Мавра Глебовна вышла навстречу городскому гостю, опрятная, круглолицая, широкобедрая, с малиновым румянцем. Возраст? Если ей было под сорок, то она выглядела старше своих лет, для сорока пяти казалась слишком молодой. Мавра Глебовна была родом из округи, а здесь проживала лет семь или восемь, дом достался мужу от пожилой незамужней сестры. Хотели сначала продать, да кто ж его купит?

«Вот этот дом?» — спросил приезжий удивленно. Она усмехнулась. Этот купили бы: этот сами построили. А тот разобрали. «Да что ж мы стоим-то...» Вошли в дом.

За выбеленной печью находилась горница с образами в красном углу, в отороченных кружевами полотенцах, с подлампадиками на цепочках. Далее еще одна комната за занавеской, подвязанной шнуром. Там был виден стоящий боком зеркальный шкаф-шифоньер, в овале отражались никелиро-

ванная спинка кровати, белизна подушек и кружевной подзор. Муж Мавры Глебовны, как уже сказано, работал в районном центре. Гость сидел за столом в первой комнате, пил прохладное молоко, поддакивал.

Она сказала:

«Вы заходите, если что, я всегда дома. Может, продуктов каких надо, хозяин привозит. Да я и сама схожу, тут у нас село недалеко. — Магазин находился в Ольховке, верстах в десяти, расстояние по здешним понятиям небольшое. — Хлебо-то у вас есть?»

Гость поблагодарил и хотел подняться.

«Сидите, куда спешить... А вы кто же будете?»

В деревне расспросы — знак вежливости. Оказалось, впрочем, что Мавра Глебовна все знает от Листратихи. Это была, по-видимому, та старуха, с которой жил ребенок, давеча навестивший приезжего. Мавра Глебовна развязала платок. У нее были темно-русые ореховые волосы.

Договорились, что она будет покупать продукты, приезжий поспешил вручить ей деньги. «Да вы не беспокойтесь, сочтемся...»

«Ай-я-й, — сказала она, войдя к нему на другой день, — как же это вы живете?» Она разыскала ведро, швабру, приезжий бегал за водой на колодец, Мавра Глебовна мыла пол, подоткнув юбку, растворила окна, сожгла мусор в печке, вынесла вон старую одежду и полусгнившие валенки. Когда он снова вошел в избу, она сидела на табуретке боком к столу, расставив босые ноги с широкими ступнями крестьянки, и завывала косички на затылке.

Прошло еще несколько дней; однажды, проходя по деревне, он увидел перед новым домом грузовик.

Парень в ватной телогрейке выгружал какую-то кладь. Сам хозяин в майке и в галифе из синего коверкота стоял на украшенном столбиками крыльце; увидав новое лицо, он сошел не спеша по ступеням. «Здорово, — сказал, протянув ладонь, и представился: — Василий. Слышал о тебе. Заходи».

Генерал-изобретатель крылатых штанов не мог предвидеть, что они обессмертят его имя в загадочной полувосточной стране, где он никогда не был. История галифе есть часть

истории этой страны; галифе цвета грозового неба сделались униформой вождей революции, как и ее врагов. Со временем крылья стали шире, туда можно было засовывать руки до самых локтей. Просторный покррой отвечал духу страны. И до сих пор синие галифе, вправляемые зимой в бурки, летом в сапоги, донашивает начальство районного масштаба. Хозяин дома был высок, дороден, могуществен, с бритым кожаным черепом и загорелым затылком; вослед за ним, оттерев подошвы о железную скобу — жест почти ритуальный, знак почтения к дому и его обитателям, — поднялся и вступил в сени пишущий эти строки.

На столе, на белой накрахмаленной скатерти, были расставлены тарелки, узкие граненые рюмки, ситный хлеб нарезан широкими ломтями. Хозяйка внесла дымящуюся кастрюлю с половником и разлила по тарелкам густые золотистые щи. Явилась белая от инея бутылка.

«Егорий, — позвал хозяин. — Егор!..» Парень вошел в избу, стягивая на ходу телогрейку.

Из кухни доносился стук рукомойника. Василий Степанович ждал с откупоренной бутылкой. Мавра Глебовна с передником в руках, который она отвязала, собираясь сесть за стол, смотрела, наклонясь, в окошко.

«Кого там леший несет?» — проворчал хозяин.

Медленно отворилась дверь, в кухне у порога переминался друг Аркаша. Он пробормотал что-то вроде того, что не знал, что тут гости.

«Ладно, — сказал Василий Степанович. — Садись».

Мавра Глебовна принесла табуретку из кухни, поставила рюмку, глубокую тарелку, налила щей.

Хозяин провозгласил:

«Что ж, будем, как говорится, знакомы!»

Они бодро чокнулись. Парень по имени Егор молча выпил свою рюмку, Аркаша ждал, когда чокнутся с ним, не дождался и тоже выпил.

«А ты чего ж?» — заметил Василий Степанович. Жена пригубила рюмку. Молча, обжигаясь, принялись за щи. Хозяин обсасывал огромную кость. Хозяйка подала миску, Василий Степанович бросил кость, она тотчас вынесла миску.

«Так, значит, — проговорил он, разливая водку. Не обращаясь прямо к приезжему, он на сей раз употребил дипломатическое множественное число. — Решили, значит, у нас пожить. А чего ж, у нас хорошо, воздух чистый... Надолго?»

Приезжий из Москвы ответил, что еще сам не знает, надеется остаться до осени.

«Отпуск, что ль?»

«В этом роде».

«Это хорошо. У нас хоть не больно весело, зато жизнь настоящую узнаете. Как народ живет. Аркашка подтвердит. Ты что скажешь? Вот он, народ-то».

Аркаша усердно загребал щи, а парень, с которым приехал Василий Степанович, буркнул:

«Какой там народ, народу-то не осталось».

«Есть еще народ, куда он денется. Аркашка! О тебе говорят, ты чего молчишь?»

Аркаша кивнул и взялся за рюмку.

«Ты постой, куда лошадей гонишь? Надо тост произнести».

Все смотрели на гостя. Путешественник поднял рюмку и предложил выпить за здоровье хозяев — Василия Степановича и Мавры Глебовны. Хозяин одобрительно кивнул, хозяйка принялась было собирать со стола тарелки.

«Али кто добавки хочет?»

«Давно щец не ел, давай еще полчепачка... Чего ж это, Егорушка, ты нас за народ не считаешь?»

«Вы, Василий Степаныч, не в счет».

«М-да... выпьем для ясности».

Мавра Глебовна унесла тарелки и появилась с большой чугунной сковородой.

«Хо-хо, — сказал Василий Степанович, потирая руки, — в гостях хорошо, а дома лучше! Братва, налетай».

Все накладывали себе сами, хозяин показал бровями на опустевшую бутылку, Мавра Глебовна принесла вторую.

«Я тебе так скажу... — заговорил Василий Степанович, перейдя снова на “ты”, что одновременно означало некоторую степень близости и согласие взять гостя под начальственную опеку. — Ты чего не пьешь-то? Давай, будем здоровы...»

Приезжий поспешно схватился за рюмку.

«Я тебе так скажу, это между нами... Что они тут знают? Ничего. А я знаю. Я в кругах вращаюсь. Сколько средств вкладывают в это самое сельское хозяйство, сколько денег ухлопано, уму непостижимо. Вот теперь новое постановление должно выйти. Это я говорю не для разглашения... О крутом подъеме в нечерноземной полосе».

Василий Степанович поднял голову от тарелки, смерил взглядом приезжего и несколько неожиданно закончил:

«А толку, между прочим...»

Он махнул рукой, последовало новое предложение выпить для ясности. После чего, хлопнув себя по ляжкам, сказал:

«Ладно! Надо собираться».

«Куды ж теперь, — заметила Мавра Глебовна, — на ночь глядя? Только приехали, и назад».

«Надо. Послезавтра в райкоме отчитываемся».

«Вот завтра и поедете. Как вы сюда-то доехали: мост, говорят, провалился».

«А зачем нам мост? Мы через Ольховку».

Путешественник спросил, далеко ли находится райцентр.

«Далеко не далеко, а ехать надо. Егор! Собирайся. Вот я и говорю, — продолжал Василий Степанович, — средствá есть, техника есть, все есть. А работать некому. Народ такой пошел, все в город норовят. Сами видите, — он указал на Аркадия, — только вот такие и остались. Развивать сельское хозяйство. Легко сказать; развей его. Вот я сам работаю в сельском хозяйстве. Я район как свои пять пальцев знаю. Было шестьдесят колхозов. Разукрупнили. Сделали пятнадцать. А что толку? Его хоть разукрупный, хоть не разукрупный. Эва, полюбуйся на него, — сказал Василий Степанович, кивая на Аркашу, который сидел, свесив голову с мокрыми, слипшимися волосами. — Колхозничек... Эй, землячок! Аркашка! Проспишь все царство».

В ответ Аркадий проговорил что-то.

«Громче! Не слышу».

«А я чего, я ничего», — сказал Аркадий.

«Вот то-то и оно, что ничего!» — заметил наставительно Василий Степанович.

«Домой ступай, посидел — и хватит», — приговаривала Мавра Глебовна, пытаясь вытащить Аркашу из-за стола. Гость вызвался помочь, вдвоем закинули себе на плечи руки Аркадия и повели домой.

«Чего привязались-то? — Он лежал на лоснящемся от мазута тряпье. — Тить твою...»

Вышли из вонючей хибары на волю. Мавра Глебовна вздохнула.

«Благодать-то какая! Век бы жила здесь».

Он спросил, что же ей мешает здесь оставаться.

«Да Василий Степаныч хочет в город насовсем переселиться. Новую квартиру дают».

«А как же хозяйство?»

«Распродать. А я не могу. Как это я свою корову продам? Да и кому продавать-то?»

«Мне продай», — сказал Аркадий, выходя на порог.

«Эва, — сказала Мавра Глебовна, — покупатель нашелся. Да ты и корову доить не умеешь».

«Чего ж тут уметь? Тяни за сиськи, и все дела».

«Иди спи».

«Сама иди! Я уж выспался».

«Ладно, Аркаша, — промолвила Мавра Глебовна. — Люди меж собой разговаривают, ты не встревай».

IX

Казалось, что прекрасной погоде не будет конца, но спустя несколько времени новое удивительное явление природы изумило и озадачило жителя деревни; возвращаясь с прогулки, он увидал за рекой над лесами необыкновенный закат. Слепящее солнце опускалось, как в могилу, в магму лиловых облаков — подозрительный знак надвигающегося ненастья. Так и случилось, и даже скорей, чем предсказывала примета: кинжалы молний исполосовали небо, едва лишь спустилась ночь; вдали заурчало, зарокотало, грохнуло над деревней; всю ночь шумел ливень, приезжий из города поднимал голову с подушки и смотрел во тьму, где угадывались окна, а под утро заснул так крепко, что проспал добрую половину дня; часы показывали совершенно невообразимое время. Пошатываясь, он прошлепал по темной избе и приник к окошку: все струи-

лось, все обволоклось мокрой ватой облаков, временами, остервенясь, дождь хлестал в стекло. Дачник пил из чайника остывший чай, выбегал в огород по малой нужде — там все звенело и шелестело, дрожа от холода, лежал под одеялом, поверх которого было брошено пальто и еще что-то, и снова опустилась ночь, и во сне он слышал все тот же однообразный звон дождя. Его разбудил стук в дверь на крыльце, было мутное, серое утро; он выбрался из-под груды тряпья, отворил, соседка, босая, с мокрым подолом, с клеенкой, брошенной на голову и плечи, с крынкою молока под мышкой, вошла следом за ним через влажные сени в избу и оглядела стены и потолок: крупные капли падали на полку в красном углу, под окнами на полу образовалась лужа. Мавра Глебовна отодвинула стол, выжала в ведро под рукомыйником мокрую тряпку, выплеснула ведро в огород. Он слышал, как зашлепали ее ноги в сенях, она стояла на пороге, высокогрудая, простоволосая, с блестящими глазами. Жилец спросил: «Надолго это?» — «А кто ж его знает? Бывает, что и неделями. Авось пройдет, — добавила она, — потерпи маленько». Он пил молоко, завернувшись в одеяло. Мавра Глебовна собралась уходить. Оказалось, что Василий Степанович, приехавший в субботу, был вынужден остаться в деревне. «Куды ж теперь? Небось все развезло».

Дождь лил, моросил, снова лил, дождь шел подряд две недели, жилец чертил карандашом на стене палочки, боясь, как Робинзон, потерять счет дням, и, когда наконец на почернелых стенах избы слабо заиграло солнце, он увидел, выбравшись на крыльцо, что стоит на берегу реки, из воды поднимались ступеньки, не было больше ни улицы, ни пустоши, вдали смутно рисовались полузатопленные деревья, мутные глинистые воды, поблескивая там и сям, степенно влеклись в золотом тумане, а в вышине, между серыми облаками выглядывало ярко-голубое небо. Было тихо, тепло, вокруг все дымилось и капало.

Невдалеке по стремнине вод, качаясь, плыли обломки чего-то, щепки, валенки, куски рогожи, старые игрушки, проскочил — ножками кверху — продавленный венский стул. Проплыл, переворачиваясь, захлебываясь в воде и вновь появляясь, громоздкий странный предмет, напоминавший пря-

моугольную пасть, — это была клавиатура рояля. Следом за роялем река несла лодку, на корме сидел мужик с гармонью, рядом с ним краснолицая простоволосая тетка, похожая на семгу, которая пела, широко раскрывая рот. Гребец, сидя напротив, с усилием ворочал веслами.

«Эй, землячок!» — закричал он. Лодка подплыла к крыльцу, парень ухватился за ветхий столбик и вспрыгнул на ступеньку. «Земеля, закурить есть?» Жилец вынес круглую, из-под карамели, железную коробку с самосадом, оставленную ночным посетителем. Он как-то даже забыл об этом визите, о собаке, вскочившей к нему на кровать, и лысом хозяине в никелевых очках, и коробка напомнила ему о нем. «Чего торчишь тут? — сказал парень, закуривая. — Поехали с нами». — «Куда?» — «А куда-нибудь, чего тут делать-то?» Жилец возразил: «Мне и здесь хорошо». — «Чего ж тут хорошего. Ну, как знаешь».

Солнце начало припекать, река блестела так, что больно было смотреть, и темные фигуры в удаляющейся лодке уже едва можно было различить. Из-за полузатопленной хижины вышел по грудь в воде голый татуированный сосед Аркаша, держа в руках телевизор. Сделав несколько шагов, передумал, повернул назад, скрылся за углом своего жилища и выплыл с другой стороны, уже без телевизора, приветствуя горожанина белозубой улыбкой. Вода несла Аркашу на простор, он умело развернулся, уцепился за угол, взобрался на крышу, проваливаясь ногами сквозь драпку, стащил с себя мокрые порты, разложил сушиться и лег загорать. Солнце пылало с небес.

Х

Задавшись целью исследовать мою жизнь буквально ab ovo, я решил начать, как Тристрам Шенди, с рискованной сцены — реконструировать миг зачатия; судя по дате моего рождения, это событие совершилось в мае. Конечно, тут невозможно было обойтись без некоторой доли художественного вымысла или, вернее, домысла, ибо ничего необычного тут не могло быть; и, в конце концов, разве самый добросовестный историк не обязан порой возмещать недостаток фактов правдоподобной догадкой? Можно предположить, что дело происходило на рассвете выходного дня. Не хочу называть его

воскресеньем, так как революция упразднила христианскую неделю, заменив ее шестидневкой, каковая существовала еще в дни моего детства. Итак, сотворение человека произошло на шестой день, после чего создатель вкусил заслуженный отдых. Будущие родители вновь погрузились в сон.

Замечу, что, когда мы говорим: нас никто не спрашивал, хотим ли мы родиться, — то при этом как бы подразумевается, что мы уже некоторым образом существовали до того, как началось наше реальное существование. Иначе некого было бы спрашивать. Продолжая эту мысль, придется допустить, что мы сами виноваты в том, что появились на свет: это нам захотелось быть, и не кто иной, как мы, ещё не существуя, стали вожделением наших родителей. Мысль, впрочем, не новая.

Я лежал, покрытый легкой испариной, под бледно-розовым, толстым, пуховым и нежным, как пух, стеганым одеялом, на белоснежной простыне, уйдя головой в мягкую подушку; я покоился, словно усталый воин, вернувшийся из похода, или как ребенок, которого взяли к себе в постель, на высоком и узковатом для двоих ложе, уткнувшись лицом в мягкую, ароматно-пышную и напоминающую белый калач полубогаженную грудь моей любовницы, время от времени, как кот, открывал глаза и видел перед собой крупный темно-розовый сосок, вдыхал запах молока и перезрелых ягод, смешанный с запахом легкого и чистого женского пота, и всей моей кожей, ногами, животом чувствовал кожу Мавры Глебовны.

Да, как ни удивительно, это была Мавра Глебовна, ее комната с подвязанной шнуром портьерой, с вышитыми занавесками на окнах, ее никелированная кровать и зеркальный шкаф, так что, приподнявшись, я мог видеть ее негустые, рассыпанные ореховые волосы и рядом, над ее круглым плечом, другое лицо, показавшееся мне диким в черно-серебряном стекле. Вот так гость, подумал я, не странно ли, что все так обернулось, а впрочем, если подумать, то что тут было странного? И я снова погрузился в мякоть ее груди, испытывая неодолимую дрему, которая охватывает в неподвижный, приглушенно-жгучий, затянутый облаками полдень, и в полудреме, на дне наших душ, в крестце, в ущелье ног сызнова пробудилось желание, на этот раз тяжелое и ленивое, как расплавленный металл.

Некоторое время спустя, окончательно очнувшись, я услышал ее голос: «Сколько же это время, батюшки?.. Этак все проспим!» — выбрался из-под одеяла и зашлепал в сени, а воротившись, увидел, что она сидит, накрыв ноги, на высокой кровати, уже в рубашке, со свисающими из-под одеяла широкими желтоватыми ступнями и, подняв крепкие локти, обнажив подмышки в коротких рукавах, завязывает косички на затылке; она повернула ко мне круглое лицо с сияющими, как бывает после сна, глазами, вздохнула всей грудью, словно после выполненной работы, так что ее рубашка с прямым вырезом высоко поднялась и опустилась, мельком оглядела себя, свою грудь и живот, расправила на ногах одеяло и едва заметно усмехнулась.

«Ты что, Маша», — проговорил я, это имя как-то непривольно выговорилось у меня, хотя никто, как выяснилось, никогда ее так не называл. Я смотрел на нее, и вид ее тела, скрытого под рубашкой, широкие плечи и короткая полная шея наполняли меня каким-то легким счастьем. «Ничего, — промолвила она, — дивлюсь я...» — «Да?» — спросил я осторожно. «Как это у нас вдруг получилось — сама не пойму». — «Вот так и получилось», — сказал я. Мне хотелось добавить, почему же это «вдруг»? Все, что произошло сегодня утром, мой визит в дом-терем с резными столбиками и запертыми воротами, она на крыльце, с извинениями, что не успела принести мне вовремя, как обычно, парного молока, и наше сидение в горнице, за тем самым столом, за которым пировали мы с Василием Степановичем, душный облачный день и короткие малозначащие реплики; мне казалось, что все это происходило в нарочито замедленном темпе, словно исподволь готовя нас к тому, что должно было случиться: медленно поднялась и вышла из-за стола Мавра Глебовна, подошла к окну, и невольно следом за нею встал и я, чтобы что-то увидеть в окошке, хотя знал, что ничего нового там нет, медленно и как будто нехотя двинулась она в другую комнату, мельком взглянув на меня, сняла с кровати подушки и отдала их мне, чтобы я держал их, покуда она снимала и складывала пикейное одеяло, вдвое, потом еще вдвое, потом взяла у меня подушки, взбила их, хотя они и без того были взбиты, обтянуты свежими наволочками и лежали рядом, как две горы, встрях-

нула и расстелила широкое супружеское бледно-розовое одеяло и остановилась, опустив голову, схватившись за пуговицы кофты, как будто задумалась на минуту или хотела сказать: может, не надо? может, ни к чему это совсем?

«Чего ты стоишь, мне, чай, одеться надо, — сказала она мягко. — Поди, что ли, там посиди». Я все еще медлил, держа в руках свою одежду; Маша покачала головой. «Вот так, чего уж теперь, раз так получилось, — бормотала она, просовывая руку сквозь вырез рубашки, спуская рубашку с плеч, продевая руки в бретельки широкого лифчика. — Судьба, значит. Отвыкла я от таких дел... — Она повела плечами, взвесила в ладонях шары груди в чашах лифчика. — Ну чего ты, али не нагляделся?»

Немного погодя, сидя за столом в светлой горнице, я вскочил, чтобы открыть ей дверь, и с немалым удивлением увидел мою хозяйку, несущую потный и фыркающий, ярко начищенный самовар; тотчас на него был водружен низкий и пузатый, с побуревшим носиком, фаянсовый чайник с заваркой, и на чайнике, прикрыв его, как наседка, своими юбками, воссела тряпичная, румяная, как свекла, баба в желтом платочке. Я уж и забыл, когда последний раз пил чай из русского самовара.

«Вот теперь попьешь», — промолвила Маша. На душе у меня было чувство глубокого мира. Не так уж далеко пришлось ехать, достаточно было только свернуть с асфальтовой дороги на проселок, но мне казалось, что я заехал в такую даль и глушь, до которой никому не добраться.

«Послушай, Маша...» Почти против воли я задал этот вопрос, мне не хотелось касаться этой темы; налив, по ее примеру, чай в блюдце, я старательно дул на него, как в детстве дул на горячее молоко, стараясь отогнать пенки, только теперь я сидел прямо, держа блюдце перед губами. Мавра Глебовна перебила меня:

«Какая я тебе Маша!»

Я возразил: «Мне так больше нравится. А тебе разве нет?.. Скажи, Маша, — продолжал я, — ты ведь замужем?»

«Ну», — сказала она спокойно.

«А говоришь, отвыкла».

«Мало ли что! Бывает, что и замужем, а отвыкают».

Самоварная баба полулежала, утонув в своих юбках, на столе, я протянул Мавре Глебовне чашку, она налила мне крепкой заварки и нацедила кипятку.

Помолчав, я сказал, что в моем доме творятся странные вещи. Ночью мужик приходил.

«Какой еще мужик?»

«Бывший хозяин. Я думаю, — сказал я, усмехнувшись, — эта изба заколдованная. Вся деревня какая-то странная».

«Скажешь! Деревня как деревня».

Я пожал плечами.

«И чего он?»

«Сказал, что я не имею права здесь жить».

«Он те наговорит. Один приходил?»

Я объяснил, что кто-то ждал на улице; какие-то люди, я их не видел.

«Ну и этого тоже считай, что не видел».

«Да он передо мной сидел, за моим столом, вот как ты сейчас».

«Ну и что? Мне тоже, — сказала она, — разные черти снятся».

«Ты его знаешь?»

«Кого?»

«Мужика этого».

«Да ты что? Он, чай, давно уж помер».

Она подняла на меня ясные глаза.

«Милый, — сказала она, — поживешь, привыкнешь».

В сенях послышался шорох. Мавра Глебовна встала и впустила малыша, похожего на карлика.

«К мамке в гости пришел? — сказала она. — Чай с нами будешь пить?»

Мальчик ничего не ответил, сидя на коленях у Мавры, потянулся к вазочке и схватил несколько конфет.

«Куды ж столько? Ты сначала одну съешь. — Мальчик полез с колен. — Ну, поди, бабку угости».

Его башмаки зашлепали на крыльце. Длился, истекал зноим нескончаемый полдень, занавешенный белыми облаками.

Я спросил: где его родители?

«В городе. И носа не кажут. Вот так и живем. Еще чайку? Ну-кося, — сказала она, — дай руку».

«Зачем?»

«Руку давай, говорю».

«Ты что, гадалка?»

«Гадалка не гадалка, а сейчас все про тебя узнаю».

«Я сам могу рассказать».

«Откуда тебе знать? Никто пути своего не знает».

Она разглядывала мою ладонь, поджав губы, как смотрят, проверяя документы.

«Что же там написано?»

«А все написано».

Я сжал руку в кулак.

«Разожми. Боишься, что твои тайны узнаю? Эва! Долго жить будешь, три жены у тебя будет».

«Откуда это известно?»

«Известно. Вот, видишь — первая, вот вторая. А вот там третья».

«Одна уже была».

«Значит, еще две будут».

Я засмеялся: «Что-то уж слишком много».

Она рассказывала:

«Василий Степанович у меня хозяйственный, все достает, если что надо, рабочих привезет. Жаловаться грех. Не знаю, — проговорила она, — может, у него там в городе кто и есть».

«Отчего ты так думаешь?»

«Да чего уж тут думать, коли у нас с ним ничего не получается. И так, и сяк, а в избу никак. Может, я уже старая. А может, силы у него нет, вся сила в заботы ушла, его на работе ценят».

«Детей у тебя нет?» — спросил я.

«Нет. Была девочка, от другого, да померла».

«И у меня, — сказал я, — была девочка».

XI

Не могу сказать, чтобы работа моя подвигалась бодрым темпом, говоря по правде, она почти не двигалась. Не внешние, а внутренние причины были тому виной. Раздумывая над своим проектом, я обнаружил опасность, о которой давно сле-

довало подумать: риск потерять свою личность. Смешно сказать: то, за чем я охотился, что хотел восстановить, заново отыскать, отшелушить, как ядро ореха, — оно-то как раз и ускользало от меня.

Я должен был отдать себе ясный отчет в этой опасности: намерение реконструировать свою жизнь — месяц за месяцем, а если можно, день за днем, не упустив ни одной мелочи на дне моей памяти, ни одной тени в ее подвалах и закоулках, — неизбежно приведет к тому, что я не увижу за деревьями леса. Я предчувствовал, что из этого получится: старательное перечисление мельчайших событий прошлого заслонит, поставит под сомнение то, что было исходной посылкой всей этой затеи: уверенность в том, что я — это я, нечто единое и в основе своей неизменное.

Мои воспоминания о младенчестве можно было сравнить с клочками разорванного письма, плывущими по воде, с трудом можно было прочесть на них размытые обрывки слов. Начиная с какого-то времени, они сменялись более или менее четкими эпизодами, подчас даже чрезвычайно четкими, но это была скорее память о вещах, чем о людях, чьи лица по-прежнему представлялись светлыми пятнами; эти эпизоды казались чрезвычайно значительными, хотя невозможно было понять, почему именно этот случай, эта, а не какая-нибудь другая домашняя вещь, картинка в книжке, чья-то мимолетная фраза или уличная вывеска впечатались в память; постепенно число их множилось, вещи обступали меня, и я готов был предположить, что на самом деле я помню все и храню все впечатления в архивах моего мозга. Но неразвитость психического механизма, того самого, упорядочивающего начала, несовершенство, о котором я мог теперь судить задним числом, мешало мне выстроить цепочку, мешало поднять целиком со дна памяти то, о чем я, как водолаз, мог судить, лишь обходя вокруг погружившийся в ил корабль моего детства, раздвигая водоросли и всматриваясь в темные иллюминаторы...

Таковы были первые три или четыре года жизни, когда мое «я» было скорее условием того, что все это некогда существовало, нежели чем-то первичным — автономным сознанием. Позже я замечал, что возвращаюсь к уже знакомым мес-

там, связь лиц и происшествий была не хронологической, но подчинялась иному закону, вроде того как товары в магазине разложены отнюдь не по датам их изготовления; я даже думаю, что сделал некоторое открытие, обнаружив среди завалов памяти область уже достаточно упорядоченную, но все еще не подвластную деспотизму времени. Вскоре, однако, — само это слово «вскоре» говорит о том, что время взяло реванш, — хронологический принцип восторжествовал: начиная с шести или семи лет я обрел непрерывность своей жизни и плетусь дальше в своих воспоминаниях, держась за канат времени.

Это скомканное, смятое, складчатое время воспоминаний, которое я пытаюсь разгладить, чтобы восстановить то, навсегда ушедшее время жизни. И вот тут меня подстерегает капкан! Чем больше я втягиваюсь в процесс «восстановления», тем гуще и тесней становится моя память, похожая на многонаселенную коммунальную квартиру; подробности обступают меня: вещи, лица, песни, запахи, — и, когда наконец я застаю мое «я» уже полностью сформированным, оно убегает от меня, мелькает за рухлядью жизни, за обстановкой комнат, на лестницах и чердаках, за мокрым бельем, развешанным во дворе, и пропадает в переулке, где я помню каждый дом. Голоса зовут меня с улицы, и мне некогда оставаться наедине с собой.

Спрашивается: не есть ли мое «я», каким его возвращает прошлое, чистое «я» воспоминаний, не отягощенное анализом, не удвоенное моим сегодняшним «я», — не есть ли оно простая сумма этих впечатлений? Нечто такое, чего попросту нет вне впечатлений, пресловутая *tabula rasa*?

Я снова стал думать о том, что ошибка — в выбранном мною способе изложения, в соблазне объективизма. Я намеревался составить протокол своей жизни, пожалуй, что-то вроде естественно-научного описания; мне казалось, что таким способом я сумею объяснить самому себе свою жизнь. Передо мной маячил призрак метаязыка, на котором я смог бы выразить истину о самом себе, как бы выбравшись из собственной шкуры и воспарив над своим «я». Но такого языка не существует.

Погруженный в размышления, я пересек огородное поле, вода все еще хлюпала под ногами, я обходил лужи и озерца,

пробирался между кустами, стоящими в воде, вышел на берег. Река вернулась в свое русло, но прибрежная полоса песка была еще затоплена. Я брел вдоль берега, обходя заводи, в засученных брюках, перекинув через плечо связанные шнурками ботинки, постепенно мои мысли приняли другое направление, можно сказать, что они следовали изгибам реки. Мутные вздувшиеся воды катились мне навстречу, река бежала все быстрее, воды блестели, кое-где обнажился песчаный берег в ключьях травы, в пятнах грязной пены, усыпанный черными щепками, мокрым мусором, брошенным на полдороге, поток бурлил, образовав горловину, кустарник превратился в лес, река неслась между глухими зарослями, я заметил полузатопленную переправу, вода перекачивалась через поваленное дерево. Привязанная к торчащим вверх обломкам корней, качалась и билась о ствол барка, полная воды, она напомнила мне ту, в которой плыли гармонист и баба-семга.

ХII

Далекий призрак лесов. Эти слова показались мне удачным заголовком для моего будущего труда. Я начертил их на отдельной странице и любовался ими, прежде чем понял, что они все-таки не годятся. Они отвлекали меня от цели. Они пришли мне на ум еще тогда — сколько же дней прошло с тех пор? — когда впервые, выйдя на крылечко, я обвел очарованным взглядом окрестность. Туманная, то тёмная, то пепельно-голубая кромка на горизонте, манящий призрак — сколько до него ни шагай, никогда не дойдешь. Этот ландшафт наводил на мысль о мифическом времени, где ничего не происходит или, вернее, все происходит одновременно. Не оттого ли моё детство превратилось для меня в средневековую сагу, деревянные башенки, непременную принадлежность дачной архитектуры, воображение преобразило в башни рыцарских замков?

В шлеме с крестообразной прорезью, с мечом и щитом, на котором был намалеван мой герб, я стоял у калитки в предвкушении вражеского набега, еще я не успел загореть, мои ноги еще не были искусаны комарами: последнее лето на даче, последний, может быть, день детства. Мы выехали из города накануне, на грузовике, где стояли корзины, стулья,

кухонный стол, патефон, ванночка, швейная машина, плетеная бутылка с керосином, — все это, перевязанное веревками, дрожало и дребезжало, я подскакивал на матрасе рядом с мамой, голова моего отца виднелась в заднем стекле кабины, он сидел рядом с шофером и показывал дорогу. Отцу оставалось жить полгода: был ли он убит или замерз в лесах, когда огромное войско, несколько армий, попало в окружение, неизвестно. Машина расплескивала лужи, покачивалась на толстых корнях и мягко катила по лесной дороге; стоя перед калиткой в шлеме и латах утром следующего дня, поджидая вражеское полчище, я не знал, что вторжение уже началось на рассвете.

Я вспомнил, что сегодня как раз этот день, если только даты не перепутались в моей голове. И день этот, восстав в моей памяти, отказывался вернуться в прошлое, как если бы в самом деле все совершалось одновременно или русло времени искривилось бы и обогнуло войну. Или если бы, очутившись в том времени, я увидел будущее во сне.

Тут было все, что бывает в классическом сновидении: переправа, дорога, усадьба, дом с деревянной башенкой, веревочный гамак на двух крюках, ввинченных в деревья, — я не верил моим глазам. Всё казалось мне плагиатом моего младенчества; я подумал, что сам становлюсь действующим лицом чьей-то памяти или чужого сна: не я грезил, меня грезили.

Но прежде я должен вернуться к томительно-жарким часам после полудня, к этому эпизоду, открывшему череду новых событий; а я было уже решил, что здесь вообще ничего не происходит.

Виной всему был мой образ жизни, вялое сидение на крыльчке, прохладное молоко в крынке и пухлая, зовущая к себе грудь соседки Мавры Глебовны. Едва начатая рукопись на моем столе тревожила мою совесть, я не отказался от своего замысла или по меньшей мере внушал себе, что не имею права отказаться, иначе что же мне делать, куда деваться от самого себя? И все же, положи руку на сердце, эта моя работа, то, что я так самодовольно именовал работой, ради чего скрылся от всех, — ведь это было весьма сомнительным развлечением! И не более того. Помню, как в детстве, увлеченный новым проектом, я с жаром принимался за дело, раскрывал

новенькую тетрадку, писал, чертил, рисовал, — и вдруг что-то рушилось, и я чувствовал, что игра, едва начавшись, мне наскучила, и я не мог понять: что в ней можно было найти интересного? Каким вздором, думал я, показался бы мой нынешний проект, мои усилия и сомнения, какой непозволительной забавой, — человеку другого времени, моему отцу; он просто не мог бы понять, чем я, собственно, занимаюсь.

Или прав был Василий Степанович, и жизнь в деревне должна была вернуть меня к подлинной действительности, о которой я, может быть, и понятия не имел, к «народу», этому потерявшему смысл понятию, но которое все еще что-то означало, — и возродить мое писательство, другими словами, возродить свою личность, моё утраченное «я»?

Короче говоря, надо было встряхнуться. В этот раз я избрал другой путь, переправился вплавь и побрел напрямик через поля к рожице. Я шел и шел без всякой мысли и цели в густой траве, и роца, казавшаяся издали совсем небольшой, вставала и раздвигалась мне навстречу. Я пробирался через подлесок, шагал среди мхов, между упавшими стволами, время от времени менял направление, выбрался на поляну; солнце, постепенно опускаясь, сверкало между деревьями, мое путешествие затянулось. Лес поредел, но вместо опушки устланная иглами тропа привела меня к воротам.

Собственно, это были остатки ворот, каменные столбы, штукатурка осыпалась, обнажилась кирпичная кладка. Дорога со следами колес перешла в липовую аллею. Спустя немного времени я оказался на широком лугу перед домом с террасой, с башенкой и поникшим выцветшим флагом, с поблескивающими на солнце окнами.

Дача, наследница рыцарского замка! Дачу можно считать потомком барской усадьбы, а та, в свою очередь, ведет свое происхождение от надела, полученного в дар от монарха. Кто-то лежал в гамаке, свесилось одеяло. Кто-то ехал по аллее. Лошадь мелькала между деревьями; свесив ноги с телеги, ехал Аркаша. Я повернул к аллее и шагал ему наперерез, но, кажется, он делал вид, что не замечает меня. Я выбежал на дорогу. Телега остановилась. «Слушай-ка, а я и не знал, что...» — проговорил я. «А чего», — сказал Аркадий. «Ты тут работаешь?» — «Да какая это работа», — возразил он. «А ло-

шадь откуда?» — «Председатель дал». — «Какой председатель?» «Председатель колхоза». — «Да какой тут колхоз, что ты мелешь?» — «Колхоза нет, а председатель есть».

Он ждал следующего вопроса.

«Аркаша, — спросил я, наконец, — а что это за люди?»

«Которые?»

«Да вот там». Я указал на компанию, сидевшую в беседке за самоваром.

«А... — пробормотал он. — Живут».

«Как они сюда попали?»

«Как попали... Да никак. Ты-то как сюда попал? Жили и живут. А чего, места у нас хорошие, воздух. Н-но!» Лошадь тронулась.

ХIII

Путник приблизился к беседке. Хозяин, грузный человек с лоснящимся красным лицом, без пиджака, в цветном жилете и с бабочкой на шее приветствовал его иронически-ободрительным жестом. Хозяйка промолвила:

«Милости просим. — И позвала: — Анюта!»

«Не беспокойтесь, мамап. Я сама принесу», — сказала молодая девушка и побежала, придерживая платье, к дому. Она вернулась с чашкой и блюдцем, ему налили чаю, пододвинули корзинку с печеньем.

«Сливки?»

Гость поблагодарил. «Простите, — пробормотал он, — что я так неловко вторгся, позвольте представиться...»

«Мы о вас слыхали», — сказал хозяин.

«Откуда?»

«Да знаете ли, земля слухом полнится. Не так уж много тут у нас соседей. Вы ведь в деревне живете, не так ли?»

«Да, если это можно назвать деревней...»

«Вот, — сказала, пропустив мимо ушей это замечание, хозяйка и указала на господина средних лет, который сидел очень прямо и выглядел весьма импозантно, со слегка седеющими баками, в сюртуке, высоком воротничке с отогнутыми уголками и сером галстуке с жемчужной булавкой, — разрешите наш спор. Петр Францевич утверждает, что...»

«Мама, это неинтересно».

«Нет, отчего же... Мы, знаете ли, увлеклись теоретической беседой. Петр Францевич считает, что смысл нашей отечественной истории, не знаю, верно ли я передаю вашу мысль, Пьер... одним словом, что весь смысл — в отречении».

Приезжий изобразил преувеличенное внимание. Петр Францевич солидно кашлянул.

«Если эта тема интересует господина... э... (Приезжий поспешно подсказал свое имя и отчество.) Если вас это интересует. Я хочу сказать, что... когда мы окинем, так сказать, совокупным взглядом прошлое нашей страны, то увидим, как то и дело, и притом на самых решающих поворотах истории, русский народ отрекается от самого себя. Да, я именно это хочу сказать: отрекается. Славянские племена, устав от взаимной вражды, призывают к себе варягов...»

«Эта теория оспаривается», — заметил гость.

«Да, да, я знаю... Но позвольте мне продолжать. Призвание варяжских князей, отказ от собственных амбиций. Но зато удалось создать прочное государство. В поисках веры принимаем греческое православие — опять отказ от себя, опять отречение, но зато Россия становится твердыней восточного христианства. Приходит Петр, и наступает новое, может быть, самое великое и болезненное самоотречение: от традиций, от национального облика, — ради чего? Ради приобщения к западной цивилизации, и в результате Россия превращается в европейскую державу первого ранга. Остается еще одно, последнее отречение...»

Хозяин, по имени Георгий Романович, внушительно произнес:

«Х-гм! Гм!»

«Вы не согласны?» — спросил приезжий.

«Я? Да уж куда там...»

«Pardon, — сказал приезжий, — мы вас перебили».

«Остается четвертый и последний шаг — признать религиозное главенство Рима!»

«Ну уж, знаете ли», — засопел хозяин.

«Да что это такое? — сказала хозяйка. — Жорж, ты все время перебиваешь! Дай же наконец Петру Францевичу высказать свой avis...¹»

«Я прекрасно понимаю, — сказал Петр Францевич, — что моя теория, впрочем, какая же это теория, речь идет об исторических фактах, против которых возразить невозможно... Я очень хорошо понимаю, что мой взгляд на историю России может не соответствовать мнению присутствующих. Но коли наш гость... Простите, — он слегка поднял брови, — я не знаю, в какой области вы подвизаетесь, или, может быть, я не слышал?»

Путешественник промямлил что-то.

«М-да, так вот. Позвольте мне, так сказать, рекапитулировать. Обозрев в самом кратком виде отечественную историю, мы убеждаемся, что она представляет собой ряд последовательных отказов от собственной национальной сущности во имя... во имя чего-то высшего. Признав главенство папы, склонившись перед римским католицизмом, Россия завершит великое дело всей западно-восточной истории: осуществит христианскую вселенскую империю. Именно Россия, ибо ни одно другое государство не имеет для этого достаточных оснований... Но, господа, величие обязывает! Я говорю не о патриотизме. И не о шовинизме, упаси Бог, я по ту сторону и традиционного православия, и узко понятого католичества, я в лоне вселенской Церкви».

«А вам не кажется, что при таком взгляде наша история выглядит не очень привлекательно, русский народ оказывается уж слишком пассивен...»

«Вот именно, — подхватил хозяин, — ты, матушка, не так уж глупа!»

«Георгий Романыч!» — сказала хозяйка укоризненно.

«Вот именно. Хгм!»

Она спросила:

«Еще чашечку? Вы, наверно, скучаете».

«Нет, что вы, — возразил приезжий, — у меня вопрос, если позволите...»

¹ Взгляд, мнение (*фр.*)

Петр Францевич приосанился. Но тут произошла заминка. Маленький инцидент: два мужика, на которых уже некоторое время с беспокойством оглядывалась хозяйка, подошли к сидящим в беседке.

XIV

Два человека, по виду лет за пятьдесят, один впереди, щупая землю палкой, другой следом за ним, положив руку ему на плечо, оба в лаптях и онучах, в заношенных холщовых портах, в продранных на локтях и под мышками, выцветших разноцветных кафтанах с остатками жемчуга и круглых шапках, когда-то отороченных мехом, от которого остались теперь грязные клочья, с лунообразными, наподобие кокошников, нимбами от уха до уха, остановились перед беседкой и запели сильными пропитыми голосами. Вожатый снял с лысой головы шапку и протянул за подающим.

«Это еще что такое? — сказал Петр Францевич строго. — Кто пустил?»

Слепцы пели что-то невообразимое: духовный гимн на архаическом, едва ли не древнерусском языке, дореволюционный царский гимн и «Смело товарищи в ногу», все вперемешку, фальшивя и перевирая слова. Прервав пение, вожатый забормотал, глядя в пространство белыми глазами: «Народ православный, дорогие граждане, подайте Христа ради двум братьям, слепым, убиенным...»

«Господи... Анюта! Куда все подевались? Просто беда, — сказала, отнесясь к гостю, хозяйка. — Прислуга совершенно отбилась от рук».

«Мамочка, это же...» — пролепетала дочь.

«Этого не может быть! — отрезала мать. — Откуда ты взяла?»

«Мамочка, почему же не может быть?»

Отец, Григорий Романович, рылся в карманах, бормотал:

«Черт, как назло ни копыя...»

Петр Францевич заметил:

«Я принципиальный противник подавания милостыни. Нищенство развращает людей».

«Боже, царя храни», — пели слепые.

«Надо сказать там, на кухне... — продолжала хозяйка. — Пусть им дадут что-нибудь».

«Может быть, мне сходить?» — предложил гость.

«Нет, нет, что вы... Сейчас кто-нибудь придет».

«Интересно, — сказал приезжий, — как они здесь очутились. Если не ошибаюсь, они были убиты, и довольно давно. Вы слышали, как они себя называют? Подайте убиенным».

«Совершенно верно, убиты и причислены к лику святых. А эти голодранцы — уж не знаю, кто их надоумил. Недостойный спектакль! — возмущенно сказал Петр Францевич. Слепцы умолкли. Шапка с облупленным нимбом все еще тряслась в руке вожатого. — Обратите внимание на одежду, ну что это такое, ну куда это годится? Уверяю вас, я знаю, о чем говорю. В конце концов это моя специальность... Вспомните известную московскую икону, на конях, с флажками. Я уж не говорю о том, что князя — и в лаптях!»

Братья наклонили головы и, казалось, внимательно слушали его. Девушка произнесла:

«Может быть, спросим...»

«У кого? У них?» — презрительно парировал Петр Францевич.

Хозяйка промолвила:

«Наш народ такой наивный, такой легковерный... Обмануть его ничего не стоит».

«Как назло, ну надо же... — бормотал Григорий Романович. — Ma chère, у тебя не найдется случайно...»

«Кроме того, — сказал приезжий, — они были молоды. Старшему, если я только не ошибаюсь, не больше тридцати...»

«Совершенно справедливо!»

Наконец явился Аркадий с деловым видом, с нахмуренным челом, в рабочем переднике и рукавицах.

«Аркаша, пусть им что-нибудь дадут на кухне».

«Да они не голодные, — возразил он, — на поллитра собирают».

«Боже, — вздохнула хозяйка. — Что за язык!»

«Кто их пустил?» — спросил строго Петр Францевич.

«Сами приперлись, кто ж их пустит! Давно тут околачиваются. Ну, чего надо, гребите отседова, отцы, нечего вам тут делать!.. Давай, живо!» — приговаривал Аркаша, толкая и по-

хлопывая нищих, и компания удалилась. Наступила тишина, хозяйка собирала чашки. Петр Францевич, заложив ногу на ногу, величаво поглядывал вдаль, покуривал папироску в гра-ненном мундштуке.

«Вы, кажется, хотели мне возразить», — промолвил он.

«Я?» — спросил приезжий.

«Вы сказали, у вас есть вопрос».

«Ах да! — сказал приезжий. — Я не совсем понимаю. Каким образом можно согласовать вашу концепцию с тем, что произошло в нашем столетии?»

Петр Францевич с некоторым недоумением взглянул на гостя, как бы видя его впервые.

«Что вы имеете в виду?» — спросил он холодно.

«Что я имею в виду? Ну, хотя бы революцию и... все, что за ней последовало. По-вашему, это тоже самоотречение?»

Петр Францевич ничего не ответил, а хозяин осмотрелся и спросил:

«Где же Роня?»

Оказалось, что дочки нет за столом.

Путешественник почувствовал, что выпал из беседы.

«Разрешите мне откланяться, — пробормотал он, вставая, — ваша уютная дача, я назвал бы ее поместьем...»

Хозяйка мягко возразила:

«Это и есть поместье, здесь мой дед жил».

«Да, но... Угу. Ах вот оно что».

«Заглядывайте к нам. Будем рады».

«Спасибо».

«Мы даже не спросили, как вам живется в деревне».

«Превосходно. Люди очень отзывчивые».

«О да! Где еще встретишь такое добросердечие?.. Я так люблю наш народ».

«Я тоже», — сказал приезжий.

Он не удержался и добавил:

«Но знаете... Это поместье и моя деревня — это даже трудно себе представить. Два разных мира. Куда все это провалилось?»

«Провалилось? Что провалилось?»

«История, — сказал приезжий. — Мы говорили об истории».

«Я так не думаю», — сопя, сказал Григорий Романович.

«Не следует ли сделать противоположный вывод? — вмешался Петр Францевич. — А именно...»

«Где же это Ронечка?»

«Позвольте, я поищу ее».

«Да, да, сделайте одолжение... Смотрите, какие тучи».

Постоялец вернулся домой, промокший до нитки.

XV

Проснувшись перед рассветом, я угадывал в потемках жалкое убранство моей кельи, мне до смерти хотелось спать, но заснуть я уже не мог. Настроение мое было смутным, в мыслях разброд. С одной стороны, я был рад новым знакомым, а с другой — как быть с моим намерением сосредоточиться, остановить свою жизнь? Меня встретили весьма приветливо, и я предчувствовал, что не удержусь от искушения продолжить знакомство. Надо бы расспросить Мавру, наверняка она что-нибудь слышала об этих людях. Солнце уже сверкало позади моей избы, я фыркал под холодным душем, мне стало весело, я вернулся в мою сумрачную комнату; прихлебывая кофе, я озираю разложенные на столе письменные принадлежности, и голова моя была полна разнообразных планов.

Все, что происходило со мною в последние недели, могло бы послужить предисловием к моей работе; я подумал, что следовало бы описать приезд, описать всепутешествие, которое теперь представлялась мне почти символическим. Перед глазами стоял первый день, заляпанная грязью машина, заколоченные окна деревенского дома. Я увидел себя стоящим на пороге моего будущего жилья, стройные предложения, как световая надпись, бежали у меня в голове, не хватало лишь первой фразы. Это был хороший признак: я знал, что писанию всегда предшествует замешательство, короткая пауза с пером, повисшим над бумагой. Вроде того как лошадь переступает ногами на одном месте, раскачивает оглоблями тяжелый воз, прежде чем нажать плечами и двинуться вперед, кивая тяжелой головой. Я прибегаю к известному приему. Окунув перо в чернильницу, поспешно начертил первые пришедшие на ум слова:

«Не так уж далеко пришлось ехать, но едва лишь свернули на проселочную дорогу, как стало ясно, что...»

Моя рука снова зависла над бумагой, я перечеркнул написанное и начал так:

«Два окошка, выходящие на улицу, были крест-накрест заколочены серыми и потрескавшимися досками. Шофер вытащил из багажника железный ломик и...»

«Молочка! — раздался голос Мавры Глебовны. — Ба, — сказала она, входя в избу, — да ты уже встал».

Она поставила передо мной крынку и уселась напротив. Умытая, ясноглазая, мягколицая. На ней был чистый белый платок, она подтянула концы под подбородком.

«Чего так рано-то?»

«Да вот... — проговорил я, все еще с трудом приходя в себя, ибо инерция включенности в писание может быть так же велика, как инерция, мешавшая двинуться в путь по бумажному листу. — И я показал на то, что лежало на столе, скудный улов моей фантазии. — А ты уж и корову подоила?»

«Эва, да я знаешь, когда встаю? Все ждала, будить тебя не хотела».

«Я тоже рано встал».

«Отчего так? Куды торопиться?»

«Не спится, Маша».

«Мой-то, — сказала она, понизив голос, — в область уехал. Совещение или чего».

Область — это означало «областной центр», от нас, как до звезд.

«Он у тебя важный человек».

«Да уж куда важней».

Наступила пауза, я поглядывал на свою рукопись.

«Я чего хотела сказать. Василий Степаныч все одно до воскресенья не приедет... Может, у меня поживешь?»

«Неудобно, — сказал я. — Увидят».

«Да кто увидит-то? Аркашка, что ль? Он вечно пьяный. Или на усадьбе работает. Листратиха, так и шут с ней».

«Послушай-ка... — пробормотал я, взял ручку и зачеркнул неоконченную фразу. Мне было ясно, что не нужно никаких предисловий; может быть, позже мы вернемся к первым дням, а начать надо с главного. — Что это за усадьба?»

Ответа не было, я поднял голову, она смотрела на меня и, очевидно, думала о другом.

«Чего?»

«Что это за люди?»

«Которые?»

«Ну, эти».

«Люди как люди, — сказала Мавра Глебовна, разглаживая юбку на коленях. — Помещики».

«Какие помещики, о чем ты говоришь?»

«А кто ж они еще? Ну, дачники. Вроде тебя».

Вздохнув, она поднялась и смотрела в окошко. Я налил молока в кружку.

«В старое время, еще до колхозов, были господа, вот в таких усадьбах жили, — раздался сзади ее голос. — Я-то сама не помню, люди рассказывают. Деревня, говорят, была большая, землю арендовали».

«У тех, кто жил в этой усадьбе?»

«Может, и у тех, я почему знаю. Их потом пожгли. Тут много чего было. И зеленые братья, и эти, как же их, — двадцатитысячники».

«Пожгли, говоришь. Но ведь дом цел».

«Может, не их, а других. Люди говорят, а я откуда знаю?»

Я сидел, подперев голову руками, над листом бумаги, над начатой работой, мои мысли приняли другой оборот. Смысл моего писания был заключен в нем самом. О, спасительное благодеяние языка! Письмо — не средство для чего-то и не способ кому-то что-то доказывать, хотя бы и самому себе; письмо повествует, другими словами, вносит порядок в наше существование; письмо, думал я, укрощает перепутанный до невозможности хаос жизни, в котором захлебываешься, как тонущий среди обломков льда.

Она обняла меня сзади, я почувствовал ее мягкую грудь.

«Отдохни маленько».

«Я только встал!» — возразил я, смеясь.

«Ну и что?»

«Работать надо — вот что».

К кому это относилось, ко мне или к ней, не имело значения; мы перебрасывались репликами, как мячиком.

«Куды спешить, работа не волк».

«А если кто войдет?»

«А хоть и войдет. Кому какое дело?»

«Еще подумают...»

«Ничего не подумают. Да кому мы нужны? Ну чего ты, — сказала она мягко, — не хочешь, что ль?»

«Хочу», — сказал я.

«Ну так чего?»

Мы направились по пустынной улице к ее дому. Ни облачка в высоком небе. В горнице отменная чистота, массивный стол — теперь на месте хозяина восседал я — был накрыт белой скатертью. Бодро постукивали ходики. Мавра Глебовна внесла шипящую сковороду, спустилась в подпол, выставила на стол миску с темно-зелеными, блестящими, пахучими огурцами. Я разлил водку по граненым рюмкам.

Она раскраснелась. Она стала задумчивой и таинственной. Медленно водила пальцем по скатерти. Мы не решались встать.

В дверь скреблись, вошла, подняв хвост, мраморного цвета кошка и вспрыгнула на колени к Мавре Глебовне.

«Пошла вон!..»

Гость сидел, несколько развалясь, упираясь затылком в спинку высокого резного стула, это была, несомненно, барская мебель, сколько приключений должно было с ней произойти, прежде чем она водворилась здесь! Водка подействовала на меня, время застеклилось, самый воздух казался стеклянным, и кровать, как снежный сугроб, высилась в другой комнате. Хозяйка встряхивала двумя пальцами белую кофту на груди, ей было жарко. Я смотрел на нее, на ее полную белую шею, на огурцы и тарелки, на мраморно-пушистого зверя, неслышно ходившего вокруг нас, мне казалось, что сознание мое расширилось до размеров комнаты; если бы я вышел, оно вместило бы в себя весь мир до горизонта. Я заметил, что думаю и воспринимаю себя без слов, думаю о вещах и обзираю вещи, не зная, как они называются, это было новое ощущение, насторожившее меня. Я склонился над столом и, стараясь сосредоточиться, тщательно налил ей и себе.

Подняв глаза, я встретился с ее взглядом, но она смотрела как бы сквозь меня.

«Ну что, Маша?..»

«А?» — сказала она, очнувшись.

«Я что-то забалдел. У тебя водка на чем настояна?»

«А ты кушай. Кушай... Эвон, сальцом закуси».

«Я сыт, Маша».

«Сейчас с тобой отдохнем. Я тебя ждала».

«Сегодня?»

«Я, может, десять лет тебя ждала».

Раздался стук снаружи, я слышал, как Мавра Глебовна говорила с кем-то в сенях. Она вернулась.

«Давай, что ли, еще по одной...»

«Давай», — сказал я. Она поднесла рюмку к губам, я залпом выпил свою.

«Кто это?»

«Листратовна, кто ж еще, глухая тетеря».

«Что ей понадобилось?»

«Да ничего, сама не знает. Увидала небось, пришла поглядеть...»

«Ну вот, я же говорил».

«Милый, — сказала она, — чего ты беспокоишься? Ну, увидела, ну, узнала. Да она и так знает. И шут с ними со всеми! Я тебе так скажу... — Она вздохнула, разглядывая рюмку, отпила еще немного и поставила. — Если б и Василий Степаныч узнал, то, знаешь... Может, и рад был бы».

«Рад?»

«Ну, рад не рад, а, в общем бы, сделал вид, что ничего не знает».

Я ковырял вилкой в тарелке, она спросила:

«Может, подогреть?»

Кошка сидела на подоконнике. Мавра Глебовна продолжала:

«Василий Степаныч человек хороший. Я ему век благодарна. Заботливый, все в дом несет. У нас, — сказала она, — ничего не бывает».

«Что ты хочешь сказать?»

«То, что слышишь. Неспособный он. Я ему иногда подсоблю — так, поиграю с ним, да это все не то. Уж и к докторам ходил. А чего доктора скажут? Электричеством лечили, на курорт ездил. Вроде, говорят, переутомление на работе».

«Ты мне уже рассказывала...»

«А рассказывала, так и еще лучше. — Она широко и сладко зевнула. — Устала я чего-то. Не надо бы мне вовсе пить... А может, и напрасно, — проговорила она, взглянув на меня ясными глазами, — я с тобой связалась... А? Чего молчишь-то?»

Ее пальцы, которые я теперь так хорошо знал, отколупнули пуговку на груди, закрыв глаза, она лежала среди белых сугробов на своей высокой кровати, под вечер доила корову, среди ночи вставала и босиком, в белой рубашке, возвращалась с ковшиком холодного, острого кваса. И кто-то шастал под окнами. Мы пили, и обнимались, и погружались в сон. Наутро голубой день сиял между занавесками и цветами, сверкал никелевым огнем и отражался в зеркале, и смутные образы сна не разоблачали перед нами свою плотскую подоплеку, разве только объясняли на причудливом своем языке моему постылому «я», так много значившему для меня, что оно обесценилось в круглой чаше ее тела, в запахе ее подмышек.

И вот... странное все-таки дело — человеческий рассудок, странное существо, хочется мне сказать, ведь он и ведет себя, как отдельное существо, упорно отстаивающее себя; лежа рядом с моей подругой на высоких подушках, бодрый и отдохнувший, предвкушая завтрак, я не мог не размышлять, и о чем же? Я раздумывал о том, как я буду описывать эти, не какие-нибудь попутные, не хождение вокруг да около, а вот именно эти события в моей автобиографии, и сомнения готовы были вновь одолеть меня, я испытывал определенную неловкость, не потому, что «стыдно» (впрочем, и поэтому, ведь стесняешься не только случайного читателя, но и самого себя), а скорее от того, что в таких сценах есть какая-то неприятная принудительность. В наше время автор просто принужден, обязан описывать альковные сцены, иначе писанию чего-то не хватает. Чего же: правды? Если бы кто-нибудь мог объяснить мне, что такое правда... Описанная вплотную, когда водишь носом по ее шероховатой поверхности, пресловутая правда жизни искажается до неузнаваемости. У нас нет языка, который выразил бы смысл любви, ее банальную неповторимость, не жертвуя при этом ее внешними проявлениями.

Не так-то просто отвертеться от этой церемониальной процедуры, от этого торжественного акта, от уплаты по векселю, — и кому не приходилось преодолевать внутреннее сопротивление, приступая к исполнению долга, который налагают

на нас величие минуты, ситуация, участь женщины и честь мужчины? Что-то похожее происходит с литературой: дошло до того, что без «этого» литература как бы уже и не может существовать. А с другой стороны, я пытаюсь поставить себя на место романиста. Мне кажется, я увидел бы себя в западне.

Мною употреблено выражение «банальная неповторимость». Процесс, описанный со всевозможной простотой и трезвостью, который можно представить с помощью букв и операционных знаков, алгебра соития, где по крайней мере время, необходимое для того, чтобы записать уравнение, совпало бы с реальным временем. Но что такое «реальное время»? То, что совершается в считанные мгновения, не может быть рассказано в двух словах, требуется нечто вроде замедленной съемки. Физиологическое время должно быть заменено временем языка, вязкой материей, в которой вы бредете, словно в густом месиве. Время языка растягивает время «акта», или, лучше сказать, время подготовки и обрывается там, где температура рассказа должна была подняться до высшей точки. Вместе с ним иссякают возможности языка.

Я спросил Мавру Глебовну — мы сидели за завтраком, и нелепая мысль, какое-то нездоровое любопытство, а быть может, и неумение понять женскую душу заставили меня это сказать, я спросил: что она испытала в этот момент? Слово «оргазм» как-то не вязалось со всей обстановкой. Она передрнула плечами.

«А подробнее», — сказал я.

«Чего подробнее?»

«Что ты чувствуешь, — спросил я, — когда я... — Станным образом я все еще не мог найти нужное выражение. — Ну, когда мы...»

«Чего спрашиваешь-то? Небось сам знаешь».

И это был лучший ответ.

XVI

Ночью раздались выстрелы. Постоялец пробормотал: «Завтра, завтра...» Это были не выстрелы, а стук кулаком в дверь снаружи. Потом нетерпеливо застучали в окошко. Он выглянул, но ничего не было видно. Он спросил в сенях: «Кто там?» Голос ответил:

«Проверка документов».

«Утром приходите», — буркнул постоялец. Его ослепил фонарь, похожий на маленький прожектор. Двое в шинелях вошли в избу, один был с портфелем, другой держал пистолет и фонарь. Постоялец зажег керосиновую лампу, человек, вошедший первым, — два кубаря, голубые петлицы, должность — ночной лейтенант, — сидя боком к столу, перелистывал паспорт.

«Кто еще живет в доме?»

«Я один», — сказал приезжий.

«Сдайте оружие».

Постоялец пожал плечами.

«Есть в доме оружие?» — спросил второй, стоявший сзади.

«Кухонный нож».

«Шутки ваши оставьте при себе, — сказал человек за столом. — Фамилия? — Он смотрел на жильца и на фотографию. — Паспорт какой-то странный, — проговорил он, — что у вас там, все такие паспорта?.. От кого тут скрываетесь?»

«Ни от кого», — возразил приезжий. Он объяснил, что хозяин дома — его родственник.

«А это мы еще разберемся, кто тут настоящий хозяин, а кто подставной», — ответил сидящий за столом, захлопнул паспорт, но не вернул его, а положил рядом с собой.

«Обыскать!» — сказал он кратко.

«Что же тут разбираться? — сказал приезжий, поглядывая на руки помощника, которые ловко шарили по его карманам. — Тех, кто здесь жил, давно уже нет!»

«Вы так думаете? — спросил лейтенант, поставил портфель на пол возле табуретки и принялся разглядывать бумаги на столе. — Это что?»

Личный досмотр был закончен, путешественник, присев на корточки, добыл из чемодана удостоверение, род охранный грамоты.

«Писатель, — брезгливо сказал лейтенант. — И что же вы пишете? Вот и сидели бы там у себя. Сюда-то зачем приехали?»

«Здесь тихо. Чистый воздух».

«Не очень-то тихо, — возразил лейтенант. — А насчет воздуха я с вами согласен. — Он помолчал и спросил: — Кто тут живет, вам известно?»

«В деревне?»

«Известно ли вам, кто проживает в этом доме?»

«Никто. Дом был заколочен».

«Интересно, — сказал человек за столом. — Очень даже интересно. А вот у нас есть данные, что сюда вернулся нелегально бывший хозяин».

«Откуда?»

«Что откуда?»

«Откуда он вернулся?»

«Из ссылки, — сказал лейтенант. — Да ты садись, так и будешь стоять, что ли?.. Имеются данные. Это, понятно, не для разглашения, но вам как писателю будет интересно».

«Мне кажется, вы опоздали...» — заметил приезжий.

«Я говорил, надо было выезжать немедленно», — проворчал помощник.

«А ты помолчи, Семенов... Почему же это мы опоздали?»

Приезжий пожал плечами: «Другое время».

Ночной лейтенант взглянул на ручные часы, потом на ходики, тускло блестевшие в полутьме.

«Часы-то ваши стоят. Как же это так? — Он поглядел на писателя. — Живешь, а времени не знаешь, — сказал он, перейдя снова на «ты». — Подтяни гирию, Семенов. Гирию, говорю, подтяни... И стрелки переведи. Да что у тебя, едрена вошь, руки дырявые, что ли!»

Помощник, чертыхаясь, подбирал с полу упавшие стрелки. Лейтенант продолжал:

«Насчет опоздания я тебе вот что скажу: опоздать-то мы не опоздали. А вот что положение становится час от часу серьезней, классовый враг свирепеет, это верно. Вот и носишься по всему уезду. Обстановка такая, что только успевай поворачиваться... Я тебе так скажу. Если в прошлом году у кулаков запасы хлеба были округленно от ста до двухсот пудов, то теперь в среднем до пятисот, а в ряде случаев даже до тысячи... В феврале — в одном только феврале! — органами было обыскано триста шестьдесят шесть мельников и кулаков, обнаружено... точно не помню... что-то около семидесяти тысяч пу-

дов зерна. Это же сколько народу можно накормить! А между прочим, рабочий класс голодает. А у них семьдесят тыщ пудов спрятано. Вот так. — Он поднялся из-за стола. — А теперь осмотрим запасы. Где лабаз?»

«Какие запасы, сами видите, что тут».

«Огород. Хлеб закопан в огороде».

«Ищите, копайте, — сказал писатель. — Авось что-нибудь найдете».

«Найдем, можешь быть спокоен. В феврале нами обнаружено семьдесят тысяч пудов».

«В феврале. Какого года?»

«Нынешнего, какого ж еще... Семенов! Зови людей. А вы пока что... — он дописывал бумагу, — подпишите».

«Что это?»

«Протокол. И вот это тоже».

«Но ведь вы же еще, — пролепетал приезжий, — не закончили проверку... осмотр...»

«Все своим чередом; подписывайте».

На отдельном листке стояло, что такой-то обязуется сообщить в местное управление о появлении в доме или в окрестностях бывшего владельца дома, а также членов его семьи.

Приезжий возразил, что он никого здесь не знает.

«Это не имеет значения. Там разберутся».

«Где это там?» — спросил приезжий.

«Не прикидывайтесь дурачком. Где надо, там и разберутся».

«А все ж таки?»

«Не имею полномочий объяснять. Управление секретное».

«Так, — сказал, берясь за перо, путешественник. — Значит, в случае появления человека, которого я не знаю...»

«Или его родственников».

«Или родственников. В случае появления людей, которых я не знаю, я немедленно сообщу о них в управление, о котором тоже ничего не знаю».

Ночной лейтенант пристально взглянул на него.

«Ты что хочешь этим сказать?»

«То, что сказал».

«Это мы слышали, — сказал лейтенант спокойно. — Так ты это серьезно?»

«Видите ли... — пробормотал постоялец, чувствуя, что его мысли принимают несколько причудливое направление. — Видите ли, тут вопрос философский. Смотрите-ка, — воскликнул он, — уже светает!»

«Да, — сказал уполномоченный, взглянув на часы. — Надо бы поторопиться. Эй, Семенов! Ты где?»

«Если я вас правильно понял, секретными являются не только деятельность управления, круг его обязанностей и так далее. Секретным является самый факт его существования. Не правда ли? Но ведь вещи, о существовании которых мы не знаем, как бы и не существуют. Возьмите, например, такой вопрос, — продолжал приезжий, придвигая к себе табуретку и усаживаясь, — как вопрос о Боге».

Лейтенант тоже сел и слушал его с большим интересом.

«В рассуждениях на эту тему, я бы сказал, во всей теологии имеется логический круг: рассуждения имеют целью доказать существование Бога, но исходят из молчаливой посылки о том, что он существует! Улавливаете мою мысль?»

«Улавливаю, — сказал лейтенант, потирая колени. — Только я тебе вот что скажу. Ты мне зубы-то не заговаривай».

«Вы меня не поняли. Я не о вашем учреждении говорю. Я его использую просто как пример. Уверяю вас, я совсем не собираюсь на него клеветать, наоборот. В конце концов сравнить его с Богом — это даже своего рода комплимент! Так вот, что я хотел сказать. В определение существования входит допущение самого факта существования, если же факт остается тайной...»

Лейтенант сощурился и гаркнул:

«Встать! Руки над головой. Лицом к стенке. К стенке, я сказал!..»

Вошел помощник.

«Обыщи его».

«Уже обыскивали», — сказал, повернув голову из-за плеча, постоялец.

«Разговорчики! Еще раз. И как следует».

«Ноги расставить», — сказал Семенов.

«Ты в башмаках у него смотрел? Стельки, стельки оторви!.. Можешь садиться, — сказал он писателю. — Скажи спасибо, едрена мать, что некогда тобой заниматься... Подпишишь здесь. И вот тут... Что там у тебя в крынке, молоко, что ль? Налей-ка мне. Так что ты там толковал насчет Бога? Есть Бог или нет?»

«С одной стороны... — забормотал приезжий. — А с другой... Если допустить, что...»

Лейтенант перебил его:

«А это кто?»

«Где?» — спросил приезжий.

«А вон», — кивнул в угол лейтенант.

«Богородица с младенцем».

«Да нет! Вон энти двое».

«Это святые братья-мученики Борис и Глеб».

«Семенов», — сказал лейтенант.

«Здесь».

«Ты в глаз не целясь попадешь?»

«Чего ж тут не попасть, запросто», — сказал Семенов, расстегивая кобуру.

«Не стоит, — сказал приезжий. — Это дешевая икона».

«Ты-то откуда знаешь?»

Путешественник ответил, что он немного занимался этими предметами: ремесленная работа начала века. Хотя и восходит, добавил он, к очень древним образцам.

Он испытывал странное желание говорить. Не то чтобы он был слишком напуган этим визитом, но ему казалось, что, разговаривая на посторонние темы, он как бы свидетельствовал свою непричастность. Непричастность к чему?

XVII

«Барин-красавец, не уходи, позолоти ручку, побудь со мной, не уйдут твои дела...»

Две молодки шли по деревне танцующей походкой, босые, вея пестрыми лохмотьями юбок; одна уселась на ступеньках, подоткнув юбку, так что ткань натянулась между скрещенными ногами, другая, с куклой, завернутой в тряпье, — или это был ребенок? — двинулась дальше.

«Ну-ка покажи...»

«Нельзя, карты чужих рук не любят».

«А это кто?»

«Много будешь знать. Мои карты особенные. Всю правду скажут. Ох, барин-красавец! Не знаешь ты своего пути. — Она сгребла карты, встала. — Пусти в дом».

«Ты мне тут погадай».

«Не могу, карты в дом просятся. Пусти, не бойся. Сама вижу, у тебя красть нечего. Бедно живешь», — сказала она, войдя в избу, быстро осмотрелась, поместилась за столом, заткнув юбку между ног, поставила пыльные и загорелые ступни на перекладину табуретки и спустила на плечи платок со смоляных конских волос. Ловкие руки сдвинули в сторону мои бумаги, пальцы летали над столом, одну карту она проворно сунула за пазуху.

«Жульничаешь, тетка».

«Нехорошая карта, худая, не нужна она нам...»

Собрала и перетасовала все карты, среди которых мелькали совсем необычные картинки, может быть, карты Таро, но вряд ли она что-нибудь в них понимала. Похлопала по колоде, молча протянула ладонь; я выложил трешницу, которую она мгновенно запихнула в желобок между грудей.

«Еще дай, барин».

«Хватит с тебя...»

«Правду скажу, не пожалеешь».

Она протянула мне узкую ладонь с колодою карт.

«Сними верхнюю, своей рукой подыми, что там есть?»

Это был король треф. Пророчица покачала головой.

«Все не то. Видать, не веришь мне, не доверяешь, душу не хочешь раскрыть. Еще сними».

Оказалась женская фигура в плаще, окруженная звездами. Третью карту она сняла сама и прижала к груди.

«Погляди в зеркало, себя не узнаешь, пути своего не ведает, зачем сюда приехал, здесь злой человек тебя сторожит, за тобой следом ходит, пулю для тебя приготовил... Не ходи за рекой, он тебя там поджидает. Лучше уезжай, пока не поздно, не будет тебе здесь счастья, не место тебе здесь... И к этой не ходи, забудь про нее, — она показала карту, — она порчу на тебя наведет. А вот как поедешь, в вагон войдешь, кареглазая подойдет, не отпускай ее, она твоя суженая. Вижу, ох, вижу,

тоска на душе у тебя, оттого что пути своего не находишь. Еще денег дай, не жалея, а за то тебе всю правду скажу, только сперва икону закрой. Закрой икону...»

«Бесстыдница, ишь повадилась! — послышался снаружи голос Мавры Глебовны. — Не видали вас тут... А ну катись отсюда, чтоб духу твоего тут не было...»

Ей отвечал чей-то визгливый голос.

Она вступила в избу и увидела гостью.

«А! И эта тоже. Зачем ее пустил? Пошла вон!..»

«Чего раскричалась-то? — возразила гадалка, собирая карты. — Не больно мы тебя и боимся. А то смотри, беду накличешь...»

«Ах ты дрянь, еще грозить мне будет! — бодро отвечала Мавра Глебовна. — Я их знаю, чай, не первый раз, — сказала она мне, — наемни Листратовну обокрали, мальчонкины вещи унесли... Пошла вон из избы, кому говорю!»

«Беду зовешь, вот те крест, дом свой сгубишь, мужик от тебя уйдет... О-ох, пожалеешь».

«Змея подколодная, катись отсюда!»

Женщины вышли наружу, я следом за ними. Прорицательница спрыгнула с крыльца, перед домом ее ожидала другая, с куклой на руках.

«И надо же, прошлый раз прогнала, они опять тут как тут. А ну живо, чтоб я вас тут больше не видела, поганки, шлятся тут, людям покою не дают, ишь повадились!»

«Ты доорешься, ты доорешься», — приговаривала первая, поправляя платок.

«А вот этого-того — не видала? — сказала другая, сунула сверток своей товарке и повернулась задом к крыльцу. — Накась вот, съешь!» — говорила она из-за спины, подняв юбку и кланяясь.

«Испугала, подумаешь, — отвечала презрительно Мавра Глебовна, — хабалка бесстыдная, тьфу на тебя!»

«А вот тебе еще, вот этого не видала?»

«Как же, испугались мы! И надо же, прогнала их, они снова».

«А вот тебе еще, на-кась вот!»

«Дрянь этакая, еще раз припрешься, я тебе...»

«Дурной глаз наведу, доорешься».

«Только приди попробуй, еще раз увижу...»

«И приду, тебя не спрошусь...»

Обе двинулись в путь, гордо покачиваясь и пыля почернелыми пятками. Мы с Машей стояли на крыльце.

«И ты тоже. Нечего их пускать, чего им тут надо».

Она добавила:

«Боюсь я их. Еще нагадают чего-нибудь».

«Ты им веришь?»

«Верь не верь, а что цыганка наворожит, то и будет».

«Ты сама тоже гадаешь».

«Я-то? — усмехнулась она. — Это я так, в шутку».

Слегка парило; день был затянут, как кисеей, облаками; леса вдаль неясно темнели в лиловой дымке. Немного погодя я побрел к реке.

XVIII

Я шагал по широкой лесной дороге, и навстречу мне шла фигурка в белом, под белым кружевным зонтиком, каким, может быть, защищались от солнца в чеховские времена. «Роня, — воскликнул я, — какая встреча!»

Она остановилась. Я подошел и сказал:

«Представьте себе, мне сейчас нагадали, что мне не следует появляться за рекой».

«Поэтому вы и пришли?»

Она свернула зонтик и держала его двумя руками за спиной, мы пошли рядом. Замечу, что ее нельзя было назвать хорошенькой; еще тогда, в мой первый визит, я мысленно отнес ее к тому типу девушки-подростка, который когда-то называли золотушным: худенькая, почти истощенная, с голубовато-молочной кожей. Пожалуй, только густые темно-золотистые волосы украшали ее.

«Вот именно. Бросил вызов судьбе».

Как-то сразу в нашем разговоре установилось ранговое различие, оттого ли, что барышня была некрасивой, или из-за разницы лет: я смотрел на нее сверху вниз, и она, очевидно, находила это естественным. Все же я должен был что-то сказать и заметил, что мне нравится ее необычное имя, а как бу-

дет полное? Она ответила: Рогнеда, явно стесняясь. Ого, сказал я. Есть такая опера Серова. Любит ли она музыку? В таком роде продолжалась беседа.

«Кто же вам это нагадал?»

Мы шли рядом, она спросила, глядя на свои белые туфельки, ступая несколько по-балетному:

«Вы верите в судьбу?»

«Здесь становишься суеверным, — сказал я, — вам снятся сны?»

«Иногда».

«Мне на днях приснилось... Перед этим я совсем было уже проснулся, но опять задремал. И вижу, что я уже одет, утро, выхожу на крыльцо. Вспоминаю, что я забыл что-то. Возвращаюсь и вижу свою комнату в шерстяном свете».

«Почему шерстяном?»

«Такое было чувство: мягкий и колючий свет».

«И всё?»

«Собственно, да. На этом все закончилось. Но как-то очень запомнилось. И, знаете, что любопытно, — продолжал я, — не то чтобы этот сон что-то особенное значил. Но я не в состоянии решить, был ли это сон или... литературная конструкция, которая возникла в полузатуманенном сознании и казалась очень удачной, а когда я окончательно проснулся, то вижу — чепуха».

«Вы писатель?»

Я почувствовал досаду. Во мне шевельнулось было желание пококетничать перед семнадцатилетней барышней, или сколько ей там было, но что я мог ей сказать?

«Почему вы не отвечаете?»

«Я сам не знаю, Роня».

Пожалуй, и тут была доля кокетства, но, видит Бог, я был искренен. Другое дело — что считать искренностью? Можно быть откровенным и вместе с тем чувствовать, что говоришь не то.

Я добавил:

«Скорее был им».

«А сейчас?»

Я снова пожал плечами. Мне было приятно, что меня спрашивают, и в то же время скучно отвечать.

«Значит, вы больше ничего не пишете?»

«Гм... так тоже сказать нельзя. Я попробую объяснить, если вам так интересно, но сначала ответьте мне на один вопрос...»

Я взял у нее из рук белый зонтик из шелковой ткани вроде той, из которой шьют абажуры, с кружевной оборкой, с тонкой костяной ручкой, открыл, снова закрыл.

«Таких зонтиков не бывает. Такие зонтики можно увидеть только в кино».

«Почему же в кино?»

Она отняла у меня зонтик. Она ждала продолжения.

Мы свернули с просеки на тропинку в лес.

«Мне не совсем понятно... Впрочем, я слишком мало знаю ваше семейство, которое, должен сказать, внушает мне большую симпатию!»

«Спасибо».

«Так вот, может быть, я слишком поспешно сужу. Но мне кажется, что все это какая-то игра... Ваши родители, дядя... Или кто он там».

Она возразила:

«А разве ваши слова, то, что вы сейчас произнесли, — не игра?»

«Не понимаю».

«Я хочу сказать, разве кто-нибудь сейчас так выражается: внушать симпатию, семейство?»

«Да, — сказал я, — мы с вами так выражаемся. Это наш язык».

«Но это язык, на котором давно никто не говорит. Это язык сцены. И действие происходит при царе Горохе. Может, и нас тоже давно уже нет?»

«Вы так думаете?» — сказал я рассеянно. Поперек поляны лежало дерево, я расстелил свою куртку на замшелом стволе. Роня села и раскрыла зонтик.

Вдруг она вскочила, оглядываясь и отряхивая подол.

«Они забрались ко мне под платье! — Она переступала ногами в белых чулках и что-то счищала с внутренней стороны коленок. — Пожалуйста, отвернитесь».

«Пойдемте», — сказал я.

«Нет, постойте. Посмотрите, как они бегут друг за другом, как они заняты. И так целый день, без передышки... Откуда такая энергия?»

«Ваш дядя...»

«Двоюродный», — поправила она.

«Он из немцев?»

«Он православный».

Мы шли по лесу. Она добавила:

«Он очень хорошего происхождения».

Я вспомнил рассуждения о судьбе России, комментарии Петра Францевича по поводу явления двух нищих и спросил:

«А чем он, собственно, занимается?»

«Он доктор искусствоведческих наук... Но вы мне не ответили».

«Вы тоже не ответили, Роня...»

«Я первая спросила».

«Что вы хотите узнать?»

«Вы приехали сюда, в эту глушь, чтобы?.. Или я вас неправильно поняла».

«Вас это действительно интересует?»

«Интересует».

«Почему мы должны говорить непременно обо мне?»

XIX

На самом деле мне хотелось говорить. Может быть, эта девочка слегка волновала меня, может быть — если уж на то пошло, — во мне проснулся инстинкт охотника, хотя, чего уж там говорить, я принадлежу скорее к породе мужчин, которые предпочитают не охотиться, а чтобы за ними охотились. Но мне не с кем было говорить о предмете, который был моей последней надеждой, от которого зависело теперь все мое существование.

Помявшись, я ответил, что пытаюсь привести в порядок свое прошлое.

Фальшивое слово: получалось, что я человек «с прошлым».

«Видите ли, у каждого человека рано или поздно возникает желание разобраться в своей жизни, подвести итоги, что ли...» — пробормотал я.

«Это автобиографический роман?»

«Не совсем. В том-то и дело, что я бы хотел покончить раз навсегда с беллетристикой, с вымышленными героями...»

«Я думала, мемуары пишут в старости!»

«Для мемуаров моя жизнь недостаточно богата внешними событиями. Кроме того, события меня не интересуют. Меня интересует, — сказал я, — логика внутреннего развития».

И уже совсем упавшим голосом, чувствуя, что говорю не то, добавил:

«Знаете, писание вообще очень трудная вещь».

Она шла впереди меня по узкой тропинке, помахая зонтиком; я услышал ее голос:

«Можно я вам сделаю одно признание?»

«Какое признание?» — спросил я испуганно.

«Я тоже писательница. То есть, конечно, не писательница: я пробую. Хотите, как-нибудь прочту?»

«С удовольствием».

«Это вы говорите из вежливости».

«Разумеется», — сказал я.

«Вот видите, я так и знала».

«Можно быть вежливым и в то же время искренним».

«Да? — спросила она удивленно. — У вас есть странная черта».

Она сидела на корточках, подобрав подол, ее колени, обтянутые белыми чулками, выглядывали из-под платья, жалкие колени школьницы, круглые женские колени, от того, что она опустила на корточки, обрисовались ее полудетские бедра, ее тело понемногу оправлялось от первого шока юности, зонтик валялся рядом.

Она что-то разглядывала на земле.

«Какая черта?»

Она встала.

«Вы не говорите “да” или “нет”. У вас как-то так получается, что и да, и нет».

«Что ж... хм».

«Почему вы так нерешительны?»

«Потому что сама жизнь так устроена. Сама жизнь нерешительна, Роня».

«А по-моему, жизнь требует определенных решений. Во всяком случае, мужчина всегда должен знать, чего он хочет».

«Вы меня не совсем правильно поняли. Конечно, каждому из нас приходится принимать то или другое решение. Хотя, на мой взгляд, это совсем не обязательно. На самом деле никогда не существует одного единственно правильного ответа. Мы живем в мире версий».

«Это для меня слишком сложно».

«Не думаю. Просто вы, как и большинство людей, инстинктивно стараетесь упростить вещи и выбираете из многих версий одну. Это и называется проявить решительность».

«Вы и пишете так же?» — спросила она.

«Как?»

«А вот так: и то, и се, а в результате ни то ни се».

«Если вы имеете в виду мое литературное творчество, то я действительно... сомневаюсь в действительности. Видите, получается дурной каламбур. Я просто хочу сказать, что действительность всегда ненадежна, проблематична: и то, и се, как вы удачно выразились».

«Это все философия. А я говорю о жизни, об этом лесе, о том, что вокруг нас!»

«Я говорю о литературе. Я сомневаюсь, что эту действительность можно описать — во всяком случае, описать однозначно. Это касается самых главных вопросов — как к ним подступиться. Вот в чем дело».

«Что вы называете главными вопросами?»

«Кстати, Роня, — заметил я, поглядывая на верхушки деревьев, — а сколько сейчас времени?»

«Это и есть главный вопрос?» — сказала она, смеясь.

«В некотором смысле да».

«А другие вопросы?»

«Это всегда одни и те же вопросы. Жизнь, смерть. Любовь. Отношения двух людей. Секс».

Она хмыкнула. Я взглянул на нее. Мне показалось, что мы говорим об одном, а думаем о другом — о чем же? Я потерял нить. Почему мы вдруг заговорили об этом?

Последняя фраза была произнесена вслух.

«Вы собирались посвятить меня в тайны творчества...»

«Чепуха, какие там тайны!»

«Нет, все-таки».

«Что — все-таки?»

«Вот вы говорили об игре».

«О какой игре?»

«Не притворяйтесь. Вы прекрасно знаете, что я имею в виду».

«Понятия не имею», — сказал я.

«Перестаньте! Конечно, мы играем. Мы играем самих себя, и в то же время... Например, сейчас мы играем в барышню и кавалера. Конечно, — добавила она, — совсем глупую барышню и солидного, знающего себе цену кавалера».

«Хм, допустим. Что из этого следует?»

«А то следует, что если я барышня и дворянская дочь, то и должна ею оставаться».

Она потрянула головой, волосы были прекрасные, ничего не скажешь, бегло оглядела свой наряд и подняла на меня глаза, как если бы перед ней стояло зеркало.

«Дворянская дочь, — сказал я. — Вот как? Интересно».

«Да! — отрезала она. — Так что все эти темы, позвольте мне заметить, совершенно не подходят pour une demoiselle de mon âge¹».

Я развел руками, несколько сбитый с толку.

«Скажите... — небрежно проговорила она, назвав меня по имени и отчеству. Разглядила на руках тонкие перчатки, выпрямила едва заметную грудь и раскрыла над головой зонтик. — Я вам нравлюсь?»

«Вы прелестны, Роня».

«Будем считать этот ответ признаком хорошего воспитания. Скажите это по-французски».

Я развел руками.

«Но ведь вы поняли, что я сказала».

Я кивнул.

«Вы, кажется, лишились речи!»

«Я согласен, Роня, — сказал я, — что все, что я старался вам внушить, совершенно не для ваших ушей».

«Но, с другой стороны, вы сами говорите, что все в жизни так зыбко и неоднозначно... Относится ли это к любви?»

«Разумеется».

«Не будете ли вы так добры пояснить ваши слова?»

«Охотно, — сказал я, — но лучше останемся в пределах литературы».

¹ Для барышни моего возраста (*фр.*).

«Вы сами себе противоречите. Разве литература и жизнь — это...»

«Далеко не одно и то же. Вы сказали, что мы кавалер и барышня. С барышнями не полагается говорить о жизни».

«Хорошо, будем говорить о литературе. Итак?»

Некоторое время мы шли молча, у меня было чувство, что нечто начавшееся между нами растеклось, ушло в ничего не значащие слова — или они что-то значили?

«Видите ли, — заговорил я, наконец, — в разные эпохи любовь описывалась по-разному. Что касается нашего времени, то приходится констатировать, что описание попросту невозможно! Описывать чувства? Это делалось тысячи раз».

«Но каждый человек открывает любовь заново».

«Может быть. Но слова все те же. И фраза, которую вы только что произнесли, тоже произносилась уже тысячи раз. Может быть, этим и объясняется то, что писатели переступили, так сказать, порог спальни. Хватит, сказали они себе, рассуждать, вернемся к реальности. Только и здесь они ничего нового не открыли».

«Видите, я похвалила вашу воспитанность, а вы снова».

«Что снова?»

«Опять заговорили о том, что не полагается слушать благовоспитанным девицам... Знаете что, — проговорила она, — в другой раз как-нибудь. А сейчас расстанемся. Неудобно, если нас увидят вдвоем в лесу».

За деревьями уже виднелась усадьба.

XX

Я потерял счет дням. До сих пор я считал это изобретением беллетристов, но это произошло на самом деле. Полдень года длился и длился, и, право же, не все ли равно, какое сегодня число, какой день недели? То и дело я забывал рисовать палочки и в конце концов забросил календарь. Я знал, что лето в полном разгаре и еще долго короткие ночи будут чередоваться с долгими знойными днями. По-прежнему утром, когда я выходил на крыльцо из прохладных сеней, сверкало солнце позади моего дома, кособокая тень медленно укорачивалась на белой от пыли дороге. Все цело, млело и увядало под пылающим небом. Целыми днями я валялся полуголый в

огороде, раздумывая над своим трудом, и вел дневник. Этот дневник, который всегда лежал под рукой на подстилке, был моим изобретением, если угодно, это был компромисс: наскучив чертить завитушки, я решил, что мои сомнения могут быть плодотворны, если доверить их бумаге, и самый рассказ о том, как я пытаюсь взяться за дело, есть часть моего дела. Словом, я решил вести дневник своей нерешительности: вместо того чтобы писать, я писал о том, как я буду писать, или, вернее, о том, как не следует писать. С замиранием сердца я думал о том, что нашел выход, ведь главное — не правда ли? — это копить написанные страницы. Я вспомнил один старый замысел: несколько лет я был увлечен проектом сочинить некий антироман — книгу о том, как не удастся написать роман. Сюжет есть, все есть, а роман не получается; это и есть сюжет.

Мне стало легко и весело. Я записал в дневнике, что завтра не буду делать никаких записей; жуя травинку, с увлечением я писал о том, что значит в жизни писателя день, проведенный *sine linea*¹. На другой день рано утром, с ромашкой в зубах, с купальными принадлежностями под мышкой, я пришел в усадьбу. Экипажи ждали перед домом. В беседке Петр Францевич, весь в белом, в соломенной шляпе с петушиным пером, сидел над большим цветным планом окрестностей, который, замечу попутно, он сам начертил и раскрасил; в центре, подобно Иерусалиму на старинных картах, находилось поместье. Роня и ее мать уселись в просторной рессорной коляске, я напротив, рядом с могучим Василием Степановичем и спиной к Петру Францевичу, который вызвался править. Позади нас стояла телега с провизией, на передке помещался Аркадий, который по этому случаю облачился в армяк и насадил на голову древнюю фетровую шляпу; Мавра Глебовна сидела между корзинами, мы не разговаривали, здесь действовали другие правила. Что касается хозяина, почтенного Георгия Романовича, то он остался дома для беседы с управляющим (что сие значило, я не стал выяснять) и в данный момент стоял на крыльце веранды, грузный и краснолицый, собираясь махнуть нам рукой на прощание.

¹ Ни дня без строчки (*лат.*).

Мышастый жеребчик по имени Артюр подрагивал и переступал задними ногами. Дамы раскрыли зонтики. «Ну-с», — бодро произнес наш возница. «Храни вас Бог!» — прокричал с крыльца Георгий Романович.

Мне тотчас представился классический сюжет: хозяин возвращается в дом, где Анюта с занятым видом, опустив глаза, шныряет из комнаты в комнату. Скрипит дверь в кабинете... «Звали?» — «Да вот тут то да се, важную бумагу не могу найти... Да ты подойди поближе. Что так раскраснелась?» — «Бежала шибко». — «Куда же ты торопишься?» — «Дела, барин. Работа ждет». — «Не уйдет твоя работа. Анютушка, побудь со мною». — «Лучше в другой раз». — «Да когда ж в другой раз? Мы с тобой одни». — «Ах, барин, опять вы за свое. Пустите, барин». — «Анютушка... какая ты... — «Да ведь опять забеременею. Мне расхлебывать, не вам».

Коляска катилась по лесу, было все еще рано, птицы перекликались, и особенное чувство благодарности за жизнь, за это утро, за то, что мы существуем, охватило всех. Дорога слегка петляла, солнце сверкало в кронах деревьев то слева, то справа от нас. Следом, блудя некоторое расстояние, скрипела телега с прислугой, сидя спиной к вознице, я видел мелькавшую за серо-золотистыми стволами сосен, непрерывно кивающую голову мерина, надвинутую на уши шляпу Аркадия, покачивающееся, освещенное солнцем и как бы лишенное черт лицо Мавры. Мой сосед, полуобернувшись, давал указания Петру Францевичу, высокомерно молчавшему. Василий Степанович заявил, что знает эти места, как свои пять пальцев. Возница всем своим видом показывал, что он здесь тоже не чужой. Деревья расступились, экипажи выехали на открытое пространство.

Василий Степанович показал на низкие сооружения на краю поля и арку с флагами, к ней вела, постепенно расширяясь, грязная дорога.

«Но!» — прокричал Петр Францевич. Артюр наддал, мы понеслись, подсакивая на рессорах, вдоль лесной опушки.

Мать Рони спросила:

«А где же коровы?»

«Какие коровы?» — спросил Василий Степанович.

«Вы сказали: коровники. Мне кажется, если выстроены коровники, то должны быть и коровы».

«Само собой, — сказал Василий Степанович, — но тут, как бы вам сказать, случай особый. Хотите, расскажу? Я как завотделом обязан присутствовать на сессии».

«Это какая же такая сессия?» — надменно спросил с козел Петр Францевич.

«Будто вы не знаете. Сессия районного совета».

«Угу. И чем же вы там занимаетесь?»

«Чем занимаемся... — сказал, усмехнувшись, Василий Степанович. — Делами занимаемся, вопросы рассматриваем. Сессия, известное дело, сама ничего не решает, решение готовим мы, а ихнее дело проголосовать. Я к чему это рассказываю. Дали слово одной доярке: поделиться передовым опытом».

«Как интересно!» — сказала мать Рони.

«Погодите... Дали, значит, ей слово. Вот она делится. Мы, говорит, тоже решили откликнуться на постановление о крупном подъеме животноводства. На нашей ферме содержится двадцать коров. Но, понимаете, товарищи депутаты, мы столкнулись с таким вопросом, что весна уже проходит, лето на носу, давно пора выгонять скот на пастбища. А он стоит и не может выйти».

«Кто не может?»

«Скот не может выйти. Столько накопилось навоза, да не за одну зиму, что коровы стоят, простите, в дерьме по самое брюхо. Еще немного, и, как говорится, с концами. Вот тебе и передовой опыт».

Коляска катилась вдоль леса, телега тащилась следом. Время от времени нас потряхивало, Роня с полузакрытыми глазами предавалась мечтам, ее мать, поджав губы, молча смотрела перед собой.

«Н-да, — отозвался с козел Петр Францевич, — хороши работнички. Ситуация авгиевых конюшен. Впрочем, решение для такого случая уже давно найдено. Десятый подвиг Геракла».

«Не понял».

«Геракл, чтобы очистить от навоза конюшни, пустил туда воды двух рек».

«Где ж это было?» — спросил Василий Степанович.

«В Греции».

«Ну, может, у них это возможно, а у нас другие условия. Короче говоря, куда денешься? Бросили старые коровники и построили новые. Вот эти самые».

«До следующего раза, стало быть?» — спросил Петр Францевич.

Василий Степанович ничего не ответил.

«Да, но где же коровы? Я не вижу коров».

«А хрен их знает!» — мрачно сказал Василий Степанович, и общество погрузилось в молчание. Дорога шла на подъем, опушка леса отодвинулась. Все шире раскрывалась и расступалась перед нами окрестность, поле казалося дном плоской перевернутой чаши, коровники, окруженные черной жижей, и деревянная арка с выцветшими флагами и лозунгом остались внизу, впереди синели леса. И, почти уже нереальные, угадывались за ними другие, дальние и едва различимые лесные просторы. Дамы дремали, повисшая голова Василия Степановича, с открытым ртом, моталась рядом со мной, на козлах величественно-неподвижно возвышалась фигура Петра Францевича с расставленными руками, в которых висели вожжи.

«Где мы, собственно, едем?» — спросила, очнувшись, мать Рони.

Коляска спускалась в лощину среди кустарника, закрывшего мало-помалу горизонт и синие дали; конь Артур, прядая ушами, осторожно ступал по еле видной колее, ветви обшаривали нас в зеленом сумраке, у Петра Францевича чуть не сорвалась с головы соломенная шляпа.

Василий Степанович, знавший окрестности как свои пять пальцев, храпел и раскачивался. Лошадь шла все медленней и наконец остановилась, потеряв дорогу.

«Мы заблудились, Пьер!» — в ужасе прошептала мать Рони.

«Тем лучше, татап, как интересно!»

Василий Степанович открыл глаза, пожевал губами, поинтересовался, где мы. Никто не ответил, он обернулся к вознице. «А это что такое?» — осведомился он, увидев, что Петр Францевич расстелил план на коленях.

«Карта нашего уезда».

«Уезда, хм. Уездов теперь нет, драгоценнейший. И что же вы там нашли?»

«К вашему сведению, — холодно сказал Петр Францевич, — здесь все есть: и ваша деревня, и...»

«Я эти места знаю. Я здесь вырос. Мальчонкой в этой самой речке барахтался. В общем, не надо нам никаких карт, поехали, давай», — промолвил Василий Степанович, переходя на «ты», хотя не совсем ясно было, к кому это «ты» относится.

Артур выволок нас на лужайку, которая оказалась берегом реки; на той стороне, вдали, виднелись деревенька и обломок церкви. Внизу между ветлами и кустами обнаружилась маленькая песчаная отмель. Несколько времени спустя, скрипя колесами, подъехала телега с Аркашей и Маврой Глебовной.

«Маман!» — послышался голос Рони.

Она стояла у воды, в купальнике, освещенная солнцем. Я вышел в плавках из-за кустов, и мы бросились в воду.

XXI

Если точно соблюдать последовательность событий — если называть событиями обыкновенный банальный пикник и обыкновенные разговоры, — то дело было так: подъехали к речке, и я предложил сперва искупаться, а потом уже сесть за трапезу. Предложение было встречено общим согласием, прислуга занялась приготовлениями на лужайке, а мы втроем — я, Петр Францевич и Василий Степанович — отправились вверх по течению реки, предоставив маленький пляж в распоряжение женщин.

Под ветлами, среди ветвей, вибрирующих в темной воде, не было дна, зато на середине реки вода сверкала на солнце, была теплой, под ногами почувствовалось песчаное дно; я потерял из виду моих спутников, вступивших в нескончаемый разговор о проблемах сельского хозяйства; ближе к противоположному берегу течение вновь убыстрялось; выбравшись, я лег на траву. В вышине надо мной плыли рисовые облака, и такие же прозрачные, невесомые мысли струились на дне моих полузакрытых глаз, я думал о том, что в некотором особом состоянии самоотчуждения мы способны следить за нашей мыслью, не принимая в ней участия, я думал, что для того, чтобы наслаждаться жизнью, нужно, в сущности, отстраниться от жизни. Зыбкие воды неслись передо мной — темный, дрожащий и вспыхивающий на солнце поток. «Ку-ку!» — раз-

дался голос рядом, я отвел руку от лица, щурясь от солнечного сияния, и увидел Роню, стоявшую надо мной в полосатом, белом с сиреневым купальнике, увидел ее ноги, слишком длинные оттого, что я смотрел на них снизу, обтянутый купальником лобок и возвышения грудей. Солнце стояло у нее за спиной, лицо казалось темным в окружении пламенеющих волос. Она присела на корточки, держась одной рукой за землю, ее коленки блестели.

«Мне кажется, — сказал я, приставив ладонь к глазам, — таких купальных костюмов в то время еще не носили. Поправьте меня, если я ошибся». — «Вы иблись, — возразила она, — бикини появились в конце века» — «Но мы должны договориться по крайней мере, — продолжал я, — в каком времени мы живем. Я думаю, они назывались тогда иначе...» — «Разве это так важно?» — «Во всяком случае, — сказал я, смеясь, и положил руку на ее колено, — их должны были носить исключительно смелые девицы». — «Эй, так мы не договаривались. Уберите вашу руку, иначе я потеряю равновесие. У меня и так ноги затекли». — «Тут легко можно задремать, — пробормотал я, — может, и вы мне снитесь, Роня?». — «Может быть». — «Но ведь во сне, не правда ли, все позволено. Во сне все происходит так, как оно происходит, во сне не надо спрашивать разрешения». Она опустила на колени, оперлась ладонями о траву, и еще заметней выступили ее ключицы над круглым вырезом купальника.

Кончиками пальцев она слегка провела по волосам у меня на груди: «Как шерсть». — «Человек произошел от обезьяны. Мужчина, во всяком случае». — «Эх, вы», — сказала она презрительно. «В чем дело, Роня?» — «Почему вы говорите банальности? Почему мы должны вести себя, как самые пошлые... — Она запнулась. — Или вы считаете, что я ничего другого не заслужила?»

Так или примерно так происходили события, если sloва считать событиями, что всегда казалось мне противоестественным. Устав сидеть на корточках, она уселась вполоборота, поджав ноги, моя ладонь покоилась на ее бедре, не пытаясь продолжить знакомство с ее телом. Она взглянула на мою руку.

«Я жду», — сказала она.

«Чего вы ждете?»

«Я жду, когда вы извинитесь».

«За что?»

«Вы злоупотребили моим доверием».

«Роня, — проговорил я, — во сне все разрешается».

«И тем не менее».

«Успокойтесь... Мы не выходим за рамки».

«За рамки чего?»

«Времени, разумеется».

Я перевернулся на живот, подпер голову ладонями. Роня тоже изменила позу, вытянула ноги и оперлась о землю рукой, такой слабой и тонкой, что, казалось, она вот-вот переломится в локте.

«Вы мне все-таки так и не объяснили...»

«Что не объяснил?»

«Давеча, когда мы гуляли в лесу».

«Я же вам сказал».

Имели ли мы в виду одно и то же? Что вообще имелось в виду? Наступило молчание, ни малейшей охоты о чем-либо рассказывать у меня, разумеется, не было, но опять же — я не мог подавить соблазн слегка порисоваться перед барышней, подразнить слегка ее любопытство. Я был искренен с Роней; моя искренность была наигранной. За кого она меня принимала? Мое замешательство подстрекало ее воображение.

«Кто я такой, гм... Пожалуй, вы примете то, что я скажу, за желание покрасоваться или заинтриговать вас, но, уверяю вас, ничего подобного... — проговорил я лениво. — Я вообще совсем не то, чем я вам, по-видимому, представляюсь, я даже не то, чем я кажусь самому себе. Я, знаете ли, вообще не я, а он!»

«Как это?»

«А вот так. Он приехал в деревню, он поселился в заколоченной избе. Он взосел на крыльцо... Понимаете: не я, а он».

Я взглянул на Роню, или Рогнеду, или как там ее звали, и мои глаза словно под действием силы тяжести соскользнули на ее шею, ключицы, живот. Она выдержала этот невольный осмотр.

«Хорошо, — сказал я, — только это сугубо между нами. Поклянитесь, что никому не скажете. Нагнитесь, я вам скажу на ухо...»

«Зачем же на ухо? Здесь никого нет».

Она наклонилась ко мне, я мгновенно перевернулся на спину, обхватил ее за шею, так что она чуть не повалилась на меня, и что же мне еще оставалось делать? Я поцеловал Роню.

Клянусь, при всей неожиданности этого происшествия она его ждала.

«Mais... vous êtes impossible¹, — пробормотала она, — там, наверное, заждались...»

Я сидел, обхватив колени руками; ну вот, подумал я ни с того ни с сего, эксперимент удался. О чувствах не могло быть и речи. Мне показалось, что она ответила еле заметным движением губ на мой поцелуй, словно полусознательно хотела подогреть желание, словно чувствовала, что температура падает. Все шло как по-писанному. Если бы я взялся сочинять подобную сцену, мне не осталось бы ничего другого, как придумать то же самое, те же реплики; мне стало ясно, что «эксперимент» состоял именно в том, чтобы убедиться в рутинности наших слов и, увы, наших побуждений.

Согласно правилам я должен был выступить в роли совратителя. От меня ждали поступков — иначе говоря, от меня ждали слов. В духе того времени, которое цепко держало нас, из которого — вот смех — мы не могли выбраться, от меня ждали признаний, которым не следовало доверять, уверений в том, что я ни на что не надеюсь. «Ни на что» должно было означать, что именно на «это» я и надеюсь. Моя любовь нуждалась в риторике, как тело требует одежды, чтобы подчеркнуть свою соблазнительность.

Отшатнувшись — или сделав вид, что отшатнулась, — она медлила: этого требовал сценарий. Она ждала слов. Чего доброго, она ждала клятв. Если же я молчу, значит, что-то должна произнести она: например, что вопреки тому, что «случилось», она продолжает считать меня честным человеком. И тут, я думаю, она почувствовала, что я не то чтобы не владею искусством любовного красноречия, но принадлежу времени, когда красноречие лишилось смысла. Все слетело с нас обоих — игра, и правила, и французские фразы, осталась девочка в смятении оттого, что ее впервые поцеловали, и скучающий гражданин без определенных намерений и определенных занятий.

¹ Вы невозможны (*фр.*).

«Но вы так и не ответили», — пролепетала она. Вскочив, она побежала к реке, с плеском, с шумом бросилась в воду и поплыла к тому берегу.

XXII

Любовь — словечко подвернулось само собой... Зачем она мне? Я удрал из города не для того, чтобы предаваться на лоне природы новым утехам, в конце концов для постельных надобностей у меня была женщина — к чему искать других приключений? Как выражались в старину, я «похоронил себя» в деревне. Я сошел с поезда жизни на глухом полустанке; быть может — кто знает? — это была конечная остановка.

Тут мне, разумеется, возразят: выключиться из жизни — как это можно себе представить в нашем государстве? Жизнь тащила всех, хочешь не хочешь, как вода несет щепки. Разобраться в себе, искать смысл и оправдание своей жизни? Смешно... Это крысиное существование, безостановочное перебирание лапками в толпе себе подобных, сопение и попискивание, толкотня на улицах, теснота магазинов, теснота подземных переходов, вагонов метро, бюрократических коридоров, общественных сортиров, вечная спешка, вечная борьба за местечко — все это попросту перечеркивает всякое вопрошание о смысле жизни.

Какой там смысл... Привычка к стадному существованию не располагает к рефлексии. Я убежден, что патриархальное общество облегчило переход к крысиному обществу. К поднадзорному обществу, к обществу, над которым — над этими толпами, над плоскими крышами городов, над теснотой коммунальных квартир, над каждой супружеской кроватью и каждой колыбелью — стояло мертвое светило, огромный мутный зрак государства.

Но, слава Богу, я разделался со всем этим. Или почти разделался. Спасся — или почти спасся — от этого существования, от паутины человеческих взаимоотношений, от чувства, что постоянно задеваешь кого-то и трешься об кого-то, спасся от этой чудовищной тесноты! Я обрел счастье быть самим собой, другими словами — счастье быть никем. Так и надо было ответить Роне: я — никто. Моя третья жена, Ксения, закатали мне сцену, после которой мы больше не виделись.

Замечательно, что это не была сцена ревности, для чего, честно говоря, нашлись бы основания; ничего подобного. Я отвлекаюсь, но раз уж вспомнил, надо договорить.

Ее упреки сводились к тому, что я ничего не хочу делать, ни о чем не забочусь — словом, представляю собой, как она выразилась, законченный тип тунеядца. Замечу, что, если бы я что-то «делал», например, продолжал свою литературную деятельность, я еще более заслуживал бы этого определения. Но, хотя главным пунктом обвинения было то, что я равнодушен к окружающим (то есть к ней), верно было и то, что все последние годы я жил, в сущности, на ее заработки. Было вполне логично требовать от меня компенсации, то есть любви во всех смыслах этого слова, включая физический. Но довольно об этом.

Когда следом за Роней, помедлив ради приличия, я поднялся на берег, на лужайке была уже расстелена скатерть, Мавра Глебовна, в кружевной наkolке и белом переднике, инспектировала корзину с провиантом. Я старался не встречаться с ней глазами, но она и не смотрела в мою сторону, опустив глаза, расставляла на скатерти все необходимое. Аркадий распряг лошадь; я заметил, что у него была припасена бутылка, тем не менее барон Петр Францевич дал знак Мавре Глебовне, она приблизилась с маленьким подносом и серебряной чаркой, Петр Францевич налил полную чарку из барского графинчика, и Мавра Глебовна поднесла ее Аркаше. Тот вскочил, утер губы и, держа чарку перед собой, истово перекрестился и поклонился господам; Петр Францевич благосклонно кивнул. Эта маленькая пантомима развлекла нас.

Мавре Глебовне было наказано следить за Аркадием, после чего прислуга расположилась в сторонке. Василий Степанович разлил мужчинам водку, вино дамам, молча поднял рюмку, мать и дочь усердно крестились, глядя на дальнюю церковку, некоторое подобие крестного знамения ленивой ладонью сотворил и Петр Францевич; Василий Степанович вздохнул, насутился, поставил рюмку и, в свою очередь, решительно перекрестился. Петр Францевич несколько иронически, как мне показалось, покосился на него. Храня молчание, как положено, мы опрокинули свои рюмки, дамы пригубили из бокалов.

«Вот народ, — сказал Василий Степанович, жуя бутерброд с краковской колбасой, — нет, чтобы клуб устроить или какое-нибудь полезное помещение».

Петр Францевич солидно намазывал масло на ломтик белого хлеба, подцепил вилкой сыр. «Рогнеда, — промолвил он, — передай, милочка, маслины...»

Некоторое время помалкивали, ели.

«Вы имеете в виду вон ту церковь?» — осведомился Петр Францевич.

«Ну да. Ободрали все что можно, набросали мусора, нагадили — и бросили».

«При чем же тут народ? — заметила мать Рони. — Народ не виноват».

«А кто ж, по-вашему?» — спросил Василий Степанович и разлил по второй.

«Рогнеда, передай, пожалуйста, семгу...»

«Хороша наливочка, крепенькая! Небось наша, местная...»

«Смородинная», — сказала мать Рони.

Чтобы не показаться невежливым, я произнес какую-то глупость — что, дескать, разрушенная церковь тоже своего рода символ.

Петр Францевич моментально уцепился за это слово:

«Символ чего?»

«Символ исчезновения Бога».

«Вы хотите сказать, — прищурившись, с рюмкой в руке, молвил Петр Францевич, — вы хотите сказать: Бог умер?»

«Нет, — возразил я, — эти времена уже давно прошли. Когда жил Ницше, Бог был еще где-то рядом. Как покойник, который лежит в открытом гробу, в окружении близких. Бог умер — представляет себе, что это означало? Это означало, что и мы все умрем, и вся наша мораль ничего не стоит, и все напрасно, вся суета ни к чему».

«Но вы говорите, что это время прошло».

«Прошло. А следовательно, прошли и все сожаления. Смерть Бога была сенсацией, теперь она уже никого не интересует. На месте Бога осталась пустота, сперва она всех пугала, а потом привыкли, оградку вокруг построили и кланяются этой пустоте. Не умершему божеству молятся, а тому, что осталось на его месте: пустоте».

Петр Францевич молчал, все еще держа перед собой полную рюмку, ноздри его раздувались.

«Милостивый государь, — проговорил он, — мне кажется...»

«Вы просто клеветаете на наш народ», — сказала мать Рони.

«Ладно, умер, не умер, — сказал, держа в одной руке рюмку с темно-розовой наливкой, а в другой — золотистую глыбу пирога с капустой, Василий Степанович. — Как говорится, не пора ли! Предлагаю выпить за здоровье нашей многоуважаемой...»

Все обрадовались этой реплике, а мать Рони промолвила, кисло улыбаясь:

«Наконец-то в этом обществе нашелся хотя бы один учтивый человек».

Пир продолжался; Мавра Глебовна, последовав приглашению барыни, скромно сидела рядом с захмелевшим Василием Степановичем; разделенные сословной преградой, мы по-прежнему избегали смотреть друг на друга. Несколько времени спустя она отвела мужа в тень, он спал, накрыв лицо носовым платком. Аркадий храпел в кустах, а конь Артюр, прыгая спутанными передними ногами, скучал на лугу.

Женщины удалились. Петр Францевич неподвижно сидел в надвинутой на глаза соломенной шляпе. Он поднял голову и спросил:

«Не хотите ли... э?...»

XXIII

«Не угодно ли вам пройтись?» — змеиным голосом сказал доктор искусствоведческих наук.

Я встал. Петр Францевич быстро шел, внимательно глядя себе под ноги. Миновали перелесок. Петр Францевич остановился.

«Милостивый государь, — начал он, — я полагаю, вы догадываетесь, с какой целью я пригласил вас, э... прогуляться».

«Догадываюсь, — сказал я. — Вы хотели изложить мне вашу концепцию монархического строя в нашей стране».

Мы стояли друг против друга.

«Вы, однако ж, юморист. — Он обвел взором верхушки деревьев и прибавил: — Монархия погубила Россию. Но я не думаю, чтобы эта тема вас особенно занимала...»

«Нет, отчего же».

«Монархия погубила Россию, не удивляйтесь, что слышите это из уст дворянина... Могу вам даже назвать точную дату, исторический момент, начиная с которого все стало шататься и сыпаться. Революция, которой вы придаете такое большое значение, лишь завершила этот процесс».

«Значит, революция все-таки была?»

«Конечно, была. Почему вы спрашиваете?»

«Мне казалось, вы о ней забыли... Так какой же это момент?»

Петр Францевич посматривал на меня, почти не скрывая своего презрения.

«Знаете что, — промолвил он, — я все время задаю себе вопрос: кто вы такой?»

Я ответил:

«Представьте себе, и я задаю себе тот же вопрос. Но еще больше меня интересует, кто такой вы!»

«Вот как? И... какой же вы нашли ответ?»

«Но я хотел бы услышать сначала ваш ответ. Уверены ли вы, что можете сказать, кто вы?»

«Полагаю, что да», — сказал он твердо. По узкой тропинке мы двинулись дальше, он шел впереди.

«Если я не ошибаюсь...»

«Вы не ошиблись», — сказал он.

«Но вы же не знаете, что я хочу сказать».

«Это не важно. Я все ваши мысли прекрасно понимаю, а вы, как я догадываюсь, понимаете мои».

«Так как же насчет монархии?»

«Монархии? — спросил Петр Францевич. — Странно, что вас это интересует. Но я уже вам сказал. Я имею в виду не этого, не последнего Николая, которого теперь собираются объявить святым. На самом деле это был не государь, а фантом. Пустое место».

«Мне странно это слышать от вас, Петр Францевич».

«Разумеется... Впрочем, виноват не он, все равно уже ничего нельзя было изменить. Виновник, если хотите знать, первый Николай, который замыслил поставить во главе госу-

дарства бюрократическую верхушку. Оттеснить родовую аристократию, заменить сословное общество чиновным. Что ему и удалось. И вот результат: страна плебеев. Общество, где естественное деление на сословия заменено искусственными этажами: наверху полуграмотные чиновники, внизу быдло. И где, конечно, простой народ, за отсутствием внутренних регулирующих и сдерживающих начал, бессознательно тоскует по строгому укладу. В этом все дело, милостивый государь! Лошадь тоже скучает по оглоблям».

«Вы хотите сказать, что дворянство не оставило наследника?»

«Вот именно. Не оставило. На Западе были буржуа. А мы не Запад. Откуда же им взяться, этим сдерживающим началам? От религии ничего не осталось, церковь пресмыкается перед властью, превратилась в Ваньку-встаньку, в марионетку тайной полиции. Народ... Извольте сами видеть. Или люмпены, как наш Аркадий, или хамы наподобие милейшего Василия Степаньча. Вот что значит остаться без аристократии».

«Простите, а вам не кажется, что...»

Он резко обернулся ко мне.

«Нет, не кажется. И вообще, я думаю, вы понимаете, что я вас позвал не ради удовольствия вести с вами ученый спор».

«Такая мысль приходила мне в голову».

«Тем лучше. Итак!» — сказал искусствовед, подняв брови.

«Если не ошибаюсь, вы хотите поговорить со мной о Роне...»

«Вы догадливы».

«Вы стояли в кустах. Я случайно вас заметил».

«Случайно, вот именно. Надеюсь, вы не думаете, что я имею привычку подглядывать и подслушивать?»

«Нет, не думаю».

«Но речь идет не обо мне».

«Я вас слушаю», — сказал я, грызя травинку.

«Нет, это я вас слушаю!»

Я пожал плечами.

«Милостивый государь, — сказал Петр Францевич. — Мы одни, позвольте мне быть откровенным. Я нахожу ваше поведение невозможным! Или вы объяснитесь, или...»

«Или что?» — спросил я.

Глубокий вздох.

«Перестаньте притворяться. Вы, вероятно, знаете, а если не знаете, то я должен поставить вас в известность... Я имею в отношении Рогнеды Георгиевны самые серьезные намерения».

«Ага. И что же?»

«И я не допущу, чтобы честь девушки, доброе имя семьи потерпели ущерб только из-за того, что какому-то заезжему авантюристу вздумалось... Да, вздумалось!»

Я был в восхищении от моего собеседника.

«Петр Францевич, — сказал я, — вы оценили мое чувство юмора, я отдаю должное вашему остроумию. Предмет, мне кажется, не заслуживает того, чтобы...»

«Ага! — крикнул он, задыхаясь, — не заслуживает! По-вашему, предмет, как вы изволили выразиться, не заслуживает...»

«Того, чтобы портить себе нервы. Давайте лучше поговорим о...»

«Не спрашиваю вас, что вы подразумевали под этим словом “предмет”. Комментировать ваше замечание насчет нервов тоже не намерен. К делу: вы не хотите объяснить мотивы вашего поведения?»

«Какого поведения, Петр Францевич, что я такого сделал?»

«Вы не хотели бы извиниться?»

«Не понимаю, за что и перед кем я должен извиняться».

«Прекрасно, — сказал он. — Вы обо мне еще услышите».

Женский голос раздался в лесу: нас звали.

«Убедительная просьба, — пробормотал Петр Францевич, — этот разговор должен остаться между нами».

Я кивнул; мы разошлись в разные стороны.

Вопреки уверениям Василия Степановича дорога, по которой он предложил возвращаться домой, оказалась много длинней; ехали уже целый час, а лесу все не было конца; солнце село, между черными деревьями разгоралось серебряное небо. Птицы понемногу умолкли, и наступила глубокая тишина; слышался мерный шаг лошади, поскрипывали колеса. Правил Аркадий. За коляской постукивал второй экипаж с Маврой и искусствоведом, пожелавшим ехать в телеге. Лес расступился, над черным полем раскрылось безлунное и без-

звездное небо, лишь кое-где в темно-голубой бездне мерцали серебряные огоньки. Лошадь, кивая большой головой, равномерно работая крупом, шагала среди трав.

Молча, очарованные и подавленные огромным, как мир, пустым небом, влачили мы вдоль опушки, коляска остановилась. «Но!» — сказал возничий. Лошадь стояла. Аркадий щелкал языком, похлопывал вожжами по крупу лошади. Сзади подъехала и стала вторая повозка. Что-то как будто показалось вдалеке посреди поля. Лошадь заржала. И в ответ оттуда раздалось слабое, тонкое ржание. Тут только разглядели мы, что все поле заросло густой и высокой, чуть ли не в пояс травой. Метрах в ста от нас, среди черных трав, не то приближаясь, не то стоя на одном месте, два коня танцевали, высоко поднимая тонкие ноги, два всадника в круглых шапках, в плащах и смутно мерцающих железных рубахах, с незрячими лицами, подняв копыя, плечом к плечу проплыли в высоких седлах, и на копыях колыхались флажки.

Понадобились бы, как я полагаю, специальные объяснения, чтобы ответить, почему братья, убитые, как считается, в южных землях, весьма далеко отсюда, явились в наших местах; одно из этих предположений основано на известной гипотезе отраженного образа, другое исходит из того, что видения, как и редкие виды животных и птиц, ищут убежища в заброшенных уголках природы. Впрочем, к чему объяснять? Постепенно лесная заросль по левую руку от нас отступила, дорога шла все ниже, клубился туман.

Понурая лошадь брела по невидимой колее, седок опустил голову, равнина напоминала океан, в котором сгнули все голоса, исчезли ориентиры.

XXIV

Несколько дней прошло в неопределенных мечтаниях, в утренней лени, задумчивом перелистывании заметок, планов, соображений. Замысел зажил понемногу своей жизнью и шевелился в ворохе бумаг, как рыба, которая запуталась в прибрежных зарослях, но теперь он представлялся мне средством, а не целью. Как никогда прежде, я чувствовал коварное очарование моего ремесла, которое притворяется чем угодно, на самом же деле существует ради самого себя; я капитулировал, я понимал, что поработен литературой и останусь ее рабом, даже если не напишу больше ни строчки.

Персонаж, рисовавшийся в моем воображении, — кто он был? Я узнавал в нем самого себя, но этот субъект хотел жить собственной жизнью, дышать и двигаться в особой среде; хуже того, он запрещал мне жить моей жизнью, в среде, которая называется действительностью. Он попросту отрицал за ней право считаться действительностью. Да, я удалился от мира, чтобы разобраться наконец в своей жизни. Между тем жизнь имела смысл лишь в той мере, в какой она могла служить навозом для литературы. Жизнь — в который раз приходится сознаться в этом, — жизнь сама по себе меня ничуть не интересовала. словно окруженный воздушным пузырем, я бродил по ее дну, я разговаривал с односельчанами, с дачниками, или кто они там были, чьи голоса глухо звучали в моих ушах, и у меня не было ни малейшей охоты описывать этих людей, превращать кого бы то ни было в марионеток моей литературы. Но из них, как из прошлогодней листвы, гниющих корней и упавших растений, должно было вырасти причудливое древо моего воображения. Я размышлял на эти темы, рисовал завитушки, кое-что записывал, когда очередное происшествие вернуло меня к реальности. В избу постучались.

Явился Аркаша. Я замахал руками, и он исчез. Минуты через две стук повторился. Аркадий вторгся вопреки запрету тревожить меня во время работы. Он стоял на пороге с видом совершенного идиота, между тем как хозяин, то есть я, отвечал ему тупым взглядом, ибо все еще находился в состоянии самогипноза; перо повисло в моей руке.

«Пошел вон, — пробормотал я, — что это еще за новости?..»

Подмигнув, он ответил:

«Спокуха». Что примерно означало: успокойся.

Аркаша полез в подкладку, извлек помятый конверт и помахал им в воздухе, как бы желая сказать: попляши.

«Что такое?» — проворчал я. Он махал письмом.

Я сунул ему рубль и вернулся к столу, разглядывая герб и адрес; впрочем, адреса не было, наклонным почерком, размашистой рукой было начертано три слова: мое имя. Вестник стоял под окном.

В чем дело, спросил я.

«Велели без ответа не возвращаться», — отвечал он с улицы.

«Кто велел?»

Он многозначительно крикнул и побрел прочь.

Я вскрыл письмо кухонным ножом, там был сложенный вдвое листок, украшенный той же геральдической эмблемой.

Собственно, я уже более или менее понимал, в чем было дело, лишь дата в правом верхнем углу повергла меня в задумчивость. Возможно, я все еще не выбрался из наркотических грез. Времяисчисление не то чтобы застопорилось, но попросту выветрилось из моего мозга, во всяком случае, я никак не представлял себе, что день и месяц, о котором меня уведомляла изящно-размашистая рука, есть именно тот день и месяц, который у нас на дворе сегодня, и что дата может вообще иметь какое-либо значение.

Наконец, там был проставлен год, а это уже совершенно меняет дело — я бы сказал, переводит на другой уровень смысл даты: ибо если дни и месяцы периодически возвращаются — сколько их уже было с тех пор, как восемнадцатилетняя хозяйка впервые переступила этот порог, сколько раз вздувалась река, и луга покрывались травами, и к потолку подвешивали новую люльку, — если дни повторяются, то годы приходят только один раз, годы выпрямляют круг времени в стрелу, летящую вперед, и событие, помеченное полной датой, становится историческим фактом, единственным и неповторимым.

«Милостивый государь... — писал доктор искусствоведения Петр Францевич, называя меня по имени и отчеству. — Полагая, что Вы догадываетесь, какого рода обстоятельства побудили меня писать к Вам, не смею отнимать Ваше время подробным изложением причин, вынудивших меня встать на защиту чести и достоинства известной Вам особы, слишком неопытной, чтобы своевременно распознать в Вас человека, злоупотребившего оказанным гостеприимством. До определенного времени я не вмешивался в происходящее, довольствуясь ролью стороннего наблюдателя и рассчитывая — как выяснилось, тщетно — на Ваше благоразумие, тем не менее всякая снисходительность имеет свои пределы. Тень, брошенная на репутацию молодой девушки Вашим, м. г., поведением, — которое я предпочитаю называть неосторожным, чтобы не квалифицировать его как злонамеренное, — доброе имя семьи, наконец, приличия — все это настоятельно требует

моего вмешательства. Я направляю к Вам моего человека за невозможностью подыскать в здешней глуши более подходящего секунданта и рассчитываю на Ваш незамедлительный ответ. Примите, и проч.»

XXV

Путешественник рассмеялся. Это было все равно, что после сложной и мучительно-тревожной музыки услышать оперетку. Это было приятное отвлечение от постылой необходимости напрягать мозг, выдавливая фразу за фразой, от каторжного писательства. С удивительной легкостью, схватив перо, он отписал барону Петру Францевичу о своей готовности выйти на поле чести. Выбрать место встречи, оружие и условия поединка он предоставил противнику как обиженной стороне. Что же касается секунданта, гм... Если уж сам Петр Францевич не погнушался Аркадием, то почему бы не воспользоваться и другой стороне его услугами? Путешественник растолкал Аркашу, спавшего на куче тряпья, и вручил ему письмо. Несколько времени спустя, зевая, и содрогаясь, и почесывая укромные уголки тела, секундант выбрался из своей халупы. Ответ из усадьбы не заставил себя долго ждать.

Исключения, как известно, подтверждают правило; неизбежные в данных условиях отступления от обычаев были тщательно оговорены Петром Францевичем; на его компетентность рассчитывал приезжий, который имел о дуэлях литературное, то есть весьма поверхностное представление. Искусствовед уклонился от обсуждения скользкого вопроса, могут ли обе стороны довольствоваться одним секундантом, к тому же лицом низкого звания. Это значило, что Петр Францевич согласен. Он лишь уточнил, что ввиду вышеуказанных обстоятельств секундант освобождается от обязанности, возлагаемой на него дуэльным кодексом, попытаться в последний момент, не нанося урон интересам чести, помирить противников. Равным образом отпадали право и обязанность доверенного лица добиваться по возможности менее жестоких условий поединка. Что касается подробностей, то составление правил боя — за неграмотностью секунданта — взял на себя сам Петр Францевич.

Но прежде чем перейти к этой части дуэльного протокола, следовало договориться о враче. Петр Францевич полагал

желательным и даже необходимым обойтись без медика. Он полагал, что установление факта смерти не требует специальных знаний. В случае же кончины обоих участников вопрос решается сам собой. Присутствие врача (которого пришлось бы для этой цели приглашать из райцентра) могло повлечь за собой неприятности для всех, кто имел отношение к делу. Со своей стороны Петр Францевич изъявил готовность сделать все от него зависящее, чтобы оказать помощь своему оскорбителю в случае, если тот будет тяжело ранен и не сможет продолжать поединок.

И, наконец, условия. Тут Петр Францевич, пожелавший избрать в качестве оружия пистолеты, проявил особую неукоснительность и принципиальность; разница между правильной и неправильной дуэлью была для него никак не меньше, чем разница между дуэлью и убийством. Дуэль есть мероприятие по восстановлению поруганной чести или, как в настоящем случае, защите чести третьего лица. О том, что подразумевается под словом «честь», каковы критерии ее поругания, Петр Францевич предпочел не распространяться, полагая эти вещи общеизвестными. Точно так же он обошел молчанием вопрос о сословной чести и ее отличиях от чести несословной. Было бы в высшей степени неактично осведомиться впрямую, дворянин ли его оскорбитель, — не говоря уже о том, что плебейское происхождение противника в случае, если бы таковое обнаружилось, лишило бы Петра Францевича возможности вести себя, как подобает аристократу в сношениях с равными себе. Впрочем, так же, как на пожарище бесполезно искать спичку, от которой загорелся дом, было бы нелепо ставить дуэльную процедуру в зависимость от причины и повода: дуэль сама по себе, независимо от повода, была испытанием чести; дуэль подчинялась собственным законам; подобно сценарию, дуэль предписывала участникам их роли.

Итак, противники становятся на расстоянии двадцати шагов и по знаку, который подаст обиженный, идут, держа наготове оружие, навстречу друг другу до минимальной дистанции в десять шагов, обозначенной барьером, — например, брошенными на землю плащами. Разрешается стрелять в любое время после подачи сигнала, однако выстреливший первым должен тотчас же остановиться. Если он не попал в противника либо ранил его, но так, что тот может, в свою очередь,

выстрелить, этот последний вправе приблизиться к барьеру и, спокойно целясь, расстрелять своего врага. Дуэль возобновляется в случае безрезультатности и должна быть продолжена до тех пор, пока один из партнеров не будет убит или по крайней мере ранен столь тяжело, что не сможет сделать ответный выстрел.

XXVI

Я велел Аркадию немедленно возвратиться и передать Петру Францевичу, что буду на месте в назначенный час. Стемнело; я расхаживал по скрипучим половицам, приятно возбужденный, думая о том, что следовало бы привести в порядок мои дела, — впрочем, какие у меня дела? — написать два-три письма на случай... на случай чего?

Несмотря на поздний час, спать мне не хотелось. А надо бы выспаться, как говорит Печорин: чтобы завтра рука не дрожала. Было ясно, что барон шутит. Было ясно, что он не шутит. Тут, я думаю, все соединилось: прошлое и настоящее, и желание утереть нос воображаемому сопернику, и желание отомстить гнусному времени. Дон Кихот не шутил, когда облачился в заржавленные доспехи; но каким оскорблением, еще одной обидой было бы для Петра Францевича это сравнение! Станным образом я испытывал к нему симпатию; в его амбиции было что-то почти трогательное.

Словом, что оставалось делать? Я ходил взад и вперед по комнате, от печки к столу и обратно, перо и бумага вновь призывали меня. Прощальное письмо есть литературный жанр и в качестве такового требует от автора найти необходимое равновесие между новизной и условностью; новизна заключалась уже в том, что на рассвете я буду, по всей вероятности, убит на дуэли, тогда как традиция презирала всякие новшества; традиция запрещала уделять этому весьма возможному факту слишком много внимания; традиция предписывала сдержанность, здравый смысл, сухую красоту слога. Услышав тихий стук в окошко, я вышел в сени. Роня, в легком платье, закутанная в темный платок, озираясь, стояла на крыльце. Признаюсь, я был весьма удивлен. Я даже был ошарашен. Мы вошли в избу, она подбежала к столу, прикрутила фитиль керосиновой лампы.

Я успокоил ее, сказав, что никто нас не увидит: деревня почти необитаема.

«Да, да, знаю, — пробормотала она. — Сразу передадут маме, дяде... Послушайте, я ужасно испугалась».

Оказалось, что она встретила Аркашку возле своего дома и подлец показал ей мое письмо.

«Ну и что?» — сказал я спокойно, стараясь припомнить, что же конкретно сообщалось в моем письме, кроме того, что я согласен и явлюсь вовремя.

Она возразила:

«Вы думаете, я не догадалась? Дядя устроил нам вчера сцену».

«Кому это — нам?»

«Мне и маме. Он говорил, что прочит вас. Послушайте, ведь он шутит, да? Скажите: он шутит?»

В полутьме блеснул циферблат ходиков, блестели ее глаза, дом населили наши тени, кивавшие нам с потолка бесформенными головами, не мы, а тени жили своей независимой жизнью и заставляли нас подчиняться их воле, как огромные темные фигуры кукловодов управляют куклами, держа невидимые нити. Я охотно ответил бы Роне: разве тебе не ясно, что все это игра? Но что-то останавливало меня, игры, которым предавались они там, в усадьбе, грозили превратиться в действительность, Дон Кихот не шутил. И я чувствовал, что сюжет начинает разворачиваться сам собой. Я предложил ей сесть. Тень Рони заставила Роню опуститься на табуретку.

«Видишь ли, здесь это, может быть, и шутка, — проговорил я, невольно переходя на «ты». Она приняла это как должное. — Здесь это выглядит как шутка. Но там, за рекой... Ты говоришь, он устроил вам сцену. А, собственно, за что он собирается меня проучить?»

Она подняла на меня глаза.

«Как за что?.. Неужели вам непонятно?»

И умолкла, но кукловод-тень потихоньку натягивал нитку.

«Умоляю вас, откажитесь, ведь вы, наверное, даже не умеете стрелять. Сознайтесь, наверное, ни разу не держали в руках оружие».

Отчего же, возразил я, держал.

«Вы?»

Мне пришлось ей ответить, что я стрелял когда-то на военных сборах; правда, ни разу не попал.

«Вот видите. А дядя Петя — настоящий стрелок. Он ходит на охоту. Он вас убьет!»

Я объяснил, что правила чести не разрешают мне уклониться от боя; разумеется, я не стану целиться в Петра Францевича, но, если бы я ответил на его вызов отказом, это было бы новой обидой. Да и сам я не простил бы себе трусости.

«Трусости? — вскричала она. — Какая же это трусость? Да ведь дуэль — это... Подумайте: в наше время!..»

«Ага, — я усмехнулся, — а как же правила игры?»

«Это уже не игра!»

«Может быть. Но, знаешь ли, назвался груздем, полезай в кузов. В крайнем случае можно извиниться перед тем как... В конце концов, эта сора — чистое недоразумение».

«Недоразумение? — проговорила она с какой-то даже ноткой разочарования. — А я думала...»

«Что ты думала?»

«Вы правы. Конечно, недоразумение».

Мы молчали, я предложил проводить ее до дому.

Она рассеянно кивнула, но тут же поправилась:

«Нет, ни в коем случае. Нас не должны видеть. Лучше я одна... Тут все друг за другом следят, это только кажется, что никого нет... Тут живут старухи, которых никто не видит, они вылезают по ночам, когда нет луны, и бродят вокруг... Мертвые старухи, которых некому было похоронить, вот они и сидят в своих развалюхах. А ночью вылезают. Я уверена, что кто-нибудь стоит под окном... Ну и пусть стоит!» Она умолкла, смотрела на чахлый огонек в стекле, и тени над нами застыли в ожидании.

«Роня, о чем ты думаешь?»

«О чем я еще могу думать... Эта дуэль ни в коем случае не должна состояться. Если вы ничего не предпримете, я сама приму меры. Вы меня не знаете. Я способна на решительные поступки».

Она нахмурилась, глядя в одну точку, как школьница, которая решает сложную арифметическую задачу.

«Вот что: я остаюсь у вас».

«У меня, здесь?»

«Я вас не стесню, я лягу на полу».

«Не в этом дело, Роня...»

«Могу даже вовсе не ложиться. Но когда он узнает, что я провела у вас ночь, он подумает, что я стала вашей женой, и уже ничего не поделаешь!»

Насвистывая, я прошелся по комнате и сел на порог. Она рассеянно поглядывала на мои бумаги. Очевидно, ждала ответа. Вдруг ни с того ни с сего на стене пошли ходики, а может быть, я до этого не обращал внимания на их стук. Я взглянул на циферблат: минутная стрелка не спеша вращалась по кругу. Моя гостья в некотором ошеломлении взирала на сумасшедшие часы.

Я потер лоб.

«Роня, ты в самом деле готова стать, как ты сейчас выразилась... моей женой?»

«Представьте себе, не готова. Вы разочарованы?»

Она смотрела на часы. Стрелка остановилась.

«Ты меня совершенно не знаешь, — сказал я. — Ты не знаешь моих обстоятельств...»

Она передернула своими узкими плечами: дескать, какое это имеет значение? Очевидно, сказала она иронически, я хочу ей сообщить, что я женат. Печально, но это не важно. Теперь уже ничего не важно.

«Я хочу вас спасти. Поймите вы! Он вас убьет! Подстрелит, как рябчика, и глазом не моргнет».

«А как же следствие и все такое?»

«А что ему следствие? Он живет в другом веке».

«Ну что ж, — сказал я смеясь, — в таком случае и я для него неуязвим. Ты думаешь, что наш век лучше?»

Чувствуя, что я по-прежнему подчиняюсь какому-то этикету, я заговорил о том, что, с одной стороны, польщен ее вниманием, но, с другой стороны, даже если бы между нами произошло что-нибудь такое...

«Вы хотите сказать, — перебила она, — если бы мы переспали!»

«Странно слышать эти слова из твоих уст, Роня», — заметил я.

«Что же тут странного, ведь мы не за рекой. Слушайте, мне все это надоело».

«Что надоело?»

«Да все это... А кондом вы приготовили?»

«Что?»

«Кондом».

«Зачем?»

«Чтобы не дать шансов СПИДу», — объявила она с торжеством.

«Но я здоров, уверяю тебя», — пролепетал я.

«По статистике, три процента здоровых — носители вируса».

«Три процента. Вот это здорово. М-да... Так вот, я хотел сказать... — Я прочистил горло. — Я хотел сказать, что ты меня совершенно не знаешь. У меня нет никакого положения в обществе».

Какое общество? — подумал я. Между тем большая стрелка часов снова двинулась: чудеса с механизмом. Я попытался ее унять, это удалось мне не сразу; я стал тянуть по очереди за обе гири, словно доил аппарат, но время иссякло; наконец стрелка вздрогнула и двинулась снова, только в обратную сторону. «Дай-ка мне... — пробормотал я, — что за чертовщина...» Роня подала мне со стола лист бумаги, я скрутил его жгутом, подпихнул под стрелку. Под обе стрелки. Часы реагировали на это громким возмущением: они стали куковать. Часы прокуковали неизвестно сколько раз.

«Начать с того, что у меня нет никакой профессии. Это во-первых. А кроме того, у меня, в сущности, нет пристанища. Не знаю, говорил ли я вам... тебе. Моя бывшая жена выгнала меня из комнаты. Я поселился временно у брата, перетащил туда свои книги. Но, сама понимаешь, сколько можно? Он ютится с семьей в двухкомнатной квартирке, приходилось ночевать на кухне».

Она кивала, но, кажется, была погружена в свои мысли.

«До осени я пробуду здесь, а там надо будет что-то придумывать. Как-то решать. Но дело не в этом. Дело в том, что я... видишь ли. Я не только жилплощадь потерял. Жилплощадь — хрен с ней. Я себя потерял. Нет, это тоже не то. Уж очень литературно звучит, проклятье какое-то...»

Теперь она пристально смотрела на меня. Казалось, она силилась что-то прочесть на моем лице. Не знаю, слушала ли она меня.

«Я потерял самого себя. Ядро моей личности растрескалось. Раньше я жил в городе, сейчас здесь, утром встаю, оде-

ваюсь, что-то там перекусываю, хожу на речку. Что-то такое пытаюсь писать. Но во всем этом меня самого нет. Я как будто куда-то делся. Осталась моя оболочка, и остался некий воспринимающий механизм, который все это регистрирует...»

«При моем положении, — продолжал я, — все это может показаться просто блажью, ведь мне надо думать совсем о другом: где жить, как дальше существовать? Писатель, х-ха! Какой я писатель? Писатель — это тот, у кого нет никаких забот! А я... И вообще, не находишь ли ты, что наша жизнь, на этом берегу, так сказать... наша гнусная жизнь просто-напросто отменила все эти вопросы о смысле жизни и так далее, так же, как она отменила страсть, гордость, романтику, таинственность женщины, отвагу мужчины. Какая там романтика, какая там страсть, когда здесь — заколюченные избы, развалившиеся сараи, поля, заросшие бурьяном, а там — одна только мысль о жилье и прописке, рысканье по магазинам, толкотня в очередях, в автобусах... Когда в каждом подъезде тебя встречают пьяные рожи... Собственно, я не об этом, что об этом говорить; страну не переделаешь. — Я потер лоб. — Короче говоря, я сбежал. Я думал, что можно эмигрировать из жизни в литературу».

«Все мы эмигранты...» — проговорила она.

«Вот именно: лишь бы прочь, подальше от этой жизни. Твои родители эмигрировали в девятнадцатый век... Только ведь вот в чем смех: мы там кое-что забыли».

«Где — там?»

«В этой самой жизни. От которой мы сбежали. В этой мерзкой, гнусной, но, к сожалению, настоящей действительности... Мы оставили там самих себя! Ты сама говорила, что в нашем с тобой знакомстве есть что-то неестественное, тургеневское. Он ведь тоже сбежал из России... Ты говорила об игре... может, я и вправду немного кокетничал в лесу, когда мы с тобой гуляли, но уж тогда скорее перед самим собой. Перед тем, кого нет... В общем, что я хочу сказать? Я живу, я думаю, я мечусь взад-вперед по этой избе, вот пробовал привести в порядок свое прошлое, вернее, не столько пробовал, сколько придумывал разные проекты... Успел даже, как видишь, исписать ворох бумаги. Моя мысль работает, мозг функционирует, выдает нечто хаотически-непрерывное, но в том-то и смех, и ужас, что в этой плазме сознания отсутствует полюс, к кото-

рому устремлялись бы все потоки. Видишь ли, Роня, в человеческом сознании должен существовать некоторый абсолютный полюс, не важно, как он называется...»

Я потерял нить мысли. Только что я говорил с увлечением, мне казалось, что я не высказал и десятой части того, что должен был сказать, и вдруг умолк, и оба мы почувствовали глубокую тишину ночи, слабый огонек освещал наши лица, в полумраке едва были различимы стены избы, и мое ложе, и темные, как сургуч, иконы, и стропила с крюками; я сидел напротив моей гостьи, она покосилась на мою руку, выбивавшую дробь по столу, я подумал, что это ее раздражает; наконец она проговорила: «Поздно уже... сколько сейчас?.. Что же делать, Господи, надо же что-то делать!»

XXVII

Она нехотя поднялась, обвела глазами мое жилье.

«Это все досталось вам от бывших хозяев? Кто тут жил?»

«По-видимому, семья была раскулачена. Всех вывезли. Хотя все-таки жизнь продолжалась, чья, не знаю. Здесь висели люльки».

«Здесь кто-то повесился», — сказала она.

Помолчали. Она спросила:

«У вас дети есть?»

Я пожал плечами.

«Вы не ответили».

«Мужчина никогда не может быть уверен, Роня».

«Умоляю, не изображайте из себя пошляка. Вам это не идет...»

Мы вышли на крыльцо, луна пряталась за домом. Мы шли по дымному полю, Роня впереди, я за ней.

«Хотите, — послышался ее голос, — я вам открою один секрет?»

Мы вышли к реке, нужно было пройти еще довольно далеко до мостика.

Подул ветерок, она сошла, белея платьем, к воде.

Я предложил вернуться: собирается дождь.

Она не ответила.

«Роня», — сказал я.

«В чем дело?»

Я повторил, что нам лучше переждать дождь у меня дома, а потом уже...

Она перебила меня:

«Послушайте, может, искупаемся?»

«Что за идея?»

«Ну, как хотите...» Последние слова она произнесла, уже входя в воду, вскрикивая вполголоса, балансируя руками, у нее были слабые плечи, резко обозначилась ложбинка между лопатками, круглый зад казался хрупким, она довольно неловко плюхнулась в черно-маслянистую воду, поплыла, течение сносило ее. Она что-то кричала, и мне показалось, что она захлебывается. Я бросился к ней, мы барахтались друг возле друга, Роней овладело необыкновенное веселье, стоя по грудь в воде, она окатывала меня брызгами, затем все смолкло, она вышла из воды и стояла, закинув голову и встряхивая волосами. Я приблизился и обнял ее. «Нет, — простонала она, — вот это уж нет...» — и попыталась меня оттолкнуть. «Почему нет, Роня?» — «Не хочу». Эта игра продолжалась некоторое время. «Ну, в чем дело, одевайтесь, — бормотала она, — это невозможно, здесь холодно... Сами говорите, сейчас пойдет дождь». Вдруг зашумел сильный ветер, я подстелил ей одежду, мы сидели друг против друга, тени ее глаз, тени ключичных впадин, глубокая тень, скрывавшая низ живота, — она вся состояла из теней.

Я набросил ей на плечи мою рубашку. Платок остался в избе. «Спасибо... — пробормотала она, кутаясь, пряча грудь и стуча зубами, — другой бы на вашем месте...» — «Что на моем месте?» — «Изнасиловал». — «Я еще могу наверстать», — пошутил я. Она сидела, подогнув коленки, опустив голову, осматривала себя.

Она озиралась.

«Тс-с... слышите? Там кто-то есть. Говорю вам, там кто-то есть! За нами следят, я так и знала... Это та старуха. Она шла за нами».

Ветер снова пронесся над кустами, луны уже не было видно, и стало совсем темно. Вдали за рекой, над едва различимой лесной чащей, брезжил серебристый край неба. Мы встали, я растирал Роню моей одеждой, она терла мою кожу, мы дрожали от холода. Не сговариваясь, мы поднялись наверх, выбрались из кустарника и побрели назад через огородное поле.

«Скажите...»

Мы говорили вполголоса, она называла меня по имени и отчеству.

«Оставим это, Роня. Зови меня просто...»

И будем на ты, хотел я добавить, но чувствовал, что это «ты» разрушило бы наши с таким трудом установившиеся отношения. Это «ты» воздвигло бы между нами новое препятствие вместо того, чтобы еще больше сблизить нас. Оно означало бы, что мы стали друзьями. А мне — теперь это было совершенно ясно, — мне хотелось другого.

Она пробормотала:

«Мне надо привыкнуть».

Друг за другом мы пробирались по невидимой тропе. Я напомнил ей о том, что она хотела мне открыть секрет.

«Какой секрет? А-а. Лучше после... когда придем. Скажите, — спросила она, — вы верите в привидения?»

«Нет».

«Но ведь их все видели. И вы тоже. Разве вы не видели? Я сначала подумала, что это снимают какой-нибудь фильм».

«Если видели все, значит, это не привидение».

«Почему?»

«Привидения — дело сугубо индивидуальное. Тень Банко является только одному Макбету».

«Кто же это был?»

«Это были князья Борис и Глеб, сыновья Владимира. Святые братья, препоясанные милостью и венчанные смыслом».

Она чувствует себя виноватой передо мной, думал я, если бы я был виноват перед нею, она бы молчала. Она думает о том же самом, поэтому говорит о посторонних вещах и делает вид, что забыла о том, что было на берегу и что мои руки касались ее тела. Она делает вид, что не догадывается, зачем мы возвращаемся ко мне домой, но на самом деле думает об этом и говорит о постороннем.

«Что это значит — препоясанные милостью?»

«Так говорится в летописи. Или в житии, не помню».

«Откуда они взялись?»

«Оттуда же, откуда являются все привидения».

«Значит, это все-таки привидения?»

Помолчав, она спросила, откуда я знаю, что это они.

Я ответил, что есть известные иконы. Одна висит у меня, разве она не заметила?

«Но в жизни они, наверное, выглядели иначе».

«Нет, они выглядели именно так. Иконы сделали их такими. А как они до этого выглядели, не имеет значения».

«Не имеет значения. Что же тогда имеет значение?»

То, что мы идем ко мне домой, хотел я сказать. Потому что дома это произойдет так же неизбежно, как то, что сейчас пойдет дождь, потому что решение принято.

«А вдруг мы их снова встретим?»

«Они в деревню не заезжают, Роня».

«А если встретим? Что тогда?»

«Ничего, поздороваемся и пойдем дальше».

«А они потом разнесут по всей округе, — нервно хихикнула она, — что я была у вас ночью».

«Не разнесут, Роня. Святые молчат». Несколько минут спустя мы бежали сломя голову, вокруг падали свинцовые капли, мы едва успели нырнуть в сени — дождь обрушился на мертвую деревню. Во тьме, шумно дыша, напавив дверь, мы ввалились в избу.

XXVIII

Я топтался посреди комнаты, моя гостья полулежала на постели, свесив ногу на пол, короткое платье, успевшее только слегка намочнуть, обрисовало ее бедра.

«Ну что, — проговорила она, отдышавшись, — будем чай пить?»

Я молчал и думал о том, что я сейчас подойду и переложу ее свесившуюся ногу на кровать. Подойду и сяду рядом.

«Будем чай пить», — сказал я.

«Эх, вы!»

«Что — я?»

«Эх, вы, — повторила она почти со злобой. — И вы все еще не понимаете?»

«Не понимаю».

«Вам надо было взять меня. А вы трусили».

«Еще ничего не потеряно, — глупо усмехаясь, проговорил я. — Мы можем наверстать».

«Нет уж, поздно. Надо было тогда. Взять вот так, за руки... и прижать к земле. А если б я заорала, все равно никто бы не услышал. Вы все ждали разрешения... Вы трус. Разве кто-нибудь спрашивает разрешения?»

«Но... это не трусость, Роня», — сказал я, вероятно, с каким-то жалким выражением на лице.

«Да, да. Вы не решились воспользоваться моей неопытностью — вы это хотите сказать? Вы, наверное, думаете, что... А вот, кстати, один вопрос, — сказала она, садясь. — Как вы смотрите на такую вещь, как девственность?»

«Представь себе, с почтением».

«Приятно слышать. Вы просто до ужаса вежливы. Так вот. Вы, наверное, думаете, что я не далась вам оттого, что я девица. Ошибаетесь. Оттого и не далась, что не девица».

Вот так здорово! Все мои мысли разлетелись по сторонам. Как-никак это было для меня небезразлично — как и для всякого мужчины. Мне вдруг показалось, что она смеялась надо мной; что на самом деле она гораздо старше; что меня вообще непрерывно водят за нос... Молчание. Наконец я произнес:

«Это и есть твой секрет?»

Ответа не последовало. Открыв рот, она уставилась на меня. «Дядя Петя... — проговорила она. — Господи, у меня совершенно вылетело из головы!»

Я вынужден был признаться, что и я позабыл о дуэли.

«Сколько сейчас времени?»

«Не знаю».

«Когда мы вышли, на этих часах было...»

«Не обращай внимания. Они испорчены. Ты хотела что-то сказать».

«Да, хотела сказать. А может, не говорить? Вы бы не догадались, правда?.. Так вот, сударь, это он. Он меня — как это называется? — сделал женщиной».

«Гм. Вот как?»

«Вот вы говорили: игра...»

«Это не я, это ты говорила».

«Хорошо. По условиям игры, я должна быть барышней. Белое платье, зонтик, все такое. Книжка в руке... И, понимаете, получается так, что эта история, то есть то, что между нами произошло, я имею в виду дядю Петю... это тоже традиционный сюжет!»

«Почему традиционный?»

«Ну как?.. Солидный господин с душистыми усами совратил гимназистку. Вы Бунина читали?»

«Читал. Так что же именно произошло?»

Она разгладила платье на коленях и приготовилась к рассказу. Дело было уже довольно давно. Они ходили по музеям, на выставки. Почти каждое воскресенье что-нибудь такое. Он даже водил Роню по запасникам; он там свой человек; одним словом, руководил ее образованием...

Дождь журчал под окнами, ночной ветер набросился на ветхий дом, хлопнуло в отдалении, ветер трепал крышу, лепесток огня дрожал в стекле керосиновой лампы.

Она понятия ни о чем не имела. То есть, конечно, знала, но что значит знала? У нее даже еще не началось; по ее словам, она считалась отстающей в развитии.

Однажды он устроил экскурсию в Архангельское, специально для их класса, водил всех по парку, объяснял, рассказывал; после все ели мороженое.

Он продолжал говорить, теперь уже о себе, они медленно шли следом за всеми, к воротам, отстали. Получилось само собой или он все рассчитал, неизвестно, бывают такие обстоятельства, когда люди ведут себя, как лунатики: «Вам как писателю это, наверное, лучше знать». Роня утверждала, что она ни о чем не догадывалась, вернее, догадывалась, но ждала, что будет дальше. Они оказались в другой стороне огромного парка.

Нас, наверное, ждут, сказала она Петру Францевичу. Он ответил, да, конечно, я думаю, нам надо повернуть влево, нет, лучше направо. И дал ей платок, вытереть липкие пальцы. И они сели на скамейку. Кругом ни души.

Я слушал Роню внимательно и спросил: сколько ей было лет?

Конечно, она уже не была такой дурочкой, сказала она, кое-что знала. Девочки всегда все знают. Но что значит — знала? Это было невероятно, это происходило с ней самой, ей говорили о любви, и кто же? — взрослый мужчина, друг семьи, красиво одетый, от него пахло духами «Осенний ландыш».

«Ландыши бывают весной».

«Да? — возразила она. — А вот это был осенний».

Так вот.

И этот человек, дядя Петя, шепотом и, очевидно, в сильном волнении говорил ей невозможные слова, она сидела, опустив голову, на коленях у взрослого человека и вытирала пальцы, липкие от мороженого. «И знаете, — добавила она, — вам покажется странным, но меня это просто поразило, я увидела, что он плачет!»

Тут были разные подробности, о которых она лучше не будет говорить, получилось так, что они оказались лицом к лицу, и она чуть было не рассмеялась, взрослый мужчина — и плачет, — и стала вытирать ему щеки платком, он потерял голову, она потеряла голову, и, в общем, это произошло.

«Угу. Ты сопротивлялась?»

Да, то есть нет. Она словно окоченела. Ее поразили факт.

«Факт?»

Да, факт. А что же экскурсия, куда делись все остальные? Остальные ждали у входа, Петр Францевич объяснил, что они заблудились, что-то придумал; она не помнит...

Дождь утих.

«Вот. Теперь вы знаете».

«Послушай, Роня, — сказал я после паузы. — Когда мы с тобой встретились в лесу, ты мне говорила...»

«Что говорила?»

«Что ты пробуешь себя в литературе».

«Правда? Не помню», — сказала она надменно.

«Да, ты именно употребила это выражение. Так вот я должен сказать, что нахожу у тебя недоужинные литературные способности!»

«При чем тут способности?»

Я развел руками.

«Вы что, мне не верите? — вскричала она. — Не верите, что все так и было?»

«Одно нехорошо, — сказал я, — ты оклеветала ни в чем не повинного Петра Францевича. Зачем?»

Насупись, с обиженным видом она смотрела на меня, пока легкая судорога не пробежала по ее телу, и мы оба расхохотались.

Тут я должен заметить, что ее вопрос, как ни смешно, заставил меня задуматься. Как я отношусь к девственности? Термин, можно сказать, почти вышедший из употребления. С почтением, сказал я. Можно было бы ответить: с умилением. А может быть, и со страхом. Почему со страхом? Почему не только девственница со страхом оберегает себя, но и всякий, кто к ней приближается, испытывает страх? Меня не интересовало, зачем она это придумала, всю эту историю с поездкой в Архангельское; может быть, барон действительно водил ее по музеям, вполне возможно, что и экскурсия была на самом деле; собственно, так и сочиняются истории; и, само собой, Роня знала, что «друг семьи» оттого и друг, что равнодушен к ней; может быть, даже имело место объяснение, где-нибудь в пустынной аллее. Помнится, когда мы с бароном в лесу удалились для приватной беседы, он упомянул о серьезных намерениях; видимо, и родители знали, что он собирается жениться на Роне, и одобряли этот проект. А она? Меня и это не особенно занимало, мой легучий роман с девочкой из усадьбы был игрой, правда, чуть было не зашедшей слишком далеко.

Меня не интересовало, зачем она придумала историю с соблазнением, мало ли какая фантазия может прийти в голову семнадцатилетней девице; и, пожалуй, слишком уж банальной была эта фантазия; но меня занимал вопрос о девственности, о том, что оставалось вечно живым мифом, невзирая на все революции, перемены моды и так далее, да, живым, и не только здесь, в полумертвой деревне, но и в ко всему на свете равнодушном большом городе. Как тысячу лет назад, миф был окружен колючей проволокой двойного страха, миф рождал двойную ассоциацию с военной атакой и преступлением. Девственность была подобна башне, дворцу или крепости, которую брали штурмом, и победителя ждала слава; девственность была заветной шкатулкой, которую взламывали тайком и озираясь, и грабитель заслуживал наказания. Очевидно, что нападение могло быть успешным лишь при условии внезапности; фантазия Рони опровергала версию о внезапности. Насилие предполагало полную неподготовленность, искреннее неведение жертвы; но в фантазиях Рони оно уже было, так сказать, запрограммировано, и

существовали кандидаты, их было два: один — Петр Францевич, другой, по-видимому, я. Насилие справедливо рассматривалось как надругательство — и в то же время как нечто такое, без чего девственность была лишена смысла и со временем должна была превратиться в позор. Выходило, что девственность опровергала свой собственный миф; значит ли это, что миф девственности был от начала до конца изобретением мужчин?

Если это так, думал я, то девственность — в самом деле миф и ничего более; если это так, то она должна заключать в себе и действительно заключает для нашего брата всю тайну и таинственность женщины, предстает, как уединенный скит, как сомкнутые врата, за которыми пребывает нечто не имеющее имени, некая священная пустота; девственность должна быть обещанием, которое никогда не будет выполнено, должна повергать в трепет, должна пугать и притягивать, — между тем как носительница этой тревоги и тайны, какая-нибудь круглолицая, толстозадая и глупая, как все они, дочь Евы либо вовсе не подозревает об этом, либо соглашается признать ее в качестве некоторой окруженной почетом условности, как носят нагрудный знак, который сам по себе не заслуга, а лишь символизирует заслугу, быть может, мнимую. Я не мог согласиться с таким ответом.

Я не мог представить себе девственность каким-то театром. Не то чтобы я так уж цеплялся за традиционную мораль; и я, конечно, знал, как часто женщина только тогда и расцветает, когда сброшено это бремя, как если бы целомудрие было врагом женственности в прямом физиологическом смысле. Но то, что девственность, это спящее чудовище, в самом деле мстило всякому, кто осмелился его потревожить, — с этим чувством, или, вернее, предчувствием, я ничего не мог поделать: оно не было ни изобретением мужчин, ни фантазией женщин, оно существовало само по себе и владело мною, и это, собственно, и был единственный ответ, который я мог дать Роне.

XXX

Две тени шевелились на потолке, двойной человек сидел за столом на табуретке и делал бумажные кораблики. Две

флотилии выстроились друг перед другом, потонувшие корабли падали со стола, отличившиеся в бою получали награды: красные звезды на бортах и синие полосы на трубах.

Интересно, подумал жилец, у меня ведь цветных карандашей нет, значит, принесли с собой.

Вслух он сказал:

«Между прочим, мы тоже так играли в детстве. Но это мои рукописи, зачем вы портите мои рукописи?»

Человек повернул к нему одну голову, вторая была занята рисованием.

«Ах вот как, — сказал он небрежно, — а я и не обратил внимания».

Вторая голова проговорила:

«Тут темно».

«Вы умеете говорить раздельно?» — спросил путешественник. Тут только он заметил, что стекло снято, колпачок горелки отвинчен, на столе мерцал полуживой огонек.

«Мы тоже сидели с коптилками. Приходилось экономить керосин. Это было во время войны. Я делал уроки, писал дневник. Все при коптилке!»

«Мало ли что! — возразил двуглавый человек. — Керосин и сейчас дефицитен».

«Да у меня целая бутылка стоит в снях».

«Ай-яй, какая неосторожность! Вы игнорируете правила пожарной безопасности».

«Теперь я вижу, что вы можете говорить в унисон», — заметил приезжий.

«Долго не могу, — сказал человек, — не хватает дыхания. А что это за дневник? Вы упомянули о дневнике».

«Обыкновенный дневник подростка. Даже, я бы сказал, не без литературных амбиций».

«Он сохранился?»

«Нет, конечно. Я его уничтожил. Это было позже».

«Послушайте, — сказал человек, орудуя ножницами, — тут у вас что-то не сходится. Даты не сходятся. Вы говорите, во время войны, делал уроки... Выходит, вы уже ходили в школу. Но ведь вы еще не старший человек. А война была давно».

«Да как вам сказать — не так уж давно. Я прекрасно помню это время. Сводки, песни... Могу, если хотите, кое-что исполнить. Я все военные песни знаю наизусть».

Постоялец свесил голые ноги с кровати и затянул вполголоса: «На заре, девчата, проводите комсомольский боевой отряд. Вы о нас, девчата, не грустите, мы с победою придем назад. Мы разведем вражеские ту-у-чи...»

«Любопытно. Очень даже странно. Впервые слышим. — Обе головы переглянулись. — Ты слышал? Я не слышал. Мы не слышали. Ладно, оставим эту тему. — Человек повернулся к приезжему и закинул ногу в сапоге за другую ногу. — Так что же это все-таки был за дневник? Вы уже тогда были, э, писателем?»

«И-и-и врагу от смерти неминуемой, от своей могилы не уйти!» — пел, раскачиваясь на постели, приезжий.

«У вас прекрасная память, но, к сожалению, ни малейшего слуха!»

«А мне нравится, — сказала вторая голова. — Валяй дальше».

«Ты, Семенов, не встречай».

«Что же, мне свое мнение нельзя высказать?»

«Помолчи, говорю. Когда надо, тебя спросят».

Голова обиделась и стала смотреть в сторону. Человек обратился к хозяину избы:

«Почему вы его уничтожили? Там было что-нибудь о нашем строе? Антисоветчина небось?»

«Да что вы! — испугался приезжий. — Не было там никакой антисоветчины».

«А что же там было?»

«Да ничего».

«Интимные дела? Порнография?»

«Я боялся, — сказал жилец, — что его найдут родители. Я порвал его в уборной, все тетрадки одну за другой, их было десять или двенадцать. В мелкие клочки. В уборной».

«Тэ-эк-с, — медленно проговорил человек о двух головах, отшвырнул ножницы и вышел из-за стола, загородив свет коптилки. — Значит, говоришь, в клочки. Вот мы и добрались наконец до главного. Теперь поговорим серьезно. Что там было? Выкладывай все начистоту».

«Что выкладывать?» — спросил приезжий. Он сидел, съезжившись, на своем ложе, двуглавый навис над ним.

«Я жду. Мы ждем».

«Там было... — пролепетал писатель. — Я не помню».

«А ты постарайся. Напряги память».

«Но я забыл!»

«А мы не торопимся», — сказал человек ласково.

«Малоинтересные вещи. Всякая ерунда, чисто личного характера...»

«Вот видишь. Кое-что уже вспомнил. Рисунки?»

«Какие рисунки?»

«Рисунки, говорю, были?»

Приезжий кивнул.

«Ага, — сказали головы, потирая руки, — порнографические рисунки. Рассказывай, чего уж там!»

«Играй, играй, рассказывай, — запела голова по фамилии Семенов, — тальяночка сама, о том, как черногла-а-зая с ума свела! Видишь, и мы кое-что помним».

Человек подсел к приезжему на кровать, путешественник подвинулся, чтобы дать ему место. Путешественник обвел глазами избу, черные стропила и железные крюки.

«Значит, опять будем в молчанку играть. Не хотелось бы прибегать к крайним мерам. Не хотелось бы!»

«Что вам от меня надо? — лепетал приезжий. — Я уже сказал: не помню. Я даже не уверен, был ли этот дневник на самом деле».

«Отказываться от показаний не советую».

Писатель молчал.

Лейтенант сделал знак помощнику, другая голова отделилась и вышла, ступая сапогами по бумажным кораблям.

«Значит, говоришь, не было дневника, ай-яй. Вот мы сейчас посмотрим, был или не был. Семенов, ты где там?»

Семенов, с сержантскими лычками на погонах, наклонив голову, переступил порог, огонек коптилки вздрогнул, помощник положил на стол кипу школьных тетрадей, перевязанную бечевкой.

«Нет, — сказал приезжий, — это не я, это не мои...»

Сержант стал развязывать бечевку. Узел. Он схватил со стола ножницы.

«Не надо! Не режьте! — закричал постоялец. — Веревка пригодится! Я сам все расскажу! Я все подпишу, не надо! Боже, если бы я знал... Если бы я только знал... Но откуда вы взяли?.. Почему порнография? При чем тут порнография? Ведь вы даже не читали! И что вы всё твердите: дневник,

дневник... Какой это дневник, это литература... А у литературы свои законы. Своя специфика... Это не я! Нельзя смешивать автора с его персонажами... Одно дело — автор, а другое — действующие лица... И к тому же, можете сами убедиться — это не мой почерк. Вы мне подсунули... Я не пишу в таких тетрадках...»

«А чей же это почерк? Ты что дурочку-то строишь? — сказал лейтенант. — Кому шарики крутишь? Сволочь хитрожолая, ты кого обмануть хочешь?! Поди погляди, — отнесся он к другой голове, — что там за шум...»

Помощник вышел в сени и вернулся.

«Это делегация», — сказал он.

«Мешают работать! — зарычал лейтенант. — Кому еще я там понадобился? Скажи, я занят».

«Они не к вам. Они к нему», — сказал помощник. В сенях уже слышался топот. Ночной лейтенант поднял голову, приезжий тоже с любопытством взглянул на дверь. Заметался огонек коптилки, появилось несколько человек солидного вида, в седых усах, длинных черных сюртуках или, вернее, демисезонных пальто. Они вошли, наклоня головы, один за другим в низкую дверь, выстроились у печки и вдоль стены с ходиками, после чего первый, расстегнув пальто, из-под которого выглянул фрак, и сняв с коротко стриженной седой головы блестящий цилиндр, выступил вперед, отвесил присутствующим поклон и осведомился: здесь ли проживает писатель?

«Это я», — сказал растерянно путешественник.

«Нобелевский комитет уполномочил меня и моих коллег известить вас о том, что вам присуждена премия Альфреда Нобеля за этот год».

«Мне?» — спросил приезжий.

«Вам. Нобелевский комитет просил меня от имени своих членов, а также его величества короля передать вам поздравление с наградой, к которому я и мы все, не правда ли... — глава делегации обернулся к остальным, — охотно присоединяемся!»

«Вот видите, — сказал жилец ночному лейтенанту, — я же говорил, что это литература».

Лейтенант прокашлялся.

«Семенов, — сказал он помощнику, — ты лучше выйди, займись там... Нечего тебе тут торчать...»

«Мы, как бы это сказать... — продолжал он. — Тут, очевидно, произошло небольшое недоразумение».

«Недоразумение, — проворчал писатель, — ничего себе недоразумение!»

«Мы проверим, виновные будут наказаны по всей строгости закона. Ошибки бывают, кто же спорит? На ошибках учимся».

Тем временем импозитный господин, глава делегации, вполголоса переговаривался с коллегами. Из щегольского портфеля была извлечена папка с тисненой эмблемой и грифом. Уполномоченный комитета почтительно протянул раскрытую папку писателю.

«Это предварительно. Диплом будет вам вручен во время церемонии...»

Лейтенант, вытянув шею, заглянул через плечо приезжего.

«Красиво, — проговорил он. — Умеют, черти... Мы соединим этот документ к делу».

«Но я же вам сказал!» — захныкал писатель.

«Ничего не могу поделать. Инструкция есть инструкция, закон есть закон».

«Какой закон! Разве это закон?»

«Для кого как. Вот так! — отрезал ночной лейтенант и сделал знак помощнику, который стоял по стойке «смирно» у порога. — Товарищи, — обратился лейтенант к делегатам, — господа... Попрошу освободить помещение».

XXXI

Шлепая по дощатому полу босыми ногами, приезжий подбежал к окошку. За окном было густо-синее небо. Тень от избы тянулась через дорогу к пустырю. Тень накрыла коляску, лошадь и сидящую на козлах фигуру секунданта. Приезжий плюхнулся на сиденье. Он спросил: «Куда едем?» — «Куда велено», — был ответ. Возница посвистывал, подрагивал вожжами, экипаж летел вперед, и рессоры мягко подбрасывали сонного седока. Солнце начало припекавать. Подъехали к мосту, лошадь поволокла коляску по шатким бревнышкам, вот и река осталась позади, дорога шла в гору. «Аркаша, как бы не опоздать», — сказал озабоченно путешественник. Аркаша не удостоил его ответом, привстал, испустил разбойничий воз-

глас и хлестнул Артюра; повозка вылетела на равнину, позади столбом стояла пыль. Несколько времени спустя под колесами захрустели сухие ветки, седок открыл глаза. Лошадь брела шагом по лесной дороге. Открылась поляна. Некто в цилиндре, погруженный в раздумье, сидел на поваленном дереве.

Петр Францевич встал, и противники обменялись приветствиями; писатель объяснил, старательно подбирая слова, что хотя правило, по которому опоздание может рассматриваться как знак неуважения, ему хорошо известно, но это произошло против его воли, так что он просит его извинить. Барон отвечал снисходительно-небрежным кивком, был брошен жребий, приезжий получил необходимые инструкции, в частности, его просили обратить внимание на шнеллер, так как это приспособление действует моментально при ничтожном движении пальца, предпочтительней целиться, не держа палец на спусковом крючке. В заключение, щелкнув курком, Петр Францевич оставил его на предохранительном взводе и показал, как переводить курок на боевой взвод. Приезжий занял указанное ему место. На другом краю поляны стоял, держа пистолет стволом кверху, в траурном сюртуке и цилиндре, доктор искусствоведения Петр Францевич.

«Что ж, начнем», — промолвил Петр Францевич, вытянул руку с пистолетом перед собой и бодро двинулся навстречу врагу. Путешественник последовал его примеру. Они подошли, каждый со своей стороны, к барьеру. Путешественник поглядел на свое оружие, потом взглянул на небо, точно искал там цель, и поднял пистолет дулом кверху.

«Позвольте напомнить! — вскричал Петр Францевич. — Выстреливший в воздух рассматривается как уклонившийся от боя. Если вы посмеете заведомо стрелять мимо, я тоже буду вынужден выстрелить мимо, а я не позволю кому бы то ни было решать за меня, как мне следует себя вести. Извольте встать как полагается и прицелиться... Да цельтесь же вы, черт бы вас побрал!»

Писатель разглядывал свой пистолет с таким видом, словно старался понять принцип действия механизма и забыл все наставления. Искусствовед снял цилиндр и утирал пот.

«Пошел вон! — сказал он в сердцах подвернувшегося Аркадию. — Садись в коляску... можешь не смотреть. Итак, дуэль начинается снова — или вы навсегда заслуживаете репутацию труса».

«Если не ошибаюсь, вы послали меня к черту, — заметил приезжий, — так что мы квиты...»

«Что?! — возопил Петр Францевич. — Милостивый государь!»

Аркаша стегнул коня и скрылся в чаще.

Дуэлянты вновь побрели каждый к своему месту, путешественник приосанился, подражая Петру Францевичу, стал боком, левую руку упер в бедро, правой выставил пистолет и, не меняя позы, плечом вперед, с некоторым неудобством переставляя ноги и глядя вперед, с некоторым неудобством переставляя ноги и глядя вперед, с некоторым неудобством переставляя ноги и глядя вперед, двинулся ему навстречу; тот медлил, несколько мгновений стоял, опустив пистолет, затем поднял руку с пистолетом и тоже пошел вперед. Путешественник старательно целился и думал только о том, чтобы не коснуться прежде времени спускового крючка. Пистолет был довольно тяжелый, и рука начала затекать, он подпер ее левой рукой, невольно повернувшись грудью к противнику; в этой не вполне эстетичной позе, держа в правой руке оружие, а другой рукой поддерживая ее ниже локтя, он продолжал движение неверным шагом, путаясь в густой траве, и ему казалось, что искусствовед находится все еще далеко. Между тем Петр Францевич уже стоял перед барьером, очевидно, ждал, когда путешественник приблизится к своему барьеру. Прекрасно, подумал приезжий, и ускорил шаг; он рассчитывал в следующее мгновение сделать выстрел, но споткнулся; и в эту самую минуту, решив, как видно, воспользоваться тем, что противник подставил грудь, и не дожидаясь, когда писатель дойдет до пиджака на траве, обозначившего барьер, а может быть, сдали нервы, — в эту минуту Петр Францевич выстрелил.

Петр Францевич посмотрел на пиджак писателя и с горечью подумал, что вынужден был снизойти до недостойного противника; эти люди никогда не поймут смысл и значение дуэли, не поймут, что в поединке нельзя пренебречь ни одной буквой этикета, ибо в вопросах чести не может быть незначительных мелочей. Мещанский пиджак на траве принадлежал пошлому миру; надо было послать этому субъекту что-нибудь поприличней или хотя бы оговорить в условиях, что дуэлянт является к месту встречи одетым как подобает: что-нибудь вроде «форма одежды летняя, парадная», как пишут в военных приказах; а впрочем, ведь это само собой разумеется.

Петр Францевич смотрел сквозь тающий дым на пиджак и распростертого на нем путешественника, который не подавал признаков жизни, хотя и успел, падая, сделать свой выстрел.

Оба выстрела прогремели почти одновременно. Писатель, сбитый с ног коротким, как ему показалось, ударом, успел подумать о том, что следовало бы поберечь пулю: ничего страшного, сейчас он встанет, — и уж тогда поглядим, кто кого; посмотрим, как этот хлыщ будет вести себя под прицелом. Он даже представил себе, как он посмеется над бароном, будет долго целиться, а потом отшвырнет пистолет и зашагает прочь. Вместо этого, сам того не заметив, он успел нажать на крючок, и шнеллер мгновенно сработал; пуля пролетела мимо; искусствовед некоторое время стоял на месте, как того требовали правила, и дождался, когда рассеется дым. Путешественник воображал, как он швырнет пистолет и пойдет, насвистывая, прочь, а на самом деле свой пистолет отбросил в траву Петр Францевич. Вместе с подоспевшим Аркадием они склонились над неподвижно лежавшим с открытыми глазами писателем.

«Ладно, — промолвил Аркаша, — поиграли, и будя...»

«Что? — рассеянно спросил Петр Францевич, несколько приходя в себя, нахлобучил цилиндр и приосанился. — Начнем сначала, — сказал он. — Достань-ка там, в саквояже... Или лучше я сам».

Приезжий, поддерживаемый Аркашей, поднялся с земли с каким-то почти разочарованием и недоуменно воззрился на своего врага; оказалось — чего он, само собой, не заметил, — что пистолеты в руках у дуэлянтов были с просверленными стволами, видимо, для учебных целей; оказалось также, что в небольшом, но вместительном саквояже, с которым прибыл на поле боя доктор искусствоведения Петр Францевич, был припасен ящик с другой парой пистолетов. Теперь они явились на свет, длинные, поблескивающие гранеными стволами, как будто только что вышедшие из мастерской Лепажы, с затейливыми собачками, с гравированным рисунком на металлических щеках. Петр Францевич взял в каждую руку по пистолету, спрятал руки за спиной.

«Правильно: поиграли — довольно, — пробормотал он. — Пьет, как свинья, а все-таки ум сохранил... Репетиция окончена! Благоволите назвать руку: правая или левая?»

«Не позволю! — закричал вдруг, подбегая, Аркадий. — Будя!»

«Что это значит?» — холодно спросил Петр Францевич.

«А то и значит. Ваше сиятельство, это не дело».

«Да ты что, спятил?.. Как ты посмел? А ну, убирайся вон, чтоб я твоей физиономии больше не видел!»

«Физиономии... — ворчал Аркаша. — Ишь начальник нашелся. Холопьев, ваше сиятельство, больше нет, вот так!» Он выхватил пистолет у растерявшегося писателя, обернулся к Петру Францевичу, тот держал свою пушку за спиной. Аркадий сунулся было к нему — барон отступил на два шага и наставил на Аркадия дуло.

«Пристрелю, как собаку!» — заревел Петр Францевич.

Приезжий счел своим долгом вмешаться.

«Может быть, я вел себя не по правилам, вдобавок, как вы знаете, я не дворянин, — сказал он. — Но, клянусь, я не питаю к вам никаких враждебных чувств. Мне кажется, обе стороны показали свою готовность драться... Что касается известной особы, мне кажется, это недоразумение. Если вы думаете, что я вознамерился перебежать вам дорогу, уверяю вас...»

«Ничего я не думаю, — возразил мрачно Петр Францевич, — я только вижу, что это бунт. Это — бунт!» — строго сказал он, глядя на Аркашу.

«Да ладно уж там, какой такой бунт... Где уж нам... Мы темные. Мы мужики, вы господа. А только отвечать за вас я не желаю. Не желаю отвечать, ясно?»

«Отвечать? Ах ты, скотина! А ну, вон отсюда!»

«Чего лаетесь-то? — сказал Аркадий. — Начнется следствие, кто да что. И света белого не увидишь. Вы-то всегда вывернетесь, у вас там небось все дружки да знакомые. А мне за вас отдуваться. Кто отвечать будет? Аркашка... Кого за жопу возьмут? Меня. В общем, вы это, того: игрушку вашу спрячьте. А то еще кто увидит, народ-то сами знаете какой. В момент наступат. Похорохорились, покрасовались — и будя. А если чего не поладили, то и на кулачках можно решить».

«Ты так думаешь? — сказал Петр Францевич. — Может, в самом деле, а?»

Его противник пожал плечами.

«Дай-ка сюда». Барон отобрал у Аркадия пистолет, доставшийся писателю по жребью, взвесил оба пистолета на ладонях. Потом повернулся и прицелился в отдаленное дерево. Грохнули два выстрела, присутствующих объяло облако дыма.

«Хорошая марка, — пробормотал он, разглядывая пистолеты, — это вам не...» Вздыхнул, вложил дуло себе в рот.

«Ради Бога, осторожней!» — воскликнул писатель, забыв, что пистолеты разряжены. Искусствовед покосился на него, усмехнувшись, вынул пистолет изо рта, приставил к виску, к сердцу. Затем — знак Аркашке; тот подскочил с саквояжем. «Ладно, — сказал Петр Францевич, — поехали чай пить. Я, между прочим, еще не завтракал».

XXXIII

«Слава те-Хос-споди, живой!» — вскричала Мавра Глебовна.

Она сбежала со ступенек и обняла меня.

«Я уж все на свете передумала. Ишь затеяли! Спасибо тебе, милосердная, — приговаривала она, торопливо крестясь, — заступница, спасибо...»

Сели за стол, где по-прежнему сиротливо лежали мои бумаги. Моя несостоявшаяся биография, моя новая жизнь...

«И чего не поделили? А все вертихвостка эта — и тебе, и ему».

«Роня?»

«А кто ж еще-то?»

Я заверил Машу, что ничего у нас с ней не было, ей всего-то семнадцать или сколько там. Полуробенек.

«Не скажи. Знаю я их всех; молодая, да шустрая... И чего ты в ней нашел? Девка, что доска, ни сзади, ни спереди».

Я попытался ее разубедить, она резонно возразила:

«Кабы ничего не было, так он бы в тебя не пулял».

До этого, сказал я, тоже не дошло.

«Не дошло, и слава Богу. Аркашке скажи спасибо».

«Да откуда ты все это знаешь?»

«Знаю. И про вашу свиданку знаю, что она к тебе прибежала, бесстыдница, — все знаю».

Источник информации, разумеется, был все тот же — или следовало предположить, что известия распространялись по каким-нибудь трансфизическим каналам. Таинственный вездесущий персонаж по имени Листратиха, о которой я постоянно слышал и которую никогда не видел, — кто она была? Я подозревал, что никакой Листратихи вообще не существует: это был дух, блуждавший вокруг, анонимная субстанция, мифический глаз — или глас народа.

«Дело холостяцкое, я тебя не виню. Только ты к ним не лезь, это я тебе не из ревности говорю. Не ходи туда, ну их к лешему! У них там свои дела, пушай сами разбираются. У них своя жизнь. А у нас своя», — сказала она и положила мне руки на плечи.

Я коснулся ладонями ее бедер. Зачем же, спросил я, смеясь, она сама туда ходит?

«Я-то? А это не твоя забота. Да шут с ними со всеми!»

Все же мне хотелось знать: что она там делает?

«Ну чего привязался-то! Услужаяю. Молоко ношу».

«И все?»

«И все, а чего ж мне там делать? — Она помолчала. — Ну, к барину хожу, к Георгию Романычу. Ему, чай, тоже нужно: мужчина в соку, а она непригодная, рыхлая — сам видел. Ихнее дело господское, ых!.. — она вдруг сладко зевнула. — Как захотится, так меня зовет».

Вот и пойми женщин, подумал я; а еще говорила, что отвыкла.

«Да ты не обижайся. Это ведь не любовь. — Она добавила: — Кабы не они...»

«Что — кабы не они?»

«А вот то самое! Все тебе надо знать. Не было бы тут ничего, вот что, все бурьяном бы заросло. Их в городе уважают. Секретарь райкома, говорят, приезжал».

«Зачем?»

«Справлялся, не надо ли чего. Он ведь у старой барыни скотину пас».

«Как же это могло быть, Маша? Ведь революция-то когда была?»

«Ну, не он, так отец али дедушка, я почем знаю. Люди говорят, а я что?.. Да и леший с ними со всеми... Милый, соскучила я по тебе».

Вдруг снаружи постучали.

Я поднял голову, мы оба посмотрели на дверь.

«Да ну их всех...»

Стук на крыльце повторился.

Я выглянул между занавесками и отпрянул, словно там стояло привидение.

Мавра Глебовна сидела на постели. В ответ на ее немой вопрос я растопырил руки и вытаращил глаза.

Наконец я выговорил:

«Это она».

«Кто?»

Я молчал.

«Не пускай! — сказала сурово Глебовна. — Ишь, вертихвостка! Постой, я сама пойду. Сиди. Это наше бабье дело».

Она вышла и столкнулась с Роней в полутемных сенях; но в том-то и дело, что это была не Роня.

Это была не Роня и не мифическая Листратиха, и обе женщины вступили в избу.

Я пролепетал:

«Откуда ты... как ты здесь очутилась?»

Сидя на табуретке, гостя расстегивала пуговицы плаща, сдернула с головы шелковую косынку, поправила прическу.

«А это Мавра Глебовна, — сказал я, — моя соседка. Знакомьтесь».

«Очень рады», — промолвила Мавра Глебовна, поджав губы.

«Что-то там испортилось в моторе, и, представь себе, перед самой деревней. Дошла пешком».

«А Миша?» (Мой двоюродный брат.)

«Там остался».

«Может, я схожу, трактор достану?..»

«Не волнуйся. Там уже кого-то нашли. Ну, я тебе скажу: ты в такую дыру забрался! — Она обвела глазами избу, покосилась в сторону Мавры Глебовны, взглянула на стол с бумагами. — Работаешь?»

Мою жену — я привык считать ее бывшей женой, — мою жену зовут Ксения, по отчеству Абрамовна. Это отчество ни о чем не говорит. До сих пор можно встретить стариков, бывших крестьян, с именами Моисей или Абрам. Моя жена — обладательница безупречной анкеты и занимает высокую

должность заместителя директора по ученой части в институте с труднопроизносимой аббревиатурой вместо названия, которое я никогда не мог запомнить. Моя жена держится прямо, ходит крупным шагом, постукивая высокими каблуками, носит сушающиеся юбки, светлые батистовые кофточки с бантом, курит дорогие папиросы и великолепно смотрится в начальственных коридорах. Мы с ней ровесники, но уже несколько лет, как она перестала стареть, возраст ее остается неизменным, ей 39 лет.

Моя жена была женщиной именно того физического типа, который мне когда-то нравился; подобно многим я связывал с телосложением определенное представление о характере, душе и умственных способностях и, сам того не сознавая, тянулся к женщинам, которые могли бы заслонить меня от жизни. Что-то мешало моей бывшей жене, даже в те времена, когда мы познакомились, быть красивой, вернее, хорошенькой, это слово к ней не подходило; из чего, однако, не следует, что она была непривлекательна. Нужно отдать ей должное, сложена она превосходно: просторные бедра, все еще не опавшая грудь, плечи королевы.

Мавра Глебовна поспешно подала ей старую, выщербленную плошку (моя жена искала, куда стряхнуть пепел). Некоторое время спустя, выглянув в окошко, я увидел перед домом машину, поднятый капот, Аркадия, который инспектировал мотор. Мой двоюродный брат разговаривал с Маврой Глебовной, державшей за руку четырехлетнего малыша, невдалеке остановилась старуха, согбенная, как Баба Яга, опираясь на помело, что-то клубилось вдали, словно к нам ехало войско, темнело, и опять, как все последние дни, стал накрапывать дождь.

XXXIV

Нужно было устраиваться на ночь, завтра, сказала моя жена, надо встать пораньше; я предложил, чтобы мы с братом устроились на полу, Ксению положим на кровать; мой брат, поколебавшись, объявил, что переночует в доме Мавры Глебовны, жена пожалала плечами, дескать, как вам угодно; будем надеяться, что погода не подведет, добавила она небрежно, только бы не проспать. Ходики на стене бодро отстукивали

время. Разговор продолжался недолго и понадобился для того, чтобы не говорить о главном, то есть о возвращении: теперь это уже как бы не требовало объяснений.

Как это — «ехать домой»? Волна протеста поднялась в моей душе, как застарелая изжога со дна желудка. Я проглотил ее — молча и мужественно. А что оставалось делать?

Подразумевалось, что прошлое похерено, что мы ни в чем не упрекаем друг друга, просто начинаем жить заново. Вернее, мы продолжаем нашу жизнь; да и о каком прошлом, собственно говоря — если не считать некоторых недоразумений, — идет речь? Завтра мы уезжаем в город, она приехала, чтобы протянуть мне руку мира, если можно было говорить о войне между нами, и я, естественно, отвечаю ей тем же. Но никакой войны, собственно, и не было. Бегства не было. Я отдохнул на свежем воздухе, я провел творческий отпуск на даче, пора домой.

Все это, ужасавшее меня именно тем, что вдруг предстало как нечто не требующее объяснений, как нечто решенное и даже само собой разумеющееся, устраняло необходимость обсуждать и некоторые вытекающие отсюда следствия, некоторые житейские подробности, например, то, что нам предстояло, как и положено супругам, провести ночь вдвоем под одной крышей.

Именно об этом, о том, что мы остаемся наедине после того, как брат уйдет ночевать в дом к соседке, об этом, как о само собой разумеющемся, ни слова не было произнесено, и было ясно, что наутро тем более уже не о чем будет говорить: какая необходимость ворошить старое, коли мы провели ночь вместе, как и положено мужу и жене? Меня ужасал этот *fait accompli*¹, то, что все выглядело как *fait accompli*; но сознаться ли? Я почувствовал и определенное облегчение. Еще больше, чем «факт», меня приводила в ужас необходимость выяснять отношения; и вдруг оказалось, что не надо ничего говорить, спорить, доказывать, не надо оправдываться; а главное, ничего не надо было решать.

Мы поужинали, на столе горела керосиновая лампа. Моя жена вышла и вернулась; когда я, в свою очередь, вошел в избу, она стелила себе на кровати. Для меня была приготовлена постель на полу.

¹ Совершившийся факт (*фр.*).

«Здесь довольно тесно, — проговорила она. — Это что, простыня?»

Она сказала, что устала после мучительной дороги и уснет как мертвая. Было произнесено еще несколько фраз о ее работе, об институте. О нашем ребенке — ни слова, это был болезненный пункт, которого она разумно не касалась; я предполагал, что девочка в пионерском лагере.

«Все кости болят, — пробормотала она, — после этих ухабов».

Это означало: раз уж все решено, обойдемся без телесного примирения. Это также означало: не в плотском влечении дело. Кроме того, это был намек на то, что я не должен думать, будто мне все так просто сошло с рук, прощено и забыто. И в то же время это был некоторым образом шаг навстречу: отказывая мне в близости (на которую я, как предполагалось, рассчитывал независимо от всего, в силу мужского самолюбия и мужского сластолюбия), она давала понять, что я ей небезразличен: меня наказывали, но наказывали и себя. В темноте мы покоились каждый на своем ложе, и я принялся обдумывать, как бы мне завтра увильнуть. Да, я употребил мысленно это пошлое выражение; я чувствовал, что у меня не хватит решимости объявить напрямую и без лишнего слов, что я не намерен возвращаться. Я думал о том, что у моей жены начальственный вид, крупная решительная походка, просторные бедра.

Я тоже был утомлен до крайности, предыдущую ночь почти не сомкнул глаз, не говоря уже о дуэли, на которой я был убит, потом воскрес и чуть было не подставил грудь для второго выстрела. Мне казалось, что моя жена спит, но в темноте раздался ее голос. Она назвала меня по имени. Я спросил: в чем дело?

«О чем ты думаешь?»

Я отвечал, что думаю о своей работе.

«Ты пишешь что-то крупное?»

«Пытаюсь».

«Давно пора. Я считаю тебя, при всех оговорках, очень способным человеком».

«Я тоже считаю».

«Ты не имеешь права пренебрегать своим талантом».

«Не имею».

Ситуация менялась: теперь я оказывался обиженным, о чем свидетельствовали мои короткие ответы, она же, напротив, выглядела виноватой. Наступило молчание.

«Ты неплохо выглядишь, посвежел. Между прочим, тебе несколько раз звонили».

«Кто звонил?»

«Из издательства. Интересовались, где ты».

Пауза.

«Ну что, будем спать?»

«Будем спать», — сказал я и внезапно решил, что завтра же или даже сейчас, не откладывая, объявлю моей жене, что никуда не поеду; если она хочет остаться здесь дня на два, пожалуйста. Но на меня пусть не рассчитывает. Необъяснимым чутьем она угадала мое намерение и сказала:

«Ладно».

«Что ладно?»

«Ладно, говорю, пора спать. Иди ко мне».

И, так как я ничего не ответил, ибо находился в некотором ошеломлении, она добавила:

«Ну в чем дело? На полу неудобно, холодно, только измучаешься».

Я молчал.

«Мне просто жалко, что ты проваляешься всю ночь без сна, да и пол холодный. Не ломайся. Ложись рядом со мной, будем просто спать. Я устала».

Выходила какая-то нелепая история, я лежал на самом краю, рискуя упасть с кровати, но невольно касался моей жены лопатками, пятками ног. Она пробормотала:

«Я же говорила... холодные, как лед».

Несколько мгновений спустя мы приняли позы, более естественные в нашем положении, а что же еще оставалось делать?

XXXV

Черные воды сомкнулись над нами, сон обхватил меня мягкими щупальцами, схоронил мое бездыханное тело на илистом дне; но это беспомощство продолжалось недолго, смутное, сумеречное сознание вернулось ко мне, как будто лунный луч заглянул в окно; я спал и не спал и во сне думал о

сне. Несколько времени погода я очнулся, я лежал в темной избе, которую уже привык считать своим домом, но оказалось, что и она была сном; некоторое время, сказал я, но должен себя поправить: сновидение, каким бы запутанным оно ни казалось, длится считанные мгновения; но и это выражение надо понимать условно, ведь время с его минутами и секундами существует только в дневном мире, между тем как по ту сторону дня, в пространстве сна, времени нет или оно по крайней мере иной природы.

Итак, я все еще находился там, вернее, наполовину там, как бредут через топкую заводь по колено в воде, — я все еще пребывал отчасти в стихии сна. Можно было бы сказать, что я оказался в двух временах, если время сна вообще можно считать временем. Можно было сказать, что я по-прежнему владел грамматикой сна — или она владела мною, — странные сочетания слов, немыслимые глагольные формы, небывалые части речи, для которых не существует названий, удивляли меня самого, несмотря на то, что принадлежали мне и родились вместе со мной: ведь язык — ровесник души. Я вернулся к началу моей жизни, в первые, ранние дни; на моих глазах, если можно так выразиться, происходило то, что когда-то произошло со всеми нами: рождение души из ночного первобытного хаоса; моя душа просыпалась и лепетала на языке, который уже в следующие мгновения станет невнятным ей самой. Я застал этот миг двуязычия. Я все еще брел по топкому дну, я владел праязыком ночи, но думал о нем на языке дня; что же удивительного в том, что я прикоснулся к загадке литературы.

Я догадался, что если мы видим сны, то сон в свою очередь, на свой лад созерцает нас, и литература способна — только она и способна — вернуть равноправие младенческому праязыку грез. Только она может продемонстрировать, что сон и явь — два равноправных способа нашего существования в двоякой действительности. Что здесь иллюзия, что правда? При взгляде оттуда наше бодрствование представляется загадочным сном, совершенно так же, как проснувшемуся человеку кажется абсурдом то, что происходило во сне. Что правда, а что обман? Я понял, что для литературы такого вопроса не существует.

Утро настало, каких, быть может, еще не бывало от сотворения мира: тихое, нежное, переливчато-перламутровое; неяркое солнце неподвижно стояло в желтоватой дымке, как стареющая невеста в фате. Шелестя травой, гуськом мы прошли влажное огородное поле, пробрались сквозь кустарник и спустились к реке. На графитовой воде плясали искры, ближе к другому берегу вода казалась серо-молочной, серебристо-голубой; отплыв на середину реки, я обернулся, моя бывшая жена, в купальнике, широкобедрая, белорукая, с полуоткрытой грудью, все еще не решалась ступить в воду; брат стоял на том берегу, усердно приседал и размахивал руками.

Завтрак на воле, в огороде за домом. Мои бумаги, как некий почетный мусор, были сложены на печном приступке, стол вынесен в огород. Они привезли продукты из города. Мой брат позвал соседа.

Как-то само собою решилось, что мы не будем сейчас обсуждать мой отъезд. Пожалуй, заметила Ксения, поглядывая на небо, обещавшее замечательную погоду, пожалуй, сегодня не поедем. Эта глагольная форма — поедем, побудем — была удобна тем, что могла относиться только к ним, к жене с братом, а могла иметь в виду всех троих; она, эта форма, подразумевала, что, конечно, мы поедем все вместе, и в то же время оставляла для меня лазейку. Мы как будто условились, что не будем говорить о том, о чем надо было поговорить. Так ли уж надо? И о чем? Зачем портить себе настроение в этот мирный, туманно-солнечный и постепенно становившийся приглушенно-жгучим день дряхлеющего лета?

Аркадий явился, как всегда, в телогрейке, в ушанке, которую он снял, прежде чем сесть; жена раскладывала еду, разливала чай из медного чайника, сидела с закрытыми глазами, подняв лицо к солнцу, а брат разговаривал с Аркашей.

Я посматривал на мою жену, как мне представлялось, равнодушно-оценивающим взором человека, который провел ненароком ночь с незнакомой женщиной и спрашивает себя, красива ли она и сколько ей может быть лет.

Ксения спросила, чувствуя на себе мой взгляд, не поднимая век:

«А как же зимой?»

«Чего зимой?» — спросил Аркадий.

Она спросила, как они тут живут зимой.

«Так и живем, чего ж! Дров эвон сколько хочешь».
Он посмотрел на небо, на купы деревьев и промолвил:
«Хорошо тут. Воля».
«Куда же народ подевался?»
«Какой народ?»
«Односельчане. Колхозники».
«Куда... Которые померли, а кто и деру дал».
«А ты, значит, решил остаться?»
«Я-то? А куда мне бежать? Мне и здесь хорошо».
«Сколько тебе лет, Аркаша?»

Аркаша почесал в затылке и отвечивал: может, сорок, а может, пятьдесят.

«Какого ты года, — переспросила моя жена, с закрытыми глазами подставив лицо солнцу, — по паспорту?»

«Чего? — сказал Аркадий и поглядел в сторону. — Нет у меня никакого паспорта, на кой он мне...»

Мой брат заметил, что теперь и у колхозников есть паспорта.

«Мало ли что есть».

«А если милиция спросит, что тогда?»

«Нет у нас милиции».

«А если приедет?»

«Пуцай приезжает».

На дороге перед нашим огородом стояла, опираясь на палку, темная старушечья фигура. Солнце освещало ее так, что нельзя было разобрать лица. Невозможно было сказать, смотрит ли она на дорогу или на нас. Что ей надо, спросила моя жена, приставив ладонь к глазам; мы тоже обернулись. Аркадий степенно пил чай.

«Листратиха, — сказал он презрительно. — Таскается тут».

Он добавил:

«И не зовите, все одно не услышит. Глухая».

Мой двоюродный брат поднялся из-за стола. Солнце высоко стояло в бездонном, звенящем небе. С другого конца деревни доносились голоса, стихающий рокот механизма. Там возвышался, перегородив дорогу, заляпанный грязью подъемный кран на платформе с восемью колесами, снова при-

бывший неизвестно для чего, неизвестно откуда. Мой брат вышел, держа в обеих руках канистры, надеясь разжиться бензином у водителя; мы с Аркашей стояли у плетня.

«Живите. Куда торопиться-то?»

«Пора».

«Куда спешить-то?»

Я вздохнул.

«Дела, Аркаша».

«Подождут дела. Что, скучно тебе тут, что ль? Али бабы одолели?»

Я развел руками.

«Женщины, они, конечно, того, — заметил глубокомысленно Аркадий и сдвинул шапку на глаза. — Женщины, они...»

Я согласился, что женщины — дело такое.

«А ты плюнь, — посоветовал Аркадий, — ну их всех в ж...!»

Зычный голос донесся с другого конца деревни:

«Аркашка!»

«Зовут, слышь, — сказал он. — А вы уезжать собрались. Чего заспешил-то?» Этот вопрос относился к брату.

«Да я не знаю, — проговорил мой брат с сомнением, — ты как?»

Я пожал плечами, мы оба взглянули на мою жену, которая по-прежнему сидела у стола, подняв к солнцу незрячее лицо, на носу у нее был наклеен лист подорожника.

«Отгуляем, и поедете».

«Аркашка! Мать твою!..»

«А то совсем оставайтесь», — сказал Аркадий.

«Погода, — сказал мой брат, — лучше не надо».

«А у нас всегда погода в самый раз».

«Урожай, наверное, будет хороший», — заметил мой брат.

«Ладно, разорались, — сказал Аркаша, махнув рукой. — А чего? Оставайтесь. Никуда Москва не денется. Отгуляем, а там уж...»

Он направился вразвалку к подъемному крану, служившему, как выяснилось, для разных нужд. Егор снимал с платформы ящики с напитками и харчами. Василий Степанович, в сапогах и расшитой по вороту белой рубахе навыпуск, препоясанный ремешком, руководил разгрузкой.

Как некогда языческие капища становились подножием христианских базилик, как древняя вера отцов не умирает, а переселяется, словно душа в новое тело, в новый государственный культ, так престольные праздники тайно продолжают существовать под видом революционных годовщин, Международного женского дня, Дня космонавтов или работников железнодорожного транспорта. Не то чтобы верность обычаю была так уж сильна, но и похерить вовсе предков невозможно: они лежат в этой земле; другое дело, что если бы, скажем, они воскресли, то, чего доброго, оказалось бы, что и они все позабыли. Но что значит забвение? Позабыли, да не совсем; сказать, что хранят благоговейную память, тоже нельзя. Вот почему нет ничего несуразного в предположении, что, восстав из гроба, предки наши преспокойно уселись бы рядом с немногочисленными потомками пировать во славу железнодорожного транспорта. Ибо в конце концов всякий Париж стоит обедни и всякий праздник важнее, чем повод для него, — разве вам не случалось пировать на именинах, не зная в точности, кто такой именинник, не приходилось бывать на поминках, когда уже через полчаса все забыли, кого поминают? Праздник — это и есть доказательство забвения, доказательство того, что жизнь одолела смерть и настоящее торжествует над прошлым; и если бы мы спросили, по какому случаю, собственно, здесь гуляют, вопрос потонул бы в звоне стаканов и остался бы без ответа.

Погода была превосходной. Погода была, по справедливому замечанию Аркаши, в самый раз. С утра раздавались крики, уханье, бабьи взвизги. Доносились обрывки песен и скрежет гармошки. Группы более или менее празднично одетых поселян двигались по улице; несли флаги и обрамленные полотенцами иконы; с изумлением каждый спрашивал себя, откуда вдруг набралось столько народу. За околицей, куда укатил подъемный кран, по другую сторону деревни, на широком лугу были расставлены столы или то, что их заменяло, хлопотали женщины, носились дети. Стоял грузовик с откинутыми бортами, блестели жидким латунным блеском раструбы геликонов, и над сидящими в кузове музыкантами покачивался на шатких жердях и вздувался под легким ветром кумачовый лозунг.

Грохнула музыка, бум, бум, бум — бухал барабан, народ бросился на лужайку, стали поспешно рассаживаться. Музыка заглушала голоса. Сидящие на скамьях теснились, пропуская опоздавших. Слышалось:

«Подвинься чуток... Да куды ж, вот я сейчас свалюсь. Свалишься, подыдем. В тесноте, да не в обиде!»

Сдержанный гул прорывался в промежутках между громыханьем оркестра, бабы озирались по сторонам, озабоченно подтягивали уголки платков. Вдруг все стихло. Василий Степанович с бокалом в руке, стоя за столом почетных гостей, — рядом старик-представитель в сивых усах, с тусклым взором, с орденом на музейной гимнастерке, рядом, выглядывая из-за мужниной могучей фигуры, круглолицая, в белоснежном платочке Мавра Глебовна, рядом Ксения Абрамовна в светлой шелковой кофточке с бантом и, само собой, супруг-путешественник, — Василий Степанович поднял руку, призывая к вниманию. В грузовике, однако, неправильно истолковали его жест, грянул туш. Публика гневно обернулась к музыкантам. Кое-кто, не выдержав, уже выпивал и закусывал. Музыка стыдливо замолкла.

«Товарищи! — сказал Василий Степанович и гордо, мужественно обозрел односельчан. — Товарищи колхозники и колхозницы, механизаторы и доярки, труженики полей... Дорогие земляки! Разрешите мне, как говорится, — Василий Степанович крикнул, — от имени и по поручению! Мы собрались здесь в этот торжественный день, чтобы все как один. В ответ на неустанную заботу партии и правительства ответим новыми успехами, небывалым урожаем!»

Раздались жидкие аплодисменты. Оратор продолжал:

«Наше слово крепкое. Наш колхозный, трудовой закон — перво-наперво рассчитывать с государством. А то ведь у нас как получается? Как работать, так голова болит. А как пить да жрать, так мы все тут как тут, небось никто не болен! (Одобрительный смех.) Верно я говорю, мужики?»

Снова раздался смех. Возгласы: «Молодец, Степаныч, режь, ети ее в калошу, правду-матку!»

Кто-то пробовал возразить: «Да ладно тебе... слышали мы...»

«А чего, правду говорит мужик».

«Какой он тебе мужик? Языком чесать. Это они умеют».

«Давай, Степаныч! Режь, ети ее...»

«Ура!» — воскликнул Аркаша.

Василий Степанович постучал вилкой о рюмку, оглядел собрание.

«Разрешите считать ваши аплодисменты за единодушное одобрение...»

«Ура, ура!» Все засвистели и затопали.

«Слово предоставляется нашему дорогому гостю! Представителю райкома, персональному пенсионеру...»

«Дорогие товарищи, граждане нашей великой...» — начал бодрым фальцетом старик, украшенный орденом, но потерял нить мыслей и несколько времени растерянно озирал столы, за которыми уже всюю пили и ели, смеялись, подливали друг другу, целовались и тискали женщин.

«Поприветствуем товарища пенсионера, героя гражданской войны!» — вскричал председатель.

«Помню, в двадцатом году...» — лепетал старик в гимнастерке.

Кто-то спросил: «В котором?»

«В двадцатом, — сказал старик. — Мы не так жили. Мы воевали. Жрать было нечего. Не то что теперь».

«Ладно заливать-то...»

Другой голос сказал удивленно:

«Етить твою, никак Петрович?»

«А ты его знаешь?»

«Как не знать! Я думал, он давно помер».

За столами пели:

«Ехали казаки от дому до дому, подманули Галю, увезли с собой».

Бабий хор дружно грянул: «Ой ты, Галя, Галя молодая!»

«Разрешите мне! — надрывался, стуча вилкой, Василий Степанович. — Предоставить слово!...»

«Мы кровь проливали. А теперь? — продолжал старик. — Кабы знали, мы бы... Эх, да чего там...»

Он взмахнул сухой ладошкой и возгласил:

«За здравие царя, уря-а!»

Свист, хлопки и крики восторга.

«Слово предоставляется, — сипел Василий Степанович, — товарищу писателю!»

Шум стих, потом чей-то голос спросил, словно спросонья:

«Чего, кого? Кому?..»

Путешественник нехотя поднялся, и все головы повернулись к нему. Некоторое время он молчал, как бы собирался с мыслями. Затем взглянул на Василия Степановича, на жену, на Мавру Глебовну, обвел грустным взором пирующих.

«Дорогие друзья...» — проговорил он.

«Писатель, — сказал кто-то. — А чего он пишет-то?»

«Хер его знает».

«Известно, бумажки пишет».

«Чего резину тянешь? Давай, рожай!»

«Товарищи, попрошу соблюдать тишину, — вмешался председатель. — Кто не желает слушать, тех не задерживаем».

«Дорогие друзья, — сказал приезжий. Голос его окреп. — Работники сельского хозяйства! Новыми успехами ознаменуем! Все как один...»

Раздались слабые хлопки, путешественник провел рукой по лбу и продолжал:

«Я, собственно, что хочу сказать... Вот черт! Понимаете, хотел сказать и забыл. Забыл, что хотел сказать!»

«Ну и хер с тобой!» — крикнул кто-то радостно.

Председательствующий постучал вилкой о стакан.

«Да, так вот... Для меня большая честь присутствовать на вашем празднике. Вот тут товарищ очень правильно сказал, что мы пишем бумажки. Так сказать, отображаем... Но, товарищи! Парадокс литературы заключается в том, что чем больше мы стараемся приблизиться к жизни, тем глубже вязнем в тенетах письма. В этом состоит коварство повествовательного процесса».

«У меня вопрос», — поднял корявую ладонь мужик в железных очках, перевязанных ниткой, лысый, с жидкой бородой, по всему судя, тот самый, который — ну, словом, тот самый.

«Пожалуйста», — сказал председатель.

«Я вот тебя спросить хочу: ты зачем чужую избу занял? Ты разрешения спросил? Нет такого закона, чтоб чужую квартиру занимать».

«Мой брат купил эту избу. Вот он тут сидит, может подтвердить. Я же вам объяснял...»

«Нечего мне объяснять! Ты вот ответь».

Кто-то сказал:

«Да гони ты его в шею, чего с ним толковать?»

«Кого?» — спросил другой.

«Да энтото, как его...»

Еще кто-то вынес решение:

«Живет — и пушай живет».

Писатель продолжал:

«Что я хочу сказать? Литература служит народу. Так нас учили. Но, товарищи, чем мы ближе к народу, тем мы от него дальше. Таков парадокс... А! — И он махнул рукой. — О чем там говорить... Ребятки, может, станцуем, а?»

«Вот это будет лучше», — заметил кто-то.

Бух! Ух! — ударил барабан. Тра-та-та, ру-ру-ру, — запела труба. И все повскакали из-за столов.

Путешественник перешагнул через скамейку и пригласил даму. Оркестр играл нечто одновременно напоминавшее плясовую, «Марш энтузиастов» и танго «В бананово-лимонном Сингапуре».

Путешественник танцевал с тяжело дышавшей, зардевшейся Маврой Глебовной, чувствуя ее ноги, мягкий живот и грудь. Жену путешественника вел, описывая сложные па, Василий Степанович. Его сменил, галантно раскланявшись перед таинственно улыбавшейся Ксенией Абрамовной, ночной лейтенант в новеньких золотых погонах. Помощник лейтенанта сидел среди стаканов и тарелок с недоеденной едой, подливал кому-то, с кем-то чокался и объяснял значение Органов:

«Мы, брат, ни дня ни ночи не знаем... Такая работа... Вот это видал? — И он скосил глаза на свою нашивку, меч на рукаве. — Это тебе не польку-бабочку плясать... — Хлобыстнул рюмку и продолжал: — Я вот тебе так скажу. Мы на любого можем дело завести. Вон на энтото...»

«Которого?» — спросил собеседник.

Помощник указал пальцем на танцующего писателя.

«На энтото. Знаешь, какое дело? Во!»

Двумя руками он показал, какой толщины дело.

«Да ну!» — удивился собеседник.

«Хочешь, на тебя заведу. Ладно, не боись. Только чтоб ни слова об этом, понял? Давай...»

Между столами и на лугу откальвали коленца поселяне, бабы, согнув руку кренделем, ворочались туда-сюда, трясли

платочками, пожилой мужик в железных очках, позабыв о своем вопросе, хлопал себя по животу, выделял кругалю. Оркестр гремел, дудел: «В бананово-лимонном Сингапуре, в бурю! Когда ревет и плачет океан!» Труба пела: «Нам нет преград на море и на суше». Кто-то лежал, раскинув руки, созерцающая бледно-голубое далекое небо.

XXXVII

В это время вдали клубилась легкая пыль, солнце играло в подслеповатых оконцах, через всю деревню, мимо покосившихся изб, мимо печных остовов, мимо повисших плетней пронеслись один за другим в развевающихся одеждах верховые.

«Эва кто пожаловал», — сказал чей-то голос.

Дружка стреножил коней. Витязи с темными глазницами, в круглых княжеских шапках, в плащах поверх кольчуг, в дорогих портах и сапожках из юфти молча приблизились к почетному столу. Мавра Глебовна поднесла хлеб-соль. Мальчик, умытый и причесанный, нес два кубка.

Витязи приняли кубки, степенно поклонившись председателю и народу, сели на краю стола.

Две цыганки сорвались было с места, заорали: «К нам приехал наш любимый Борис Владимыч дорогой. К нам приехал наш родимый Глеб Владимыч дорогой! Пей до дна, пей до дна...» На них зашикали.

Председательствующий Василий Степанович приветствовал гостей. Братья наклонили головы.

Все снова сидели на своих местах, бабы шушукались, музыканты дремали в кузове грузовика.

После чего слово было предоставлено барону Петру Францевичу, который уже стоял наготове, с бокалом в руке.

«Уважаемый председатель, святые князья. Братья и сестры, друзья, русский народ!» — изящно поклонившись направо и налево, растроганным голосом сказал Петр Францевич.

Он отпил из чаши, пригладил на висках седеющие напомаженные волосы и кончиками пальцев коснулся благовонных усов.

«Человеческая душа есть величайшая загадка. Буйный зверь и скорбящий ангел в ней живут рядом, одной плотью

укрываются, одним хлебом питаются. Сегодня пируем и лобызаемся, а завтра проснется демон, обернется ангел зверем — и пошел грабить и жечь. Так уж, видно, повелось на Руси, други мои любезные, мужички...»

Все затаили дыхание, Петр Францевич оглядел собрание и после короткой паузы продолжал:

«И есть у этого зверя верный союзник. Только и ждет он, когда разгуляется, распояшется русский человек. Ждет, чтобы прийти и помочь ему жечь, грабить, насиловать. Две силы объединились, чтобы погубить землю, два недруга, тот, что сидит в нас самих, и тот, кто ждет своего часа на дальних подступах нашего необъятного государства...»

«Во дает!» — сказал чей-то голос.

«Монголы, поляки, французы... Тевтонская рать с головы до ног в железе... Только было встанет на ноги государство, отстроятся города, бабы нарожают детей — новая напасть, опять нашествие, опять все гибнет в огне... Уж совсем было сгинула Русь. Ан нет! — сказал Петр Францевич. — Откуда-то поднимается новая поросль, ангел подьемлет крыло. Стучат молотки плотников, рубятся избы, засеваются поля, князя собирают удрученный народ, попы молиться учат одичавшее стадо. До нового избиения, до следующего раза... И были гонимы, как прах по горам и пыль от вихря, говорит псалмопевец. Доколе же, спрашивается, все это будет продолжаться? У вас хочу спросить, мужички! Не чудо ли, что мы всё еще существуем, второе тысячелетие тянем...»

«Эва куда загнул!» — сказал голос.

«Но вот, наконец, нам объявляют, что русский человек исчез, нет его больше, истребился и стерт с лица земли, как некогда были стерты древние народы. Так-таки и пропал, черт ли его унес, терпение ли Господне истощилось, неизвестно! Нет больше русского народа, так, лишайник какой-то остался. Но я спрашиваю вас, земляки-сельчане, друзья мои дорогие! А вы-то кто? Я спрашиваю: вы-то живы? Или это видение какое, фата-моргана, дивный сон мне снится, а на самом деле вас и нет вовсе? А?.. Вот то-то и оно!» — усмехнулся Петр Францевич и провел пальцами по шелковистым усам.

Он скосил глаза и слегка нахмурился, Мавра Глебовна поспешно подлила витязям и оратору. Доктор искусствоведения Петр Францевич вознес чашу.

«Славным пращурам нашим — ура!» — крикнул он, и мужики и бабы отчаянно завопили «ура» и захлопали в ладощи. Оркестр заиграл гимн. Перед столами появился, слегка пошатываясь, с огромной гармонью Аркадий. Началось братание, раскрасневшиеся женщины переходили из рук в руки, лобызали мужиков, мужики обнимали друг друга, Петр Францевич нежно расцеловался с путешественником, Ксения прильнула устами к Василию Степановичу. Братья-витязи уже сидели в седлах. Начал накрапывать дождь.

Некоторое время спустя дождь стучал по столам, залил рюмки, тарелки, миски со студнем и винегретом, дождь исколол острыми иглами серую поверхность реки. Люди бежали опрометью к деревне, те, кто не мог подняться, почивали в лужах. Пошел град, повалил снег.

Снег закрыл до половины низкие окна и завалил крыльцо. С трудом приоткрылась дверь, путешественник, обмотанный шарфом, в старой ушанке с опущенными ушами, в валенках и рукавицах, с деревянной лопатой выбрался из темных сеней. С полчаса он работал метлой и лопатой, откопал ступеньки, разбросал снег перед окнами и прорыл дорожку к хибаре соседа. Усы и борода путешественника покрылись сосульками, ресницы побелели от инея. Проваливаясь в сугробы, он добрался до двери. «Эй, Аркаша!» — позвал он. Дорога и огородное поле скрылись под волнистыми наметами снега, река сравнялась с полями, и призрачные леса с трудом угадывались в дымчато-белом мареве бездыханного дня.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. АЛЬБОМ

Предисловие автора	7
Нюра Привалова	8
Фая Кравец	10
Без имени (1)	11
Наташа Аргоболевская	12
Фёкла Куроптева	14
Без имени (2)	16
Марья Ивановна	28
Люба Колодезная	29
Её Высочество	32
Родословие	34
Родники и камни	40
Письмо к старой приятельнице, или Маленький трактат о любви	41
Этюд и эхо	48
Шаги слепого в темноте	50
Кухня чародея	53

ЧАСТЬ II. ГРЁЗЫ РОМАНИСТА

Пансофия, или Гармония мира	59
Грёзы романиста	61
Катастрофа	68

ЧАСТЬ III. КАТЕХИЗИС РАБОВЛАДЕНИЯ

Глухой неведомой тайгою	71
Жертвоприношение Карнаухова	107
Сера и огонь	131

ЧАСТЬ IV. ДАЛЕКОЕ ЗРЕЛИЩЕ ЛЕСОВ

Далекое зрелище лесов. <i>Патриотический роман</i>	149
--	-----

Б. Хазанов

Струны и клавиши

Директор издательства *Т. Ретивов*
Дизайн обложки *С. Пионтковский*
Оригинал-макет *Б. Марковский*

ИД№ 5016 от 24. 11. 2015 г.
Издательство «ФОП Ретівов Тетяна»
01001, г. Киев,
ул. Малая Житомирская 8, оф. 3
Тел. (+38) 096-53-85-115

www.kayalapublishing.com

Отдел продаж
Kayala@ukr.net

Формат 66x88^{1/16}
Усл. печ. л. 17,8
Подписано в печать 11. 11. 2019
Печать офсетная



Борис ХАЗАНОВ (псевдоним Г. М. Файбусовича) родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет по обвинению в антисоветской агитации, отбывал наказание в Унженском исправительно-трудовом лагере. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, публиковался в России и за границей. Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, «Русская премия» (Москва), премия имени Марка Алданова (Нью-Йорк), шорт-лист премий «Русский Букер» и «Большая книга». Живет в Мюнхене.

A close-up photograph of a dark wood piano keyboard. The brand name 'HEINERSDORFF' is printed in gold letters on the fallboard above the keys. The keys are black and white, and the lighting is dramatic, highlighting the texture of the wood and the metallic sheen of the brand name.

HEINERSDORFF